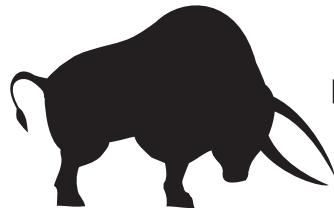


Юлия Остапенко



Тираны

Книга первая
БОРДЖИА

Автор идеи
Константин Рыков



ЭТНОГЕНЕЗ

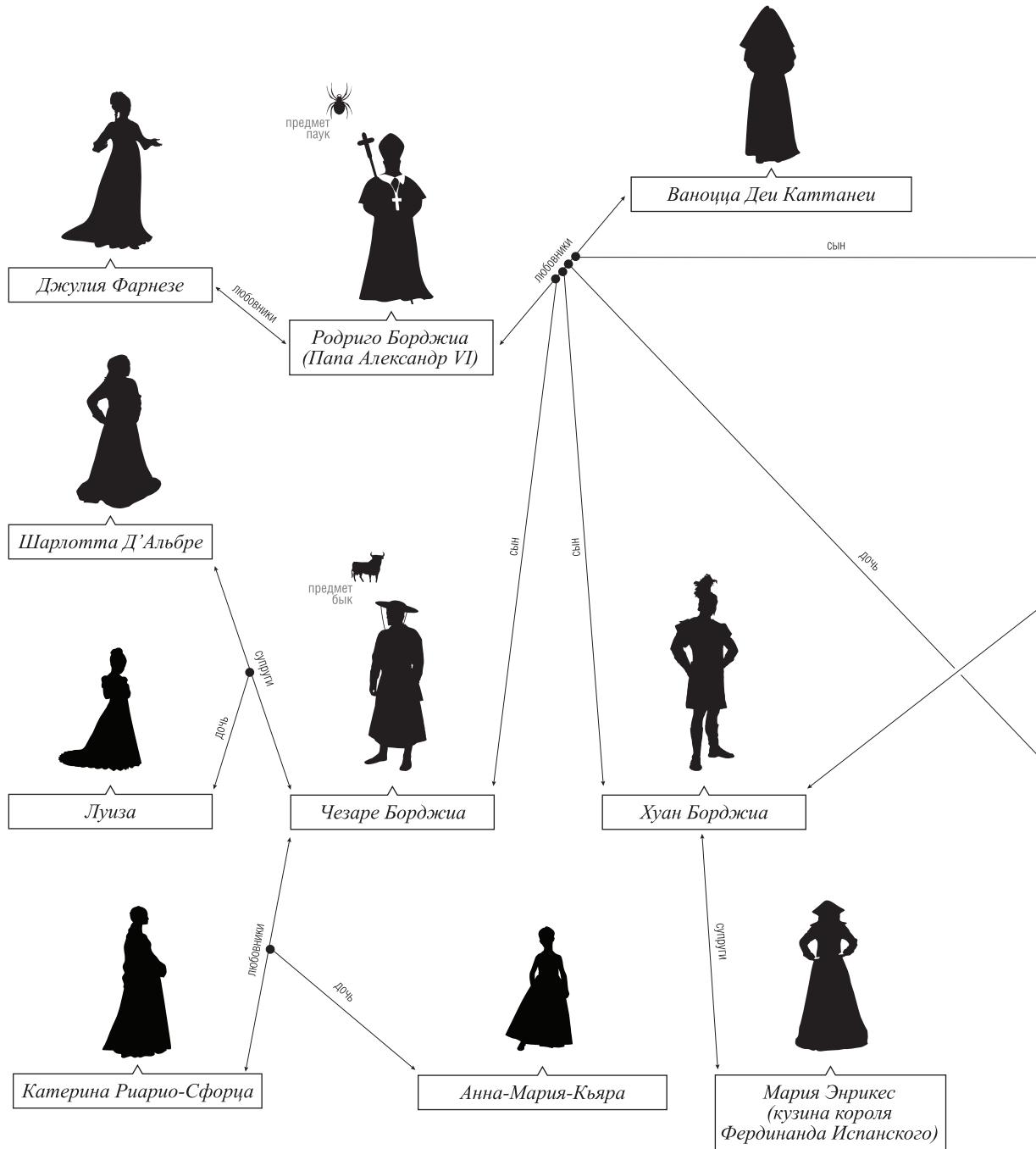
Издательско-торговый дом
«Этногенез»
Москва, 2012



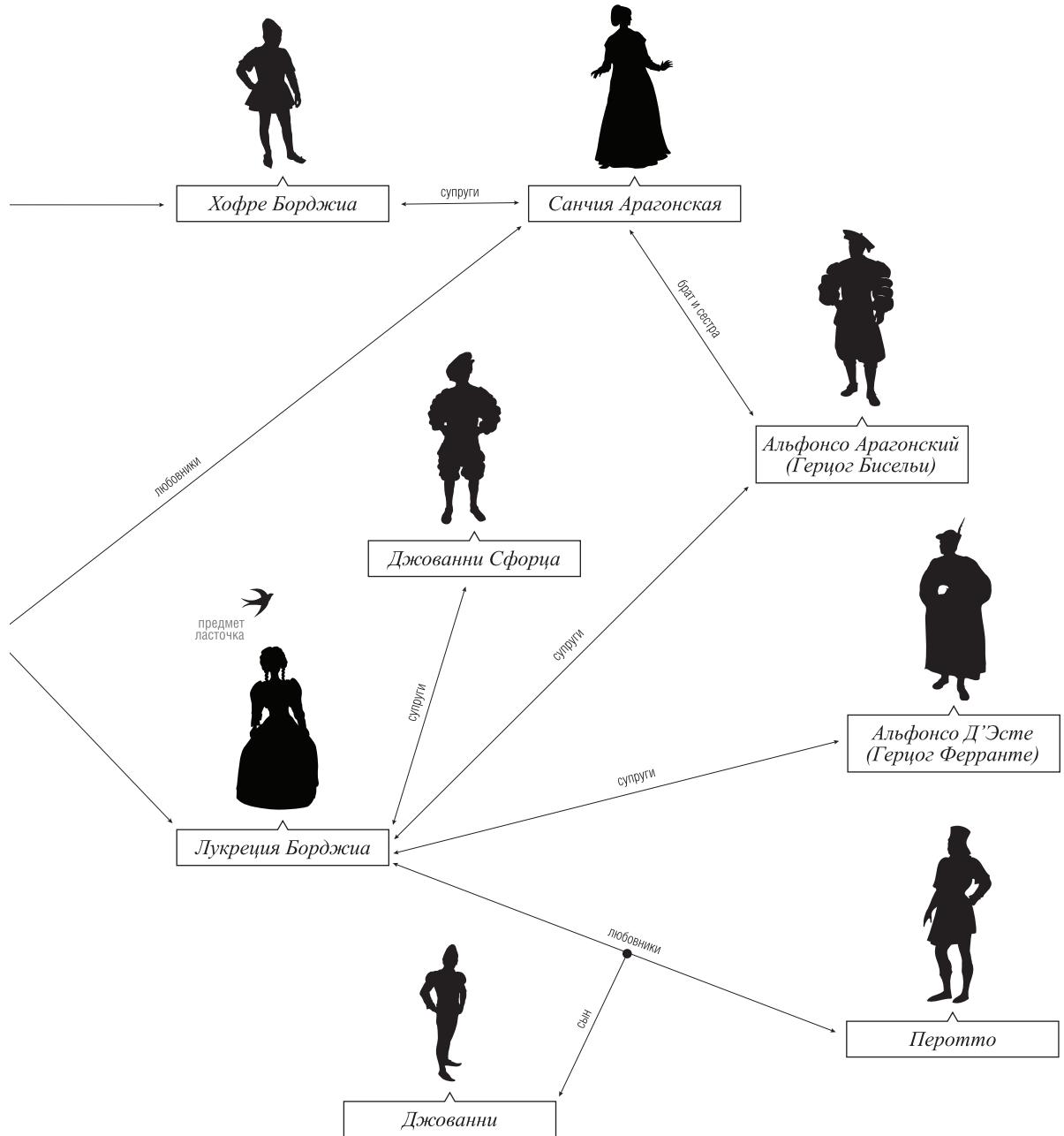
ПОПУЛЯРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ООО
«Популярная литература»
Москва, 2012

РОД



БОРДЖИА



УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
О21

Книга издана при поддержке Newmedia Stars

Остапенко, Ю.
О21 Тираны. Книга первая: Борджаиа / Юлия Остапенко — М.: Издательско-торговый дом «Этногенез», 2012. — 272 с.

1492 год. Родриго, глава рода Борджаиа, становится Папой Римским. Отныне ни одно другое имя в Италии не станет вызывать столько пересудов, споров и проклятий. Отец, виртуозно манипулирующий случайностями, сын, наделенный чудо-вищной физической силой, дочь, снискавшая славу безжалостной отравительницы... Слишком много власти в руках одной семьи — и шепчутся в тавернах и дворцах, что эта сила от дьявола. Но никто не знает, что на самом деле Борджаиа обязаны ею трем серебристым фигуркам, с которыми не разлучаются никогда... До тех пор, пока в их жизни не появляется странная женщина, знающая слишком многое и о самих Борджаиа, и о том, какую цену они платят за свою безграничную власть.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
О21

ISBN 978-5-904454-62-3

© Рыков К., 2012
© Остапенко Ю., 2012
© Издательско-торговый дом «Этногенез», 2012

ПРОЛОГ

1519 ГОД

Леонардо ди сер Пьетро да Винчи убрал палец с холста, повернулся и тяжелой, шаркающей походкой направился в левый южный угол комнаты, из которого открывался оптимальный обзор. Свою клюку он оставил у стены, и путь дался ему нелегко, а результат не принес ни малейшего удовлетворения. Картина была закончена, во всяком случае, так да Винчи говорил себе — но ни глаза, ни разум, ни сердце ему не верили.

Его просили написать эту картину... сколько? Лет семнадцать, наверное? Нет, восемнадцать. Он тогда состоял при них военным инженером, сделал несколько любопытных машин, больше из желания опробовать свои идеи на практике, чем из стремления услужить. Хотя тогда, восемнадцать лет назад, на рубеже столетий, не было в Италии человека, способного отказаться от службы этому роду. Роду, поработившему Рим. Роду, покорившему разрозненные города-государства Италии. Роду, который едва не изменил тот мир, что Леонардо знал и писал всю жизнь.

Борджа.

С холста на него смотрели они все.

Глава семейства — Родриго, по восшествии на святой престол римской католической церкви принявший имя Папы Александра VI. Прелюбодей, отравитель, убийца.

Чезаре, герцог Валентино — сначала кардинал, потом предводитель папского войска, победоносно прокатившегося по Романье, чуть было не создавший единое итальянское государство. Легендарный силач, прелюбодей, убийца.

Хуан, герцог Гандийский — папский гонфalonьер, блистательный щеголь, зверски зарезанный, как говорили, собственным братом. Прелюбодей, убийца.

Хофре, князь Сквиллаче — ни рыба ни мясо, белая ворона среди своих выдающихся родичей, паршивая овца и бледная моль. Вряд ли убийца, хотя, без сомнения, прелюбодей.

И, наконец, Лукреция — Лукреция Борджа, одна из красивейших женщин своего времени. Она единственная из всех, изображенных на этом портрете, была все еще жива и содержала в Ферраре великолепный двор. Покровительница изящных искусств, обворожительная, отважная. Прелюбодейка, отравительница и убийца.

Сколько раз они просили его написать их портрет! Обещали баснословные деньги — никто никогда не платил Леонардо столько. Но не в деньгах было дело. Он не хотел. Он не был готов. Он не знал, как.

Он не чувствовал, что в них главное — их величие или их мерзость.

А потом появилась эта женщина. И у него не осталось выбора. Хуже того — у него почти не оставалось и времени. Результат... что ж, результат удручен.

— Вы позовите? — спросила Кассандра.

Она оказалась хорошей натурщицей, могла часами сидеть неподвижно, не только не шевелясь, но даже и не моргая. Было в ней каменное, ледяное спокойствие, свойственное людям, опустошенным великим горем или великой миссией, выжженным дотла. Леонардо она не нравилась, пожалуй, даже больше, чем ему не нравились Борджа. Но именно ее, эту Кассандру, оказалось легче всего писать. И даже не потому, что она единственная среди всех фигур группового портрета

смогла позировать ему — остальные лежали в земле, а Лукреция, жившая в своем замке д'Эсте, не должна была знать об этой картине.

Кассандра оказалась единственным персонажем портре-та, не вызывавшим у Леонардо этого ощущения двойственности, претворявшейся в пагубную для художника нерешительность. Если Борджиа были и замечательны, и отвратительны, то с Кассандой все обстояло проще. Она была чистым злом. Леонардо ощущал это, едва увидев ее впервые. Он всю свою жизнь избегал писать зло, но сейчас ему не оставили выбора.

— М-м, — задумчиво протянула женщина, обойдя холст и окинув его скептическим взглядом. — По правде сказать, маэстро, не лучшее ваше полотно.

Да Винчи посмотрел на нее с нескрываемым раздражением. Никогда ни одна женщина не была настолько дерзка, чтобы посметь оценивать его работу — ни одна, даже Лукреция Борджиа. Но эта была иной. Там, откуда она пришла, все было по-другому. И, зная это, Леонардо невольно благоговел перед нею. Было так много вопросов, которые ему хотелось ей задать.

— Еще бы оно было лучшим, — ответил он, с неудовольствием слыша в своем голосе нотки старческой сварливости. — Вы дали мне всего два месяца. Этого недостаточно даже чтобы ...

— Не я, маэстро. Время. Оно не терпит, и я им не управляю.

— Неужели? У меня создалось обратное впечатление.

— Время — река, маэстро да Винчи, вам ли не знать. Можно поймать течение, можно плыть против него. Но вы не повернете реку вспять. Я лишь знаю место, где можно войти в стремнину.

— Да, да... Как вы это назвали — линза?

Это была одна из вещей, о которых да Винчи не терпелось ее расспросить. Она обещала, что когда он закончит, когда

картина будет готова, он получит ответы на все свои вопросы. Линзы интересовали Леонардо больше прочего, поскольку были, очевидно, некой особой технологией, которую ему, возможно, удастся воспроизвести экспериментальным путем.

Если, конечно, у него останется время. Время, время... До прихода этой женщины Леонардо думал, что сделал достаточно. Ему казалось, что он устал. Но мир так огромен. И в шестьдесят семь лет ты все еще знаешь о нем так мало.

Кассандра еще раз медленно обошла картину. Большую ее часть Леонардо написал руками, почти не используя кисти. Вернее, левой рукой, поскольку правая окончательно онемела. Вышло грубо, сущее надругательство над сфумато, которое он изобрел, совершенствовал и лелеял почти всю свою жизнь. Но и сама эта картина, отвратительная, отталкивающая, изображающая живых среди мертвцев, была ему глубоко чужда. Кто знает, что скажут потомки, обнаружив ее? Поверят ли, что она создана им? Леонардо и хотелось, и не хотелось, чтобы поверили.

— Что с нею будет? — спросил он, не удержавшись, хотя дал себе зарок не спрашивать Кассандру о собственном будущем и о будущем своих работ. Да Винчи знал, что конец близок (не потому, что она так сказала, он просто знал), и хотел отойти к вечному сну в покое.

— С картиной? О, не тревожьтесь, маэстро. Ее никто не увидит еще много-много веков. Да и потом... она попадет в надежные руки, — ладонь Кассандры легла на задник холста, погладила его, бережно, словно испуганного зверька. — Эта картина не хороша, маэстро да Винчи, но это самая главная ваша картина.

— А Джоконда? — не выдержал Леонардо. Джоконда была его любимицей. Не может же быть, чтобы это нелюбимое, нежеланное детище, этот выкидыш затмил...

Кассандра откинула голову и рассмеялась. В такие мгновения она казалась простым человеком, обычным, живым.

— За Джоконду будьте спокойны. И за это полотно тоже. Как вы его назовете?

Леонардо немного подумал. Затем ответил:

— «Святые черти».

Кассандра кивнула. Отступила на шаг, к тому углу, где стоял да Винчи и откуда открывался наиболее выигрышный ракурс.

— Кое-чего не хватает. Вы что-то забыли, маэстро... нет?

— Помилуйте... — Леонардо бессильно шевельнул своей немощной морщинистой рукой, перепачканной в желтой охре. Он устал, он едва стоял на ногах, ему требовалось вернуться в постель. Но Кассандра не слушала. Она сняла что-то с шеи — какой-то предмет на цепочке, серебристый, но не серебряный. Положила его на подоконник. За окном собирались тучи — к замку Кло-Люсе подбиралась первая майская гроза, — и солнечный луч, чудом пробившись сквозь их пелену, скользнул по спине серебристой ласточки, раскинувшей крылья в полете.

— Закончите картину сегодня, — сказала Кассандра. — А ночью мы с вами выпьем бокал кьянти, и я вам все расскажу.

Леонардо бросил на фигурку мучительный взгляд, тяжко вздохнул и принялся за работу.

ГЛАВА 1

1488 ГОД

Сад полнился ароматом жимолости и тюльпанов. Запахи клубились в тончайшем, прозрачном весеннем воздухе, в третье воскресенье мая, в день святого мученика Фугация Римского. В это чудное утро кардинал Родриго Борджа, вице-канцлер Ватикана, сидел в плетеном кресле на лужайке сочной зеленою травы. Рядом с ним, расслабившись в подвесном гамаке, полулежала уже немолодая, но по-прежнему очень красивая женщина, которую он никогда не смог бы назвать своей женой, и которая, тем не менее, была ею уже пятнадцать лет. Рука Ваноццы деи Каттанеи, белая и пухлая, покоялась в раскрытой ладони кардинала.

— Это удивительно, правда? — сказала Ваноцца. — Как быстро они растут.

Родриго Борджа кивнул, глядя перед собой. Их дети играли в саду, беря все, что можно, от чудесного дня. Лукреция, расположившись на траве, кормила толстого белого кролика с сосредоточенностью, несколько странной для ее восьми лет. Хуан и Чезаре, двое старших, резвились поодаль и, как обычно, соперничали друг с другом в игре. На сей раз они соревновались, кто дальше прыгнет, раскачавшись на веревке, привязанной к ветке высокого тиса. Любая мать запричитала бы при виде столь опасной забавы. Но Ваноцца деи Каттанеи, известная на весь Рим куртизанка, относилась к ссорам своих сыновей с тем философским спокойствием, что всегда привлекало

в ней Родриго. Весь облик Ваноццы, пышной, мягкой, с тяжелыми веками, говорил о полной безмятежности. Объятия этой женщины были тихой гаванью для Родриго, местом, где он мог преклонить свою усталую голову и забыть обо всем.

От тиса донесся победный клич, тут же сменившись радостным гиканьем — Хуану в очередной раз удалось утереть брату нос. Он рос сильным, дерзким мальчиком, и, глядя на его непослушные вихры и надменно задранный подбородок, Родриго с удовольствием думал о том, как через несколько лет, став понтификом, доверит ему папскую армию. Жаль, конечно, что Хуану не достает острого ума и настойчивости Чезаре. Мальчики были почти ровесниками, обоих Ваноцца родила в один год, и они непрестанно состязались за старшинство, так, словно их воля могла перебороть судьбу, распорядившуюся, чтобы Чезаре родился первым. Но Хуан не желал быть вторым в глазах горячо любимого отца — и знал, как добиться своего. Родриго грустно улыбнулся этой мысли и покачал головой. Он не хотел раздоров в своей семье.

Из травы донесся негромкий вскрик. Сонные глаза Ваноццы обратились на дочь, выронившую морковку в траву.

— Все в порядке, дорогая?

Лукреция кивнула, сунув указательный палец в рот и глядя на кролика, столь жестоко отплатившего за ее доброту. Родриго заколебался, думая, что нужно посмотреть, не сильно ли пострадала ее бедная маленькая ручка. Но ладонь Ваноццы была так тепла, кресло так удобно, а главное — лицо Лукреции оставалось таким спокойным, что он остался на месте. Девочка вытащила палец изо рта, слизнула выступившую капельку крови и, подняв морковь из травы, протянула ее кролику снова.

— Ты права, — сказал Родриго. — Они растут очень быстро.

Он умолк на мгновение, а затем добавил, обращаясь больше к себе самому, чем к матери своих детей:

— Я полагаю, пора.

Мягкая рука Ваноццы дрогнула в его ладони. Родриго повернулся: лишь он один умел разглядеть в ее лице признаки напряжения. Вот эта складка у губ — с годами она становится глубже — и легкая тень под веками.

— Ты уверен? — голос Ваноццы прозвучал резко, непривычно громко.

— Вполне, — сказал Родриго. — Ты ведь сама сказала — они уже совсем большие. Осенью Чезаре поступит в университет. Лукреции через год-другой пора будет подыскивать мужа. А Хуан...

— Не говори мне про Хуана, — Ваноцца поморщилась, словно ее одолел приступ мигрени. — Я знаю, как ты его ценишь, но если хочешь знать мое мнение...

— Конечно, хочу, — мягко сказал Родриго.

— Он не готов. Да и Чезаре... не говоря о Лукреции...

— Мне иногда кажется, что это ты обладаешь предметами, а не я. И еще мне кажется, ты бы отобрала их у меня, если бы могла, — поддел жену Родриго, прекрасно зная, как сердят ее подобные беззлобные шутки. — Что они тебе интереснее и, может быть, даже дороже наших детей.

— Не говори глупостей. Я люблю наших детей. А вещи — всего лишь вещи.

— Ваноцца, скажи откровенно: ты не хочешь, чтобы я отдал им предметы, потому что боишься за детей или потому что не готова расстаться с этими... вещами?

— О чем ты говоришь? Мне они никогда не принадлежали.

— И это к лучшему. Поверь мне... Лукреция! — позвал Родриго белокурую девочку, тотчас с готовностью взглянувшую на отца. — Сходи, милая, позови мальчиков. Мне нужно сказать вам всем кое-что важное.

Лукреция тотчас вскочила, подобрав юбки, и побежала к аллее, так что только туфельки замелькали в траве. С разделявшим их расстояния не было слышно, что она говорит своим братьям, но Родриго знал: как бы ни увлеклись они игрой,

все бросят и пойдут. Власть, которую сестра уже сейчас имела над ними, удивляла Родриго и порой ввергала его в задумчивость. Хотя рано делать выводы: они все же еще слишком малы.

Родриго запустил руку за пазуху и, отодвинув в сторону крест, вынул связку амулетов, которые носил последние десять лет. Он почти никогда не надевал все три сразу, но сегодня какое-то предчувствие заставило его взять их все. Золотой шнур оплетал три фигурки, выплавленные из серебристого металла. Фигурки изображали животных: быка, паука и ласточку. Родриго распутал шнурок, высвобождая фигурки, и, наклонившись, по одной разложил на траве. Белый кролик скосил на него налитый кровью глаз и усиленно заработал челюстями.

— Вы нас звали, отец? — звонко спросил Чезаре.

Родриго поднял голову, щурясь на солнечный свет. Солнце слепило его, и он плохо различал лицо Чезаре, видел только его волосы, приглаженные к вискам — он постарался хоть как-то причесаться пальцами, торопясь явиться перед отцом. Хуан, напротив, условностями не смущался — взъерошенный, ощерившийся после жаркой игры, он скалил ровные белые зубы и явно хотел побыстрее вернуться к прерванному состязанию.

Родриго указал им на землю перед собой. Все трое расположились на траве — Лукреция не забыла аккуратно подобрать юбки.

— Дорогие дети, — начал Родриго. — Вы знаете, что нет у меня в жизни ничего лучше, чем вы, и ничто так не радует меня, как ваши улыбки. Мы редко собираемся всей семьей, но вы уже большие и сами понимаете причину этого. Но мне бы хотелось, чтобы сегодняшний день вы запомнили надолго — как знать, когда мы снова сможем собраться вот так все вместе. Поэтому я решил сделать каждому из вас подарок.

— Подарок! — воскликнула Лукреция совсем по-детски и захлопала в ладоши. Она обожала подарки. Хуан тоже

оживился. Только Чезаре смотрел на отца внимательно и настороженно, словно ожидая подвоха.

— Подарок, — кивнул, улыбаясь, Родриго. — Посмотри-те-ка, они прямо у вас под ногами.

Все трое, как по команде, уставились в траву.

Ваноцца выпрямилась в гамаке, наклоняясь вперед и любуясь блеском фигурок.

— Они прекрасны, не правда ли? — вполголоса спросила она. — Это фамильные драгоценности вашего рода, дети. Ваш отец хранил их, чтобы однажды передать вам.

— Мы можем их взять? — спросил Чезаре, и Родриго кивнул.

— Каждому по одной. Выбирайте сами, к какой ляжет душа.

Он едва успел договорить, как рука его старшего сына с молниеносной быстротой метнулась в траву. Чезаре выдохнул: фигурка оказалась холодной, он не ждал этого, но его замешательство длилось недолго. Он вскочил на ноги, победно сжимая в кулаке фигурку быка, выставившего острые, сверкающие на солнце рога к небу.

— Тогда этот будет мой! — крикнул Чезаре, вскинув руку. — Мой!

— Еще чего! — завопил Хуан, вскакивая вслед за братом. — Бык — символ дома Борджа! Я выше тебя и сильнее, значит, он принадлежит мне!

— Пошевеливаться надо было, — огрызнулся Чезаре, отдергивая руку. — Отец сказал, что мы сами можем выбирать.

Хуан навис над ним, стискивая кулаки, но Чезаре не отступил, только завел руку за спину, сжимая фигурку. Родриго следил за сыновьями со смесью тревоги и отчаянного любопытства. Того, чего он опасался, не произошло — не возникло чувства потери, ужасного чувства, словно он лишился руки или ноги, отдав фигурку другому. Это оттого, подумалось Родриго, что, в сущности, он их и не отдавал. Его сын был продолжением его самого. Борджа — это не человек. Борджа — это род.

— Отдай! Отец, скажи ему! — выкрикнул Хуан и попытался вывернуть руку брата. Родриго кольнуло сожалением: вот сейчас его второй сын одолеет старшего, как всегда случалось между ними в драках, и...

Но в следующий миг не Чезаре, а Хуан с воплем полетел наземь. Чезаре встал над ним. Он тяжело дышал, на скулах ходили желваки, горло дергалось в такт с учащенно бьющимся сердцем. Хуан, оправившись от позорного падения, поднялся на ноги. Секунду братья смотрели друг на друга — а потом покатились, сцепившись, по траве, колотя друг друга и выкрикивая ужасающие ругательства.

— Ах, дети, — вздохнула Ваноцца. — Мальчишки есть мальчишки. Ну а теперь ты выбирай, что хочешь, милая.

Лукреция, словно и не замечая драки, заворожено разглядывала оставшиеся фигурки. Родриго посмотрел на дочь, на вновь приступившее в ее миловидном лице выражение со средоточенности, присущее скорее опытным шахматистам, чем маленьким девочкам. Ее тонкий пальчик тронул паука, раскинувшего в траве серебристые лапы. Потом Лукреция с неохотой отняла руку и посмотрела на третью фигурку. На ласточку, распрямившую в вечном полете острые, как ножи, крылья.

— Я возьму ее, отец. Можно?

Родриго кивнул, не сводя с дочери глаз.

— Можно, дорогая. Если только ты и в самом деле уверена.

Лукреция взяла ласточку и положила ее на свою ладонь. Склонила голову, глядя, как мутно, медленно перетекает солнечный свет в отражении на странном металле. Казалось, что там, в этой серебристой глади, свет существует по каким-то иным, чуждым этому миру законам.

— Уверена, — сказала она и прижала ласточку к груди.

«Ее глаза, — подумал Родриго. — Надо же. Так скоро».

И в этот миг спокойную тишину сада огласил крик — пронзительный, высокий крик боли. Хуан катался по траве —

теперь уже не сцепившись с Чезаре, а держась за свою руку, прижатую к груди под неестественным углом.

— Ма-а-ама! — верещал он, захлебываясь слезами. — Моя рука!

Чезаре, стоя поодаль, смотрел на своего большого и сильного брата скорее с удивлением, чем с раскаянием. Фигурку быка он по-прежнему сжимал в кулаке — он не выпускал ее во время драки.

Ваноцца встала. Родриго ждал, что она бросится к плачущему сыну, утешит его — в конце концов, она мать и, он знал, любящая мать. Но вместо этого она подняла с земли оставшуюся фигурку паука и, подойдя к Хуану, усадила его прямо. Хуан захныкал, жалуясь, что Чезаре сломал ему руку. Это казалось немыслимым, особенно если сравнить комплекцию мальчиков, но Родриго знал, что Хуан не преувеличивает. Он взглянул Чезаре в глаза — да, все так и есть. Бык, как и ласточка, тоже признал нового владельца.

— Все хорошо, — ровный, низкий голос Ваноццы медом пролился над лужайкой. — Я помогу тебе. Сейчас помогу. Но мы должны закончить, Хуан. Это важно. Возьми. Он твой.

Она вложила паука в трясущуюся мальчишескую руку. Хуан уставился на фигурку, взывал и в ярости отшвырнул ее прочь так, что она отлетела далеко от него, к самым ногам Родриго.

— Не надо мне этого проклятого паука! Мне больно-о!

— Отведи его в дом и вызови лекаря, — распорядился кардинал.

Когда Ваноцца увела рыдающего Хуана, Родриго наклонился и поднял с земли фигурку паука, отвергнутую его сыном. Намотал на нее золотой шнур и вновь повесил себе на шею. Он был разочарован, но... на все воля Господня.

— Отец, простите, — пробормотал Чезаре, — я не хотел...

— Я знаю, сын мой, — Родриго положил ладонь ему на затылок и успокаивающе погладил, показывая, что не судит строго. — Ты не виноват.

Чезаре тотчас вскинул голову, улыбаясь. В такие мгновения, как это, Родриго терялся, не зная, кого из своих сыновей он все-таки любит больше.

— Как странно, отец, — тихо сказала Лукреция.

— Что, дитя мое?

— Мне показалось... ваши глаза... Они всегда были разного цвета, и мне почудилось, будто несколько минут назад они стали одинаковыми, голубыми. А сейчас снова разные...

Чезаре удивленно посмотрел на сестру. Та ответила на этот взгляд — и, беззвучно вскрикнув, прижала ладонь к губам.

— Лукреция, — в недоумении сказал Чезаре, — что с твоими глазами?

Родриго шагнул между ними, обнимая обоих за плечи и привлекая к себе. Его сын и дочь разглядывали друг друга с изумлением, и каждый не сознавал, как крепко сжимает в руке подарок, только что полученный от отца. «Вы мои дети, — подумал Родриго. — И сегодня, сейчас я поделился с вами той властью, коей должно быть достаточно, чтобы мы завоевали для Борджии целый мир. Господи, если ты есть — прошу, пусть они и вправду будут готовы».

ГЛАВА 2

1492 ГОД

Дорога из Пизы в Рим шла мимо Перуджи. Были, конечно, и другие дороги, в том числе и более удобные, и менее опасные, чем этот разбитый большак, проложенный, казалось, еще при Юлии Цезаре. Шел только третий день пути, а конь Чезаре уже дважды терял подкову, да впридачу сломалась ось в колесе обоза, на котором молодые выпускники Пизанского университета везли свои пожитки. Джанпаоло, которого друзья по студенческой скамье звали Тилой, страшно ругался, злился, что по такой дороге не пустишь лошадей вскачь — неровен час, ноги подвернут, в то время как Джованни, флегматично труся на своем муле, грыз персик и философски повторял, то спешка еще никого не доводила до добра. Чезаре втайне подумывал, что этот хитрец говорит не без умысла и был бы не прочь, если бы они в самом деле опоздали на свадьбу Торино Бальони, кузена Тилы, любимого племянника графини Аталанты, владевшей Перуджей. «Стоит, пожалуй, и впрямь расспросить его об этом, когда Тила в очередной раз разорется так, что не сможет нас услышать», — подумал Чезаре и улыбнулся про себя.

— Чему радуешься? — проворчал Тила, потирая ладонью потную шею. — Дорога дрянь, жарища, похмелье, а ты лыбишься не пойми чего. Надо было хоть шлюх с собой прихватить. Хоть парочку.

— Стыдитесь, мессир, — кротко ответил Джованни со своего мула, не успел Чезаре и рта раскрыть. — Не вы ли всего лишь третьего дня клялись в любви и верности сиятельной монне Клотильде... или то была монна Киприна... не вспомню сейчас, по правде, да вы и сами не вспомните, но кому-то точно клялись.

— Он все время клянется, — заметил Чезаре. — Каждой. И всякий раз вполне искренне.

— А что делать, — проворчал Тила. Его крепкие уши, торчащие по бокам коротко стриженой головы, слегка порозовели. — Да, клянусь, так ведь иначе разве они на меня посмοтрят? Будь у меня такой тугой кошелек, как у твоего папаши Медичи, Джованни, или если бы все перед моим отцом падали ниц, как перед батюшкой Чезаре, ко мне бы женщины тоже липли, только свистни. А что я? Просто бедный Тила Бальони, никому не нужный и заеденный мухами, — и он с самым печальным видом прихлопнул на своей толстой шее одно из созданий, только что им упомянутых.

Джованни поджал тонкие губы, как делал всегда, когда его друг начинал предаваться беспричинному самоуничижению.

— Да-да, ты бедный-несчастный, никому не нужный наследник герцога Перуджи, это всем известно. Воистину, нет в Романье человека несчастнее тебя.

— Да какой я наследник, — сокрущенно вздохнул Тила. — Это я на одних словах наследник. Сейчас ведь Перуджей правит тетушка Аталанта, а тетушку, вон, как мой кузен Торино окрутил. Тетушка свою дочь ему отдает, а за нее ведь король Наваррский своего сына сватал!

— Незаконного, — вставил Джованни.

— Незаконного, ну и что? Подумаешь, незаконного! Чезаре вон тоже незаконный, и кого это волнует?

— Спасибо, друг мой, — Чезаре слегка поклонился ему со своего коня, так что перо на берете качнулось вперед.

Тила только сердито махнул своей здоровенной лапищей.

— Да ну тебя к дьяволу. Ты со своим незаконным отцом и славы, и счастья больше ограбишь, чем я с моей разлюбезной тетушкой. Вот увидишь, после этой свадьбы Торино ее окончательно окрутит, так она и отдаст ему Перуджу. А меня на свадьбу пригласили нарочно, чтобы поглумиться.

— Тила, — укоризненно сказал Джованни Медичи. — Ты несправедлив к своей родне. Если бы тебя хотели унизить, то вовсе бы не пригласили.

— Да, и я мог бы еще недельку попьянствовать с вами в Пизе, вот ведь горе было бы, а? Да я бы так и сделал, если бы не вы. Ну притворился бы, что письмо затерялось, бывает. И чего вас потянуло в эту Перуджу, а? — и он сплюнул в сердцах, оставив в густом слое дорожной пыли влажную ямку.

Джованни и Чезаре переглянулись. Конечно, Тила Бальони, даже будучи их другом, не мог их сполна понять. Джованни хлопотами отца еще три года назад принял кардинальский сан, хотя и не участвовал пока в заседаниях коллегии кардиналов; Чезаре Борджа получил кардинальскую шапку недавно и отбыл из Пизы в Рим на свое рукоположение. Он не был самым юным кардиналом в истории святой церкви, но в семнадцать лет самое последнее желание храброго и пылкого сердца — это навеки погрести себя под тяжестью церковных одежд и обязательств, навеки забыть о вольном просторе, хорошей драке, пьяной песне и жарком теле говорчивой девицы в руках. Впрочем, насчет последнего неписанные правила допускали некоторые поблажки — в конце концов, сам факт рождения Чезаре, его братьев и сестры свидетельствовал о том лучше прочего. И все же Чезаре было грустно. Вместе с кардинальским саном он обретал земли и богатства, но что ему до земель и богатств, когда он, и так никогда не знавший бедности, не нуждался ни в чем, кроме этого вольного ветра и легкого сумасшествия, и возможности вот так сорваться с места и поехать на свадьбу к родичам друга, и покутить там

всласть, потому что теперь Бог знает, когда выдастся снова такая возможность...

Так думал Чезаре, и полагал, что мысли Джованни сродни его мыслям. Но взгляд, брошенный на него сыном Лоренцо Медичи, заставил Чезаре усомниться в этом. Хрупкий, даже хлипкий Джованни, выглядящий особенно низкорослым по сравнению с Чезаре и Тилой, восполнял недостаток внешней мощи силой внутренней. Чезаре, которому не чужды были обе эти разновидности силы, уважал друга и прислушивался к нему, признавая про себя, что Джованни порой понимает больше, чем он сам. «Что такое, друг? Зачем мы на самом деле едем в Перуджу?» — мысленно спросил он, и Джованни опустил глаза, как бы давая знать, что сейчас не время.

— Кстати, Чезаре, — сказал он вдруг как ни в чем не бывало. — Все хотел тебя спросить, да только мы все время напиваемся и из головы вылетает. Каким образом твой досточтимый батюшка смог-таки стать его святейшеством Папой?

Тила выпучил на Джованни глаза — и расхохотался. Конь под ним, такой же громадный, как он сам, дернул ушами, а свита, ехавшая на почтительном расстоянии от господ, нервно забряцала оружием.

— Ну ты и спросил! — гаркнул Тила. — Да что ж ты как дитя-то малое? Это ж всем известно! Выбрали его господа кардиналы, такие же вот прощелыги, как вы оба. Так всегда делается.

— Ясно, что выбрали, — прищурившись, сказал Джованни, по-прежнему глядя на Чезаре со своего мула. — Вот только — почему? То есть, хочу я сказать, каким образом?

— Голосованием, — как слабоумному, объяснил ему Тила. — Единогласно.

— О том-то и речь, друг мой. О том-то и речь.

«Зачем он завел сейчас этот разговор?» — подумал Чезаре. Само собой, недавнее избрание кардинала Родриго Бордджа новым понтификом, принявшим на престоле святого Петра имя Александра VI, оставалось главной темой как церковных,

так и светских сплетен во всех замках, виллах, дворах и подворотнях Италии. Чезаре это известие застало перед сдачей выпускных экзаменов и нисколько не удивило: его отец всегда добивался того, чего хотел. Пизанские профессора, впрочем, оказались на высоте и, проявив себя образцом беспристрастности, дважды гоняли Чезаре на пересдачу по риторике и геометрии. Правда, за грамматику он сразу же получил наивысшую оценку. Как бы они ни относились к его отцу — а отныне всякий человек в Италии либо боготворил, либо ненавидел Родриго Борджа, — на отношении к сыну это никак не отразилось.

— Тила уже сказал, — ответил Чезаре на вопрос Джованни. — Провели голосование. Его повторяли трижды, пока над курией не заклубился белый дым. Говорят, улицы Рима огласились криками радости, и жители выпустили из окон сотни белых голубок.

— Ну еще бы им не радоваться, — хмыкнул Джованни. — В отсутствие Папы в Риме творится полнейшее беззаконие, это всем известно. Режут и убивают среди бела дня. Теперь горожане хотя бы смогут без опаски выйти на улицу, не боясь за оставшихся дома беззащитных жен и детей. Но я не о том тебя спросил, Чезаре. Мне любопытно, как именно твоему отцу удалось добиться такого исхода голосования. Ведь всем известно, что он не был фаворитом, ставки на него составляли один к восьми, тогда как, например, на кардинала делла Ровере ставили один к двум. Также есть ведь еще и Орсини, и Сфорца... Так почему именно твой отец?

— Ну что ты к нему пристал? — Тила подъехал к ним ближе и обернулся на свиту, удостоверившись, что та держится достаточно далеко. — Ты же знаешь, как делаются такие дела. Или у вас во Флоренции они обустраиваются иначе?

— Они везде обустраиваются одинаково. Удивляет другое. Коллегия кардиналов насчитывает сейчас двадцать шесть человек. Все это люди богатые, знатные, более или менее

благочестивые. И очень, очень могущественные. Кардинал Борджа мог бы купить два голоса, ну, три, ну допустим, шесть... но не двадцать шесть, в самом деле.

— Значит, он знает за кем-то из остальных грешки, — уверенно сказал Тила.

— Возможно, хотя члены коллегии в таких вещах соблюдают осторожность, ведь каждый из них мечтает рано или поздно стать Папой. Пусть будет еще шесть голосов. Итого двенадцать. Где еще четырнадцать?

— Ты вроде бы говорил, твой отец упоминал о браке твоей сестры с Сфорца? — обратился Тила к Чезаре и, когда тот молча кивнул, повернулся к Джованни: — Ну вот, Сфорца тоже у них в кармане!

— Согласен с твоим искрометным умозаключением, друг мой. Но где же еще тринадцать голосов? Или у его святейшества припасена еще дюжина детей, которых он может распродать за папскую тиару?

— Джованни, не забывайся! — загремел Тила — и осекся, когда рука Чезаре, затянутая в кожаную перчатку, легла на его плечо.

Чезаре улыбался.

— Все в порядке, — сказал он. — Не сердись на него. Ты же знаешь нашего друга, он любит такие задачки.

— О да, — Джованни Медичи снова прищурил темные, как у всех флорентийцев, глаза. — Очень люблю. Решение подобных задач тренирует ум.

— Ты бы лучше ручонки свои тренировал, да и ножки тоже, а то вон дохляк какой, на осле ездишь, — сочувственно сказал Тила, и Джованни скорбно покачал головой.

— Скромному служителю церкви не к лицу возвышаться над своей паствой. Это ведет к гордыне, — кротко ответил он, и большак вновь огласился хохотом Тилы Бальони.

Чезаре ехал между ними, такими разными и внешне, и внутренне, и думал о том, долго ли еще все они смогут оставаться

друзьями. Перуджа — вольный город, а отец неоднократно говорил, что с приходом к власти положит конец разнузданному самоуправству городов, бесконечные распри между которыми разрывали Италию на куски. Вряд ли это понравится графине Аталанте, да и всему клану Бальони. Что же до Джованни, то он слишком хитер. Недаром его наставником числился Никколо Макиавелли — судя по рассказам, тот еще старый лис. Медичи и Борджа находились в ровных отношениях, и на свободу Флоренции Ватикан не посягал, по крайней мере пока. Но Чезаре не нравилась настойчивость, с которой Джованни расспрашивал его об отце, а пуще того — проницательность, с которой он делал выводы. Версия о том, что все голоса конклава были куплены, укоренилась в народе за недели, прошедшие после избрания нового Папы. И Родриго, а стало быть, и Чезаре были заинтересованы в том, чтобы так и оставалось. Не слишком приглядная версия, но к подобному все привыкли. Купля и продажа санов, индульгенций, разводов и усыновлений давно стали привычным делом в святом городе Риме. В обыденное проще поверить. Но Джованни Медичи зрил в самый корень. Чезаре как никто знал, что слухи о баснословных богатствах Борджа чудовищно раздуты — что, опять-таки, являлось целенаправленной политикой отца, ибо золото всегда все объясняет. Золото все покупает и прощает. Ни к чему людям задавать вопросы, ни к чему знать, что богатств Борджа не хватило бы на взятки и для половины коллегии. Тем более что, как верно заметил Джованни, большинство кардиналов и так богаты и не стали бы возводить на папский престол ненавистного испанца, высокочку, наглеца лишь для того, чтобы присовокупить к своим необозримым владениям еще одну деревню и еще один замок.

Дело было не в деньгах, нет. Дело было в фигурке паука, намотанной на золотистый шнур. Чезаре вспомнил, как отец держал ладонь на ней, спрятанной под кардинальской сутаной, во время их последней встречи перед отбытием Чезаре

в Пизу. «Все пройдет как задумано, сын мой, — сказал Родриго тогда. — Верь в своего отца». Он мог бы сказать «верь в паука» — и не ошибся бы. Чезаре до сих пор весьма смутно представлял, как именно действует эта фигурка, какую силу дает она отцу. Они никогда не говорили об этом. Чезаре знал только, что сила существует — сила, сравнимая с его собственной, позволявшей сваливать одним ударом противника вдвое тяжелее себя и одним ударом отрубать голову быку. Впрочем, с быками Чезаре старался быть осторожнее. В конце концов, именно один из них, тот, что холодил сейчас его грудь под сорочкой, подарил Чезаре эту невообразимую мощь. Ни к чему лишний раз обижать его родичей. Никто не любит, когда обижают его семью.

Кто-то в сопровождавшей их свите затянул похабную песню, и Тила с готовностью подхватил ее, сотрясая окрестности густым басом. Чезаре с нежностью посмотрел на него, жалея, что скоро они расстанутся, чтобы затем, быть может, стать врагами. Джованни тоже смотрел на Тилу, и во взгляде его сквозила задумчивость, которой Чезаре не мог понять. Он решил выбросить все из головы. Какого, в конце концов, черта? Он молод, здоров, красив, он сын новоизбранного Папы Римского и едет в родовое гнездо своего закадычного друга, чтобы как следует повеселиться. Жизнь прекрасна, проста и бесконечна, когда тебе семнадцать лет и весь мир лежит распластертым у твоих ног. Чезаре щелкнул хлыстом, тряхнул головой и подхватил песню, гудящую над разбитой дорогой.

Перуджа встретила их чисто выметенными улицами и домами, увитыми тысячью благоухающих свежих цветов. Журчали фонтаны, вычищенные от извести и тины, сточные каналы были перекрыты струганными досками, а уличные живописцы разукрасили замшелые стены старинных домов всеми красками радуги. Перуджа готовилась к свадьбе молодого господина, мессира Торино, и Лавины Бальони, дочери

графини Аталанты, наконец осуществившей мечту и выдававшей драгоценное чадо за обожаемого племянника. В городе было не протолкнуться от многочисленных отпрысков клана Бальони, приехавших на свадьбу, их друзей, родичей, друзей их родичей и родичей их друзей, свиты тех, других и третьих, а также прочих прихлебателей и дармоедов, кои неизменно слетаются на подобные действия. Чезаре, Тила и Джованни приехали слишком поздно, когда в городе не осталось не то что свободной гостиницы, но даже свободного угла на сеновале. Разумеется, сын Папы, наследник Лоренцо Медичи и родной племянник графини Аталанты могли рассчитывать на кров в замке, но их свите, насчитывавшей около тридцати человек, вход в город оказался закрыт. Чезаре в связи с этим ощутил смутную тревогу: он был юн, но не глуп, и знал, что человеку его положения не стоит разгуливать на чужой земле без сопровождения надежных и хорошо вооруженных людей. Однако в городе все обстояло спокойно, воздух звенел смехом и шутками, а к вечеру на улицу выходили патрули, следившие, чтобы никакие беспорядки, неизбежные при таком скоплении народа, не омрачили грядущего торжества. Поэтому Чезаре, скрепя сердце, согласился с тем, чтобы его люди встали лагерем за крепостной стеной. А Джованни настоял, чтобы в замке им отвели комнаты, из которых поле и лагерь были хорошо видны, так, чтобы в случае чего удалось бы подать сигнал или быстро добраться до своих.

— Чего ты боишься? — спросил его Чезаре, когда они остались вдвоем — Тила отправился засвидетельствовать свое почтение тетушке в неофициальной обстановке.

Кто-либо другой смертельно оскорбился бы на такой вопрос, но Джованни Медичи лишь задумчиво потер ладонью свой мягкий холеный подбородок.

— Никогда не знаешь, когда тебе понадобятся тридцать верных мечей, — произнес он наконец, и хотя этот ответ мало что объяснял, Чезаре уверился в своей мысли, что Джованни

знает или подозревает больше, чем говорит. Потому и Чезаре держался настороже: он знал, что проницательности Джованни Медичи стоит верить.

Ночь прошла спокойно, а следующий день пронесся в круговорти празднований. Венчание состоялось утром, и уже к полудню во всей Перудже не осталось ни одной трезвой души: даже собаки с готовностью лакали вино из луж, пролитых то тут, то там на затоптанной мостовой. Друзья по пизанской бурсе полдня кутили в замке, потом поехали в город, потом снова вернулись в замок, а веселье и не думало затихать. Невеста была прехорошенькая, розовая и сочная, будто персик, жених — с виду деревенский увалень, каких поискать — поверить в свое счастье не мог и на радостях нализался сильнее гостей. Графиня Аталанта сияла от удовольствия, промокая материнскую слезу. Даже Тила, никогда не выказывавший к своей родне особой любви, казался довольным всем на свете и то и дело что-то счастливо орал, заглушая музыкантов. Единственным, кто не выглядел полностью довольным, был Грифонетто, сын графини Аталанты и еще один кузен Тилы и Торино. Он сидел мрачнее тучи, нервно подкручивая острый ус, и это не укрылось от Чезаре. Пару раз они с Джованни обменялись многозначительными взглядами на сей счет, но потом вино взяло свое, и Чезаре забыл угрюмого Грифонетто. День промчался, словно гигантская колесница, громыхая огненными колесами, и бурно скатился в ночь, прохладную, ясную, созданную для неги в объятиях нежной девицы, коих, по счастью, в замке графини водилось в изрядном числе.

Около полуночи молодых, как водится, с прибаутками и скабрезностями проводили в спальню (при этом Торино хихикал, как конченый идиот, а монна Лавина премило краснела), и Тила предложил закончить пирушку у него. Все уже порядком устали, тащиться далеко не хотелось, так что Чезаре с Джованни радостно приняли приглашение. Они уже

поднимались по лестнице, когда Чезаре услышал неподалеку чей-то тихий голос, словно кто-то о чем-то сговаривался тайком. Он сам не знал, что заставило его замедлить шаг; рука помимо воли потянулась к фигурке быка, висевшей на шее под тканью сорочки. Так случалось всегда, когда он инстинктивно чувствовал опасность, и именно это непроизвольное движение заставило его остановиться.

— Чезаре, чего встал столбом? — гаркнул Тила с верха лестницы, и тот отмахнулся.

— Идите, я вас догоню.

— Не трогай его, Тила. Ему пригрезилась юбка монны Марселлы, — сказал Джованни, и Тила оглушительно заржал. Чезаре понятия не имел, кто такая монна Марселла — должно быть, одна из тех девиц, с которыми он тискался этим вечером на глазах у друзей, — но он подозревал, для Джованни это также не имело значения. Чезаре метнул на друга быстрый взгляд. Тот чуть заметно кивнул. Чезаре отошел от лестницы в темноту, огляделся и, убедившись, что остался один, вынул из ножен меч.

Он больше не слышал голосов, но без труда нашел коридор, из которого они доносились. Лестница привела его в крыло, отведенное молодоженам: дверь в спальню, лишь четверть часа назад закрывшаяся за новобрачными, была широко распахнута, оттуда лился свет и доносились истерические женские рыдания. Чезаре на цыпочках подошел к двери, держа меч наизготовку, и заглянул внутрь, изо всех сил стараясь оставаться незамеченным.

Картина, открывшаяся взгляду, потрясла его. Первым делом в глаза ему бросились трупы — изрубленные мечами, окровавленные и, что самое ужасное, обнаженные. Чезаре не сразу узнал в этих жалких останках недавних молодоженов, Торино и Лавину Бальони. Грифонетто стоял над телами кузена и сестры с окровавленным мечом, а у ног его, корчась и царапая лицо ногтями, ползала и вопила его собственная мать.

— Будь ты проклят! — выла она. — Будь проклят, убийца! О, за что Господь наказал меня, за что я предана собственным сыном?!

— Успокойтесь, — голос Грифонетто прозвучал ровно, почти лениво, и Чезаре, никогда до сих пор никого не убивавший своей рукой, ощутил, как волоски у него на затылке встают дыбом от этого тона. — Выслушайте меня. Жаль, что вы это увидели, но, право слово, кузен Торино не оставил мне никакого выбора. Он готовил заговор против вас, он и эта шлюха, которую мне приходилось считать сестрой. Если бы верные люди не доложили мне обо всем вовремя, завтра утром вы лежали бы в своей постели мертвая, а Перуджа перешла бы в руки вашего Торино. Вот он каков, ваш обожаемый Торино. Я давно вам говорил, да вы слушать меня не желали.

— Лжешь! — дико выкрикнула графиня. — Ты лжешь, негодяй! Да зачем ему убивать меня, когда я сама, сама своей рукой готова была поделиться с ним властью над городом и...

— Вот-вот, поделиться. Кому нужна власть по частям? Он захотел проглотить весь пирог целиком и подавился, — Грифонетто пнул окровавленный труп носком сапога, и графиня завопила еще громче. По лицу ее сына скользнула гримаса отвращения. — Да не орите же вы так! Перебудите весь замок, а дело еще не закончено.

— Не закончено?! Что ты еще задумал, подляя тварь, змея, которую я выносила под собственным сердцем? Кого ты еще собрался убить?

— Остальных заговорщиков, разумеется. Прежде всего кузена Джанпаоло, я имею самые достоверные сведения, что он...

Дальше Чезаре слушать не стал. С того места, где он стоял, обзор открывался неполный, но он заметил блеск лат и услышал бряцанье оружия, свидетельствовавшие, что в спальне Грифонетто Бальони был не один. Чезаре не стоило труда схватиться с ним и оторвать ему голову голыми руками, но он

опасался, что кто-нибудь из его сообщников набросится сзади, и тогда все будет кончено. К тому же он не мог убить Грифонетто, не развязав родовую войну между Бальони и Борджиа. А этого он не хотел.

Чезаре беззвучно отступил в глубь коридора, в тень. В последний раз взгляд его скользнул по белоснежной женской руке, раскинутой на холодном полу, словно мертвая птица. Он внезапно подумал о собственной сестре, Лукреции, оставшейся в Риме, и горло ему перехватило судорогой такого страшного гнева, что он чуть не кинулся на Грифонетто, забыв обо всех своих мудрых рассуждениях. Но через миг помрачение прошло, разум снова взял верх, и Чезаре, тихо убрав меч в ножны, опрометью кинулся к комнатам, где беспечно кутил его друг Тила, не ведавший, что жить ему осталось менее часа.

Тила с Джованни хотели над чем-то, когда Чезаре воился в комнату, но при виде его тотчас замолкли. Джованни отставил бокал с вином и поднялся. По его лицу Чезаре понял, что тот если и не знал, то ожидал чего-то подобного.

— Быстро, — сказал Чезаре сквозь зубы. — Времени в обрез. Надо бежать.

— Какого черта? — воскликнул Тила, но Чезаре уже сгреб его перевязь с мечом и втиснул другу в руки.

— Коридором идти нельзя, мы можем столкнуться с ними. Здесь высоко?

— Не очень, — Джованни выглянул в окно, хладнокровно оценивая высоту взглядом. — Внизу покатая крыша. А там, кажется, сеновал... в темноте не вижу.

— Ладно, рискнем.

— Какого черта, Чезаре? Ты можешь объяснить, что...

— Твой кузен Торино мертв. Его жена тоже. Грифонетто сверг мать и к утру вырежет всех Бальони, чтобы стать тираном Перуджи, — отчеканил Чезаре, глядя ему прямо в глаза.

Тила Бальони не отличался ни проницательностью Джованни Медичи, ни предприимчивостью Чезаре Борджиа, но

полным дураком он тоже не был. Выругавшись, он поднялся и подошел к окну, разглядывая черепичный скат крыши.

— Иди первым, — сказал он. — Потом Джованни, поможешь ему спуститься. Я прикрою...

— Нет, иди вперед ты. Ведь им ты нужен, а не я. Я сын Папы, меня они зарубить не посмеют... ну, во всяком случае, не сразу, — добавил Чезаре без особой уверенности.

Спорить было некогда. Тила затейливо выругался и, перебернув перевязь, сиганул из окна на крышу. Жестяной настил загрохотал под его немалым весом, со стуком посыпалась вниз черепица.

— Джованни! — глухо раздалось снизу. — Давай, подсажу!

Джованни успел оседлать подоконник, когда в коридоре послышались торопливые шаги. Грифонетто был жесток и нагл, но довольно глуп — он не счел нужным таиться, рассчитывая на внезапность. Чезаре рванулся к двери и прижался к ней спиной, вцепившись обеими руками в косяки.

— Прыгай! — закричал он. — Убирайтесь отсюда, живо!

Дверь за его спиной громыхнула, ударяя его меж лопаток. Чезаре сцепил зубы, опуская голову, словно бык, готовый ринуться на тореадора. Фигурка на его груди раскалилась, завибрировала, почти задышала. Дверь дрогнула снова, в нее рвались по меньшей мере трое здоровых мужчин. Они бы здорово удивились, узнав, что их напор удерживает один-единственный семнадцатилетний юноша. Так, как удивился Джованни Медичи, который, сидя на подоконнике, раскрыл рот и смотрел на Чезаре во все глаза.

— Да прыгай же ты! — крикнул тот, и Джованни, опомнившись, соскользнул вниз, в медвежьи объятия Тилы.

Чезаре мог только надеяться, что с ними все будет в порядке. Он дождался мгновения, когда дверь на секунду перестала дрожать — нападающие переводили дух — и, сорвавшись с места, схватил тяжеленные рыцарские доспехи, которые успел заприметить в углу. Они весили, как годовалый

жеребенок, но Чезаре подбросил их, будто серебряную ложечку, и швырнул поперек двери, на которую уже налегали с новой силой. Дверь наконец соскочила с петель, подалась на дюйм и застяла, уперевшись в груду старого ржавого железа. В образовавшуюся щель лавиной хлынула брань, кто-то просунул лезвие меча, надеясь увеличить зазор.

Чезаре подарил себе миг упоения своим триумфом, затем картинно раскланялся перед багровой физиономией Грифо-нетто Бальони, видневшейся в щели, и, перемахнув через подоконник, присоединился к своим друзьям на земле.

Тут-то они и порадовались, что не оставили своих людей в городе — ищи их там, свищи. А так подмога была совсем рядом, и все трое, молча переглянувшись, опрометью кинулись через поле к сторожевым огонькам, горевшим в ночи.

— Я убью его! — ревел Тила, круша все вокруг. Ареной для вымещения праведного гнева ему служила палатка капитана охраны, которую тот великодушно отдал на разнос и поруганье. Джованни укрылся в углу палатки, в кресле, за бараньей ногой, которую поглощал с видимым наслаждением человека, остро сознающего, что избег смертельной опасности. Чезаре стоял поодаль, не пытаясь утихомирить разбушевавшегося Тилу. Он вполне разделял его негодование.

— Убить не убьешь, но с рук это ему не сойдет, — заверил Чезаре друга. — Надо разослать гонцов, оповестить городскую стражу, к утру в нашем распоряжении будет сотня мечей. И вот тогда...

— Тогда я отрублю его вероломную башку и насажу на пику на городской стене! — проревел Тила.

— Ну хорошо, если тебе так хочется, — успокаивающе сказал Чезаре. — Но это не станет возможным, пока перевес не окажется на нашей стороне.

— Чезаре прав, — подал голос Джованни из своего угла. — Сколько человек в гарнизоне крепости? Тридцать, сорок? Хорошо,

возьмем для верности шестьдесят. У тебя должно быть как минимум вдвое больше, чтобы требовать переговоров.

— Ты знал? — Чезаре повернулся к нему. Возбуждение от недавнего приключения еще не улеглось, он был взбудоражен и по-странныму весел, и сейчас ему не хотелось осторожничать.

При этом вопросе Тила круто развернулся и уставился на Джованни. Тот с невозмутимым видом обгрыз кость и отшвырнул ее в угол.

— Знать, конечно, не мог, — сказал он почти торжественно, явно довольный собой. — Но догадывался. Слишком внезапно пришло это приглашение на свадьбу, ведь мы все знаем, что тебя, друг мой Джанпаоло, родичи недолюбливают. К тому же свадьбы — издавна самый удобный предлог для бойни. Весь клан собирается в одном месте, все пьяны, охрана разбредается по борделям... Я не знал, что готовится заговор, но считал такой расклад вполне вероятным.

Тила разинул рот. В его взгляде, обращенном на щуплого товарища по науке, сквозило искреннее восхищение. Со стороны это выглядело очень забавно.

— Что ж, ты спас всем нам жизнь, — заметил Чезаре. — Если бы не твоя настороженность, я бы и сам наверняка проклопал. А так держал ухо востро.

— И вытащил нас оттуда, — возразил Джованни. — Ты герой, Чезаре, а не я. Я лишь скромный...

— ...служитель церкви, — закончили все трое в один голос и расхохотались.

Остаток ночи прошел в живом обсуждении дальнейших планов. Следующим утром в шесть вечера к городской ратуше Перуджи подъехала кавалькада из ста двадцати всадников. Тридцать из них были из свиты молодых людей, остальные — подданные Аталанты Бальони, узнавшие о дерзком мятеже ее сына и согласившиеся помочь Тиле призвать негодяя Грифонетто к ответу. О судьбе самой графини никто ничего не

знал, подозревали, что собственный сын держит ее пленницей в замке — в любом случае, власть над Перуджей она потеряла. И горожане вовсе не горели желанием подчиниться тирану, захватившему эту власть столь вероломно.

Сто двадцать всадниковостояли на дневном солнцепеке более часа, прежде чем со стороны крепости показалась другая кавалькада, менее внушительная, но также настроенная весьма серьезно. Возглавлял ее Грифонетто, скачущий на гнедом боевом жеребце, надменный и самоуверенный. Они с Ти-лой холодно поклонились друг другу посреди площади в окружении солдат и зевак. Толпа взволнованно загомонила при виде этого жеста, свидетельствовавшего о начале переговоров.

— Как думаешь, с какой вероятностью дойдет до свалки? — вполголоса спросил Чезаре у Джованни, который по такому торжественному случаю сменил своего мула на послушную молоденькую кобылу и гарцевал с ним рядом, немного поодаль от центра событий.

— Я бы дал два против трех, — ответил Джованни, и Чезаре покачал головой. Их людей больше, но люди Грифонетто лучше вооружены и составляют слаженный отряд. Исход драки, завязавшейся сейчас прямо здесь, на улицах Перуджи, был не столь однозначен, как ему бы хотелось. — Стоило тебе послушать нас и уехать во Флоренцию, Джованни. Мы бы дали тебе сопровождение и...

— И я бы пропустил все самое интересное, — возразил тот. — Брось, Чезаре. Я не ты и даже не Тила, мне не быть воином, я еще насижусь вдоволь за толстыми стенами. Дай хоть немного поглазеть на жизнь вблизи. А к тому же, — добавил он, хитро подмигнув, — маэстро Макиавелли наверняка будет интересно выслушать полный отчет об этой интриге из моих уст.

Чезаре усмехнулся. Да уж, дружба дружбой, а в таких делах у каждого свой интерес. Вот и он, сын Папы, кардинал Валенсии, Чезаре Борджа... что он делает здесь?

— Я даю тебе шанс, негодяй! — прогремел над ними трубный голос Тилы. — В память кузины Лавины и кузена Торино, во имя твоей матери, которую ты бесчестишь своим вероломством. У меня больше людей, жители Перуджи оскорблены твоим предательством, я могу уничтожить тебя, как мошку — но во имя нашей общей крови даю тебе шанс. Сразись со мной в честном поединке, смой хоть часть позора, который навлек на себя. И тогда, если ты победишь, — добавил Тила, оскалив желтые зубы, — добрые жители Перуджи вынуждены будут признать, что ты овладел их городом по праву. Ибо на все воля Господня!

Толпа одобрительно загомонила. Джованни опустил голову, пряча довольную улыбку. Это была его идея, его речь, отрепетированная ими за ночь и исполненная Тилой с похвальным усердием. Ордалии давно отменили, но народ по-прежнему придавал честному поединку большее значение, нежели папским буллам. В то же время присутствие здесь двух кардиналов, один из которых был сыном самого Папы Александра VI, придавала происходящему особый вес и как бы благословляло поединок не только народной волей, но и волей святой матери церкви. В таких условиях Грифонетто Бальони просто не мог отклонить вызов кузена. На площади воцарилась тишина в ожидании его ответа. Тила снова ухмыльнулся, спрыгнул с коня наземь и обнажил свой боевой топор. Чезаре не раз видел, как он разрубал этим топором здоровенные бычьи туши. Пожалуй, Тила был единственным из всех, кого знал Чезаре, кто мог потягаться с ним в силе. Разумеется, безо всякого шанса на успех, но Чезаре порой поддавался ему, чтобы не вызывать лишних подозрений. И победы над ним, и поражения Тила принимал с одинаковым благодушием, за что Чезаре его и любил.

— А сейчас какие шансы у нашего Тилы? — спросил он Джованни, и тот с притворной задумчивостью потер подбородок.

— Хм, дай-ка прикинуть... Сто к одному? Не в пользу бедняги Грифонетто, разумеется. О-о, смотри, смотри, я прав.

Действительно, все закончилось на удивление быстро. Грифонетто Бальони не был худосочным, но моци и ярости Тилы мог противопоставить лишь свою изворотливость и склонность к подлости. Это, случается, приносит победы на поле брани, но редко спасает в битвах один на один. Тила наступал на противника, нагнув голову и вращая над ней боевым топором, и Грифонетто оставалось лишь уворачиваться, шарахаясь от широкого лезвия, сверкающего на солнце. В какое-то мгновение он от отчаяния осмелел и кинулся в атаку: его меч скрестился с клинком топора, жалобно задрожав и едва не переломившись надвое.

Чезаре с жадностью следил за сражением, жалея, что не может принять в нем участие — и не только оттого, что ордalia священна, в нее нельзя вмешиваться никому, но и оттого, что он был сыном Папы. Лишь благодаря его действиям в замке сражение, разворачивающееся сейчас на его глазах, стало возможным, но та заварушка стала, вероятно, последним подобным приключением для него. И от сознания этого Чезаре хотелось завопить во все горло, обнажить меч и кинуться Тиле на подмогу.

Тот, впрочем, справился и сам. Площадь вновь огласилась звоном скрестиившегося железа: удар, другой, третий. А потом раздался ужасный хруст ломающихся костей, и Грифонетто, хрипя и булькая кровью, кулем рухнул наземь к ногам своего кузена. Перуджа приветствовала победителя воем, показавшим, что здесь еще не забыты времена, когда чернь упивалась зрелищем гладиаторских боев. Тила вскинул топор над головой и победно заревел. Толпа вторила ему в полном экстазе.

— Славно! — крикнул Джованни Медичи, аплодируя вместе со всеми. — Я не знаю, что ты сотворил там, в той комнате, Чезаре, с дверью. Но что бы оно ни было, это сделало нашего друга Джанпаоло тираном Перуджи! Браво, Бальони! Браво, Борджа!

Чезаре аплодировал тоже, стараясь отделаться от странного чувства, вызванного в нем этими словами. Это был страх — он впервые раскрыл перед кем-то, кроме членов семьи, свою тайну; и это была гордость — потому что, в самом деле, он смог; и еще удивление, потому что Чезаре осознал, что теперь город сполна принадлежит его горластому другу, лишь когда Джованни озвучил это. Но сильнее всего прочего оказалось чувство, шевельнувшееся в душе Чезаре Борджа не впервые, однако впервые оформившееся в этот день, на этой площади, залитой кровью, под восторженные крики толпы. Имя этому чувству — честолюбие.

Ибо если сила, дарованная Чезаре Борджа Господом, отцом и фигуркой быка, сделала Тилу Бальони тираном Перуджи, то кем же эта сила способна сделать самого Чезаре Борджа?

ГЛАВА 3

1495 ГОД

— А вот эти жемчуга, мадонна? Они оттенят белизну вашей кожи и к тому же гармонируют с шитьем на корсаже...

— Не знаю, — капризно сказала Лукреция Борджа, трогая тонким пальчиком нитку великолепных, каждая с горошину величиной, бусин, свешивающихся из шкатулки. — Мой брат Хуан говорит, жемчуг делает меня чересчур бледной.

— В таком случае эти кораллы. Они подчеркнут сочность ваших медовых уст и...

— Гхм!

Суровое покашливание, донесшееся от двери, заставило ювелира Бальцатти вздрогнуть и обернуться, словно загнанного зайца. В дверях, широко расставив ноги и постукивая себя хлыстом по голенищу высокого сапога для верховой езды, стоял Чезаре Борджа. Вид у него был самый что ни на есть строгий. Лукреция хихикнула и прижала ладонь к губам, метнув в растерявшегося ювелира хитрый взгляд — а потом птичкой сорвалась с места и повисла у брата на шее.

— Чезаре, ты приехал! Отец говорил, ты не сможешь.

— Как я мог не приехать к моей сестренке в такое важное для нее время? — Чезаре нежно коснулся губами виска Лукреции и бережно поставил ее на землю. В его объятиях она, и без того маленькая и тонкая, ощущала себя совсем невесомой. — И, вижу, успел как раз вовремя.

Лукреция в ответ на его посупровевший тон невинно захлопала глазами.

— Это мессир Бальцатти, ювелир. Батюшка прислал его, чтобы я выбрала украшения к венчальному платью.

— Истинно так, ваша светлость, — ювелир, уже прия в себя, согнулся в подобострастном поклоне, заискивающе поглядывая на сына Папы. — Его святейшество распорядил ся предоставить его дочери на выбор лучшие драгоценности, какие только найдутся в Риме, и я поспешил исполнить святейшую волю...

— Не забывая заодно флиртовать с моей сестрой, — холодно сказал Чезаре, и ювелир воздел руки в жесте искреннего негодования.

— Как можно, ваша светлость! Я лишь с присущим людям моего ремесла чутьем и вкусом осмелился указать, что...

— Ладно, ладно, — Чезаре поморщился, в то время как Лукреция едва сдерживала довольную улыбку — она обожала, когда брат ее ревновал. — Ты уже что-нибудь выбрала?

— Нет. Ума не приложу. Здесь столько всего...

— Покажи мне платье.

Лукреция искоса посмотрела на него. Он был такой красивый, ее брат Чезаре, в этом черном костюме для верховой езды, в черных перчатках, усыпанных крохотными брильянтами, с хлыстом в твердой руке. Уже совсем взрослый. Скоро отец и ему подыщет подходящую партию, как и ей. От этой мысли Лукреции стало грустно.

— Показываться в венчальном платье перед свадьбой — дурная примета, — заметил ювелир, на что Чезаре фыркнул:

— Я ведь ее брат, а не будущий супруг. К тому же только еретики и евреи верят в приметы, правоверному католику сие не к лицу. Вы, мессир Бальцатти, еретик или еврей?

Одутловатое лицо ювелира стало наливаться краской.

— Помилуйте, ваша светлость... как можно... мой род...

Лукреция, не выдержав, расхохоталась, звонко чмокнула брата в щеку, крикнула «Я сейчас!» и убежала, оставив мужчин вдвоем. Бедный Бальцатти, ну и натерпится он теперь. Впрочем, если он достаточно ловок, то сумеет воспользоваться случаем и повернуть ситуацию в свою пользу. Ибо всем было известно, что Чезаре Борджа падок на блестящие камешки не меньше, чем его юная сестра.

Так и случилось: вернувшись через четверть часа, Лукреция застала обоих мужчин увлеченно торгующимися за перстень с аметистом, который Чезаре уже успел нацепить на палец. Однако споры смолкли, когда Лукреция, с нарочитой торжественностью замедлив шаг, вошла в покой. Две служанки, помогавшие ей одеться, несли сзади подол ее платья.

Пауза затянулась, и Лукреция украдкой подняла глаза. Ее взгляд встретился со взглядом брата, прикованным к ней, и сmutная дрожь удовольствия прошла по ее спине, забираясь под кожу. Лукреция медленно развела руки, позволяя длинным рукавам свободно ниспасть вниз, сияя шелком и золотым шитьем. Она была прекрасна и знала это.

— Удивительно, — проговорил в наступившей тишине Чезаре. — Лукреция, ты просто... ты просто ангел.

— А ангелам к лицу жемчуга, — оживился Бальцатти, тоже захлопавший при виде ее глазами, будто филин. — Я сразу сказал вашей сестрице...

— Алмазы, — уверенно перебил его Чезаре. — Алмазы и только алмазы.

Он почти не глядя выудил из раскрытой шкатулки ожерелье, сверкнувшее в солнечных лучах так, что глаза резануло болью. Решительно подошел к сестре и, когда она наклонила голову, надел ожерелье на ее шею. Бархат его перчатки ласкал ее обнаженную кожу.

— Вот так, — сказал он. — Теперь ты совершенна.

— А сколько это стоит, ты спрашивал? — рассмеялась она, и Чезаре нетерпеливо мотнул головой.

— Все равно. Если отец заупрямится, я сам заплачу. Ты будешь самой красивой невестой, когда-либо встававшей к алтарю.

От этих слов, которые должны были порадовать ее, Лукреции, напротив, взгрустнулось. Ее улыбка поблекла, и Чезаре, всегда чутко улавливавший малейшую смену ее настроений, понял, что пора им поговорить по душам.

Бальцатти откланялся, очень довольный, и даже не обиделся на еще какую-то колкость, которую Чезаре отпустил в его адрес, прощаясь. Лукреция слушала вполуха, разглядывая свое отражение в огромном, во всю стену, зеркале. Да, она хороша. Но кому предназначено владеть этой красотой, этой юностью, свежестью, кому она принуждена отдать свою любовь? Глупому, толстому, некрасивому Джованни Сфорца, который двух слов связать не может, да еще и обрызгал ее слюной во время официального сватовства. При мысли о нем Лукреция испытывала отвращение, хотя человеком он, кажется, был неплохим. Отец уверял, что Сфорца будет слушаться ее во всем, если она обставит дело с умом, но это не утешало. Ей только исполнилось пятнадцать, она хотела любить, быть любимой, отдавать свое юное тело с еще дремлющей, но уже готовой проснуться страстью. И что с того, что она дочь Папы, а Риму сейчас, в канун неизбежной войны с Францией, жизненно необходим союз с Миланом? Разве она дочь Рима? Она дочь своего отца.

И, как дочь своего отца, она не могла огорчить его непослушанием.

— Грустишь?

Она вздрогнула, услышав шепот Чезаре над самым ухом — он подошел к ней совсем неслышно, как в детстве, когда хотел зажать ладонями глаза и потребовать приз.

— Немножко, — призналась Лукреция. С Чезаре она могла быть полностью откровенной. — Свадьба через неделю, а мне совсем не хочется замуж. Разве это правильно?

— Никто не хочет замуж в твои годы.

— Это должно меня утешить?

— Нет. Твоим утешением буду я. Я привез тебе подарок, — весело сказал Чезаре, и Лукреция мигом изменилась в лице.

— Подарок! О, Чезаре, я обожаю подарки!

— Знаю, сестренка, знаю. Поэтому решил порадовать тебя перед свадьбой. Официальный дар тебе и твоему мужу я пришлю потом, а эта безделица — только для тебя.

Он извлек из кармана камзола коробочку, обитую атласом и пахнущую фиалковыми духами. Церемонно поклонился, а когда Лукреция рассмеялась, ухмыльнулся и сам раскрыл футляр. Внутри, свернувшись, словно змея, лежала золотая цепь толщиной с мизинец Лукреции.

— Это особый сплав из золота и железа. Порвать ее невозможно, только перерубить мечом. Это тебе для ласточки, — многозначительно сказал Чезаре, глядя ей прямо в глаза.

Лукреция тотчас поняла его. Им никогда не требовалось лишних слов.

— Подите вон, — сказала она служанкам, и те, поклонившись кардиналу Борджа, оставили его с сестрой наедине.

— Она ведь при тебе? — спросил Чезаре, когда они остались вдвоем. Лукреция кивнула, запуская руку в вырез корсажа. Брата она ничуть не стыдилась, да и его нельзя было смутить столь откровенным жестом. Фигурка ласточки, казалось, уменьшилась с тех пор, как Лукреция показывала ее брату в последний раз — хотя на самом деле просто выросла ее ладонь, теперь уже ладонь не маленькой девочки, а молодой женщины, которую отдают замуж. Чезаре взял фигурку, задумчиво повертел в руках. Он сидел боком к окну, и солнечный свет делал особенно яркими и ясными его разноцветные глаза: зеленый и синий.

Взял из коробочки цепь, Чезаре ловко и тщательно оплел ею тело ласточки так, чтобы фигурка не могла выскользнуть. Потом повесил Лукреции на шею, и блеск тяжелого алмазного

ожерелья померк, затененный странным матовым сиянием, идущим у фигурки изнутри.

— Спасибо, Чезаре, — сказала Лукреция, и тот погладил ее по щеке.

— Не за что, сестренка. Может, теперь ты мне наконец расскажешь, как она действует?

Лукреция внутренне напряглась, он ощущил это и убрал руку. Его взгляд был таким же мягким и нежным, как всегда, когда он смотрел на нее. В отличие от отца и брата Хуана, Чезаре никогда ничего не требовал от нее, только просил. И ждал. Ждал столько, сколько понадобится — в детстве, когда она дулась на него за детские обиды, и сейчас.

— Я не говорила тебе, — медленно произнесла Лукреция, глядя мимо Чезаре в окно, — потому что знала, что ты становишься расспрашивать о подробностях. И я не знала, как рассказать... чтобы ты понял... и не гневался на отца.

Чезаре удивленно приподнял брови. Такого он не ожидал.

— На отца? При чем здесь он? Ты использовала свою силу по его указанию?

— Не в этом дело, — уклончиво сказала Лукреция. — Просто... постой, сейчас я тебе покажу. Ох! — она вскочила, забыв, что на ней громоздкий венчальный наряд, запнулась о подол и сердито топнула ножкой, сминая кружева. — Проклятое платье! Кончита! Мария! Где вы там! Я сейчас вернусь, Чезаре, не уходи пока.

— Куда же я уйду, — с улыбкой отозвался тот.

Лукреция вернулась, переодевшись в домашнее платье и неся две коробки — одну узкую и длинную, другую плоскую квадратную. Обе коробки были обиты бархатом и богато украшены, так что не возникало сомнений, что в них находятся подарки.

— Наши родители любят меня так же сильно, как ты, — сказала Лукреция. — Они тоже подумали, что меня нужно немного утешить перед свадьбой, и решили побаловать. Вот, смотри, что мне подарила Ваноцца.

Так же, как и все незаконные дети Папы Александра, Лукреция не называла свою мать иначе, чем по имени. Они были не слишком близки, но Лукреция любила женщину, подарившую ей жизнь, той же спокойной, лишенной страсти любовью, которую и та питала к ней. Однако Ваноцца дей Каттанеи также была частью клана Борджа. И ее подарок дочери на свадьбу, на которой она, кстати сказать, не имела права присутствовать, дабы не случился скандал, — подарок говорил о понимании между ними больше, чем слова.

— Взгляни, — сказала Лукреция, протягивая Чезаре плоскую квадратную коробку.

Тот с любопытством открыл ее. Внутри оказался лист пергамента, расправлений и прижатый к атласной подкладке золотыми булавками. На пергаменте оказался выведен какой-то список на латыни. Чезаре, обучавшийся этому языку в Пизанском университете, наморщил лоб.

— Медь... селитра... соли фосфора... мышьяк... Лукреция, что это?

— Рецепт, Чезаре. Рецепт лекарства, которое излечивает от всех забот и печалей. Ваноцца сказала, что он изобретен ее прадедом, бывшим флорентийским аптекарем, и с тех пор передается из поколения в поколение. Он называется «кантерелла».

— Яд, — прошептал Чезаре. Его ноздри хищно раздулись, словно он хотел учуять какой-то особый запах, исходящий от этого дьявольского документа. Запах смерти, быть может?

— Я велела изготовить немного, — небрежно сказала Лукреция. — Из любопытства. Сегодня должны принести.

— Сестра! — Чезаре обернулся к ней с изумлением. — Да уж не надумала ли ты избавиться от нежеланного жениха?! Если он тебе так противен, я могу просто свернуть ему шею, тебе ни к чему марать свои белые ручки подобной дрянью.

— Я бы никогда не стала бесчестить тебя подобным образом, любимый мой Чезаре. Да и за кого ты меня принимаешь, в самом деле? За какое-то чудовище? — Лукреция обиженно надула губки. — Джованни гадкий, но это не повод желать ему смерти. Говорю ведь, я заказала кантареллу просто из любопытства. А для Джованни попросила у матушки другое зелье... лишающее мужской силы.

Последнее она добавила, лукаво улыбаясь, и Чезаре помимо воли расхохотался.

— Ну ты и хитра, сестренка! И как ты собираешься ему подсыпать эту травку?

— Это не составит большого труда, — Лукреция раскрыла вторую коробку, которую держала на коленях, и показала Чезаре набор золотых колец, выложенных в ряд на черной бархатной подушечке. — Вот подарок отца. Видишь? — она взяла одно кольцо и, нажав на миниатюрный потайной рычажок, приоткрыла тайное отверстие. Внутри кольцо было полым. — Я могу поместить туда любое зелье, а потом просто передать бокал, и никто ничего не заметит.

— Понимаю, — кивнул Чезаре, завороженно разглядывая ее. — В брачную ночь ты подашь супругу чашу вина и...

— Больше того. Я сама осушу ее вместе с ним. Ты ведь знаешь, какие о нашей семье ходят слухи, он может заупрямиться, решить, что я хочу опоить его... что за вздор, право слово...

Чезаре снова расхохотался — а потом осекся, тревожно нахмурившись.

— Но как же ты? Если ты тоже выпьешь это зелье, тебе оно не повредит?

— Нет, Чезаре, не повредит, — Лукреция закрыла коробку, убрала ее и посмотрела брату в глаза. — Именно об этом я и должна... хочу тебе рассказать.

Чезаре ждал. Лукреция встала и прошлась взад-вперед, сцепив в замок перед грудью холеные тонкие пальцы.

— Помнишь, несколько лет назад с Хуаном случилось несчастье? Мы всей семьей обедали у Ваноццы, и он ужасно отравился, вроде бы несвежими креветками...

— Да, — кивнул Чезаре, нахмурившись. Этот случай он вряд ли смог бы забыть. Он произошел вскоре после того, как Родриго вручил своим детям фигурки животных, дающих особыю силу. Хуан был единственным, кому предмет не достался, вернее, Хуан отверг его, злобно швырнув наземь фигурку паука. Чезаре с Лукрецией были тогда слишком малы, и слишком многоного не понимали, но уже тогда каким-то смутным чутьем ощутили, что подобное неуважение к предмету, обладающему огромной скрытой силой, не пройдет даром. Позже они не раз говорили об этом, особенно после того дня, когда Хуан, объевшись за праздничным столом, едва не отдал богу душу.

— Так вот, — медленно сказала Лукреция. — Это были не креветки.

Чезаре молчал. Она остановилась и внимательно посмотрела ему в лицо. Конечно же, он все понял.

— Отравить хотели отца, — продолжала Лукреция. — Кто, ему так и не удалось выяснить. Орсини, Колонна, делла Ровере... любой из них. Яд был в персиках. Ты же знаешь, как отец их любит. Перед ним стояло целое блюдо, и Хуан тайком стащил оттуда парочку — одно себе, другое мне...

Чезаре кивнул. Его глаза слегка расширились, дыхание стало учащенным. Персики были слабостью семейства Борддзииа. Всех, кроме него, потому что он с детства не переносил их вкуса и даже от маленького кусочка весь покрывался отвратительными красными пятнами.

— Но у отца в тот день болел живот, — продолжала Лукреция, — и он решил воздержаться от фруктов. Так что мы с Хуаном оказались единственными, кто их съел. Стечение обстоятельств... спасшее нашего отца и чуть не стоившее жизни Хуану.

— Паук отомстил? — на выдохе произнес Чезаре.

Лукреция прикрыла глаза.

— Не знаю. Я о другом сейчас, Чезаре. Я ведь тоже съела персик, но мне ничего не сделалось. В следующие дни отец не отходил от Хуана. Ты же помнишь, он тогда чуть с ума не сошел. Мне казалось тогда, он любит его больше, чем нас с тобой, больше, чем малыша Хофре...

— Мне и сейчас так кажется, — сказал Чезаре.

Они помолчали.

— Как бы там ни было, тогда я не сомневалась в этом, — сказала Лукреция. — Особенno после того, что случилось, когда Хуан пошел на поправку. Однажды утром отец вошел в мою комнату и спросил, при мне ли его подарок, ласточка. Я показала ему. Он усадил меня перед собой и спросил, верю ли я, что он любит меня. Я сказала: «О да, батюшка, конечно же, верю». Тогда он налил в чашу воды и на моих глазах насыпал в нее какой-то порошок, от которого вода тотчас же помутнела. И велел выпить.

Чезаре слушал, не шевелясь и, кажется, не дыша. Лукреция села с ним рядом и положила ладонь ему на запястье, зная, что от следующих ее слов может разразиться буря.

— Я взяла воду. Вкус у нее оказался горький и какой-то тяжелый, словно туда налили немного крови. Мне стало тревожно, но я верила нашему отцу. Я верила ему всем сердцем, Чезаре. И верю сейчас.

— Что это было? — выговорил Чезаре, едва разжимая губы. — Что было в воде?

— Мышьяк, — просто сказала Лукреция. — Он действует мгновенно. Я сидела и смотрела на отца, а он смотрел на меня. Он так побледнел, Чезаре. На лбу у него выступил пот. Руки его дрожали. Мы просидели в молчании довольно долго, а потом он порывисто обнял меня и стал целовать мой лоб, повторяя, что должен был убедиться, должен был знать наверняка. Он просил у меня прощения... Чезаре?

На скулах ее брата вздулись желваки. Плохой знак: похоже, он не в силах владеть собой. Именно поэтому Лукреция так долго уходила от ответа, когда он расспрашивал ее о фигурке. Она знала, что это будет тяжело для них обоих.

Ее ладони легли на щеки брата, казалось, разом ввалившиеся.

— Чезаре, очнись, — как можно ласковей сказала она. — Он знал, что яд не нанесет мне вреда.

— Как он мог? — выдохнул тот. — Как этот ублюдок мог знать?!

— А ты разве еще не понял? Ласточка. Она делает меня невосприимчивой к любому зелью, любой отраве. Даже к хмелию. Ты не заметил, что я никогда не пьянею от вина, сколько бы ни выпила? Я и тебя с легкостью перепью, братец.

Она говорила игриво, даря ему самые чарующие свои улыбки, лаская его окаменевшее лицо, и это подействовало. Чезаре выдохнул, краска медленно прилила к его щекам. Он стиснул запястья Лукреции с такой силой, что у нее захолонуло сердце: она знала о его мощи и знала, что он способен вырвать ей руки из плеч так же легко, как дети обрывают мухам крылья. Но это же ее возлюбленный брат, ее Чезаре. Он слишком любит ее, чтобы причинить боль даже случайно.

— Если бы ты умерла, я бы его убил, — сказал он, и Лукреция зажала ему рот ладонью.

— Замолчи. Господь все слышит. Он наш отец, и он мудр. Все, что он делает, во благо нашей семьи.

— Но во благо ли каждому из нас? — горько спросил Чезаре, отстраняясь от ее руки.

Лукреция потупилась. Она слишком хорошо понимала, о чем он говорит. Ее брак с нелюбимым, назначение Чезаре кардиналом вопреки его воле, и даже Хофре, бедный маленький Хофре, скоро станет мужем зрелой женщины, которая смеется над ним, ребенком, и не скрываясь, крутит шашни

с половиной папского двора... Только один Хуан, гонфalonьер папской армии, всегда получает все, что захочет.

— Он паук, а мы мухи в его паутине, — сказал Чезаре и встал. Лукреция не стала удерживать его, просто поднялась следом. И взяла за руку.

— Может быть, — прошептала она. — Но у одной из мух — сила быка, она вырвется из паутины. А другой не страшна никакая отрава, и паучий яд не лишит ее воли. Думай об этом, братец.

Чезаре молчал какое-то время, словно обдумывая ее слова. Взгляд его не отрывался от ее груди, там, где в вырезе платья покоилась на золотой цепи фигурка ласточки.

— Я буду, — ответил он наконец, и Лукреция улыбнулась ему.

ИНТЕРЛЮДИЯ I

2010 ГОД

То, что дверь в квартиру открыта, Кьяра поняла, как только вышла из лифта. Если бы дело было два месяца назад, она решила бы, что это Стелла — снова пришла по стенке, снова вырубилась на полу в прихожей, а когда очнется, снова не сможет вспомнить, как сюда попала. Кьяра множество раз думала, что надо отобрать у нее ключи, иногда даже говорила это вслух, держа сестру за волосы под тугой струей холодной воды в ванной. Но знала, что не отберет, не сможет. Потому что тогда дорогая сестрица будет торчать не в ее квартире, в тепле и относительной безопасности, а бог знает в какой подворотне. Или даже на работе. Хуже всего, если на работе.

Но Стелла лежит в земле. Вот уже два месяца и четыре дня она лежит в могиле на кладбище Фламинио, и за эти два месяца и четыре дня Кьяра так ни разу к ней и не съездила. Конечно, она присутствовала на похоронах, она должна была туда пойти, но потом...

Кьяра очнулась. Она вышла из лифта, глядя на приоткрытую — не распахнутую настежь, просто приоткрытую, так, что виднеется небольшая щель — дверь своей квартиры и думала о своей умершей сестре. А следовало думать о людях, которые, возможно, поджидали за этой дверью. Кьяра сунула руку в сумку, нашаривая газовый баллончик. Она не разлучалась с ним с тринадцати лет. Три предмета, которые она всегда имела с собой: паспорт, помада и баллончик. Баллончик

был подарком ее отца — первым и единственным, больше он никогда ничего ей не дарил.

Кьяра вытащила баллончик из сумки и подошла к двери. Наверное, ей следовало вызвать полицию — то есть не наверное, а наверняка, глупо соваться туда одной. Эта рассудительная, здравая мысль разозлила ее. Кьяра подошла к двери вплотную и толкнула ее со всей силой, на которую оказалась способна.

Дверь ударила о стену и отскочила от нее, снова загораживая обзор, но за ту долю секунды, что квартира была на виду, Кьяра успела заметить все, что надо. Первое и главное — чужих она не увидела. Возможно, конечно, что они прячутся, поджидая ее, но маловероятно, учитывая, какой погром они здесь учинили. Кьяра снова толкнула дверь, теперь уже не так сильно, и вошла, медленно озирая то, что еще утром было ее квартирой.

Обычно в кино герой, находящий в своем доме разгром, застывает на пороге и только хлопает глазами, оглядывая перевернутую мебель, разбитые стекла и расколоченный семейный фарфор. Кьяра не встала, она пошла, и остановилась только посередине гостиной, споткнувшись о выдвижной ящик, вырванный из письменного стола. У нее было только две комнаты — гостиная, совмещенная с кабинетом, и спальня. Дверь в спальню оказалась распахнута настежь, и с того места, где ее остановил выдвижной ящик, Кьяра видела ворох развороченного белья на полу и матрац, снятый с кровати и небрежно прислоненный к стене.

Что они искали?

Кто «они», ей в голову в тот момент не пришло. Больше ее волновало — нет, не волновало даже, а удивляло — что? Что есть у нее, Кьяры Лиони, аспирантки университета Ла Сапиенца, ютящейся в тесной двухкомнатной квартирке в квартале Сан-Лоренцо? Архивных документов она дома никогда не держала, а все рабочие материалы хранила на ноутбуке,

который после истории с Франческо Риноцци предпочитала оставлять в запертой подсобке на кафедре в университете. Впрочем, грабители могли об этом и не знать. Но неужели они правда искали ее ноутбук под матрацем?

Снизу донеслось требовательное мяуканье, и Кьяра чуть не подскочила. Кошка — у нее было имя, но Кьяра предпочитала называть ее просто кошкой — ткнулась бархатистым лбом ей в щиколотку, нервно потерлась. Царящий кругом разгром ее не смущал, она не была напугана, просто хотела есть. Странно, что грабители не убили ее или не вышвырнули за дверь. Кьяра снова ощущила накатившую вспышку злости. Ну почему она не могла этого сделать? Разве так трудно — вышвырнуть вон надоедливое животное, крутящееся под ногами? Да, трудно для таких, как Кьяра Лиони, но вряд ли для таких, как те, кто среди белого дня врываются в чужой дом.

Кошка снова мяукнула, и Кьяра сказала ей:

— Заткнись.

А потом села на пол.

Она не плакала. Ей даже не очень хотелось. Просто адская, чудовищная усталость, копившаяся в ней последние месяцы, вдруг достигла, кажется, критической точки. Ноги налились свинцом, потому она и села, просто не могла не сесть. Кошка замурлыкала и прошлась шелковистой спинкой по ее коленям. Немного впереди, между вспоротыми диванными подушками и сорванной с петель дверцей шкафа, поблескивала на ламинате подсыхающая лужица кошачьей мочи.

— Ты такая же, как она, — сказала Кьяра. — Нагадишь, а потом ластишься. Ты точно такая же, как она.

И заплакала.

Она не тосковала по Стелле, нет. Отношения у них никогда не складывались. Стелла — папина любимица, гордость, его маленькая принцесса. А Кьяра — нелюбимая падчерица, хотя никаких видимых, объяснимых причин этому не было. Порой Кьяра думала, что такое отношение связано с тем, что вскоре

после ее рождения мать начала понемногу сходить с ума. Кьяра потом консультировалась с врачами, и все в один голос отрицали, что беременность и роды могли запустить процесс разрушения, много лет дремавший в мозге Анны Лиони. Наоборот, говорили они, материнство на несколько лет отсрочило неизбежное. Неизбежное — ключевое слово, которое отец упорно не желал слышать. Он винил Кьяру. Только так она могла объяснить, почему он не хотел ее любить.

И мама тоже... Кьяра плохо помнила ее, ее нормальную — только сильный запах каких-то дешевых духов и прикосновение мозолистых сухих ладоней, натруженных каждодневной стиркой. Потом, когда мать поместили в клинику, она очень быстро перестала узнавать младшую дочь, хотя Стеллу помнила еще долго, и только лет пять назад окончательно перестала узнавать и ее. И даже после этого Стелла каждый раз, приезжая, целовала ее, расчесывала седые волосы, плакала и называла «мамочкой». Стелла вообще была слезливой, она умела разжалобить и сама никогда не упускала случай похлюпать носом. «Я становлюсь похожей на нее», — подумала Кьяра и вскинула голову, остервенело вытирая мокрые щеки.

Она не жалела свою сестру. Несмотря на то, что та только и делала последние пятнадцать лет, что давила на жалость, выклянчивала поддержку, помощь, участие, особенно после того, как отец бросил их и женился во второй раз. «Вы уже большие», — сказал он, имея в виду восемнадцатилетнюю Стеллу. Кьяре тогда исполнилось пятнадцать, и именно она была старшей, именно на ее плечи ложились тяготы повседневной жизни, быта, заработка, наконец. Стелла училась на медсестру, по крайней мере деньги на обучение отец ей оставил, но о том, что будет с Кьярой, заканчивающей на следующий год школу, не думал никто. Она пошла работать официанткой на следующий день после того, как отец уехал: им требовалось на что-то жить, пока Стелла прогуливалась лекции и заигрывала с симпатичными интернами. Когда Кьяра

упрекала ее, она фыркала и говорила, что куда выгоднее выйти замуж за будущего врача, чем до пенсии менять судно под лежачими больными. Уже позже, гораздо позже Кьяра заподозрила, что дело не только в интернах; но тогда уже было слишком поздно. Морфин, к которому Стелла сумела найти постоянный доступ в больнице, сделал свое дело. Стелла подсела, и теперь Кьяра не просто должна, а обязана была заботиться о ней. Иначе получилось бы, что ее отец оказался прав, и она приносит только зло.

Она поступила в Ла Сапиенцу на отделение филологии, выиграв грант на обучение. Помогло довольно хорошее знание русского языка — отец владел им в совершенстве, наученный русским дедом, и в детстве, еще до болезни мамы, они устраивали «русские дни» по вторникам и четвергам, когда общение в доме проходило полностью на этом языке. Анна в эти дни стыдливо отмалчивалась, застенчиво улыбаясь, пока ее муж рассказывал дочерям о сталинских репрессиях и читал стихи Гумилева и Блока. Анна ни слова не понимала по-русски, но звучание незнакомого языка ее завораживало. Она очень любила своего мужа, боготворила его, и тень этого чувства осталась в ней даже тогда, когда ушло все остальное, потому что, даже перестав узнавать дочерей, она иногда улыбалась ему. Кьяре было жалко маму, и почему-то немного неловко за папу, но это был детский, иррациональный стыд за недостойное поведение большого и сильного взрослого. Поэтому она, конечно, молчала, почти все время молчала, как мама. Они с Анной вообще говорили мало, разговоры в доме Лиони были прерогативой Стеллы и отца.

Кьяра молча подала документы в Ла Сапиенцу, молча сдала экзамены на заочное отделение и молча отучилась положенный срок, вкладывая стипендию в общую копилку. Стелла знала только, что Кьяра учится «где-то там», то ли на бухгалтера, то ли на юриста, и совершенно не интересовалась, на что они живут. Ее собственная зарплата медсестры, достаточно

неплохая, особенно с учетом того, что порой она толкала морфин на сторону, полностью улетала за несколько дней на косметику и тряпки, и Кьяре снова приходилось гнуть спину за двоих. Два года назад они наконец разъехались; это решение далось Кьяре тяжело, но тогда оно казалось необходимым. Кьяра думала, что, оказавшись перед необходимостью самостоятельно заботиться о себе, Стелла опомнится и приведет в порядок свою жизнь. Выйдет замуж хотя бы, если не за интэрна, то хоть за санитара из больничного морга... Но вместо этого Стелла оказалась в морге сама.

Сначала дела у нее шли неплохо, она меняла любовников, как перчатки, завела кошку. И с удивительной ловкостью скрывала свою зависимость от наркотиков на работе, хотя не раз принимала прямо на рабочем месте. Кьяра не могла даже вообразить, как ей удавалось при этом выкручиваться и, что еще важнее, не убить кого-то из вверенных ей пациентов. Но такое везение не могло длиться вечно. В конце концов ее настиг передоз — неизбежный исход всех наркоманов, терпеливо стоящий за плечом. Может быть, если бы Кьяра по-прежнему была рядом, этого бы не случилось. А может, и случилось. Этого она не могла знать, она ничего не могла знать, поэтому просто похоронила сестру и забрала себе ее кошку. Хотя всегда ненавидела кошек.

Так что нет, Кьяра плакала не из-за Стеллы. И даже не из-за развороченной квартиры. Она не проверяла пока, на месте ли ценности, потому что никаких ценностей у нее не было — пару простых колечек, доставшихся от матери, пришлось продать еще лет восемь назад, сразу после того, как их бросил отец, а наличности дома Кьяра не держала. Мебель разворочена, но не сломана, не считая разрезанных и выпотрощенных дивана и кровати. Их можно будет набить заново. Дверца шкафа сорвана с петель, в одном месте от стены пытались содрать обои, словно надеялись обнаружить там тайник. А в остальном ничего не разрушено, просто беспорядок,

который можно убрать за день-два. К тому же квартира была застрахована. Правда, Кьяра не смогла вспомнить, оплачивала ли счета по страховке за последний квартал. Вполне возможно, что нет. А уведомление о задолженности она могла пропустить, потому что в последние два месяца вообще не вскрывала приходящую почту...

И еще Риноцци. Чертов Риноцци, укравший ее работу. Она имела глупость показать ему почти законченные наработки, доверилась его авторитету, его опыту — и обомлела, обнаружив в «Римском научном вестнике» объемную статью, почти полностью состоящую из ее наработок по анализу русской поэзии Серебряного века. Некоторые фразы в этой статье слово в слово повторяли ее слова, причем даже не те, что были в рабочих материалах, а из устных выкладок, которыми она делилась с Франческо за чашкой кофе с коньяком в одном из маленьких уличных кафе, где так холодно январским утром и где она так любила завтракать перед работой... Она болтала с ним, радуясь, что в кой-то веки нашла понимающего и компетентного собеседника по своему направлению, а он внимательно слушал и даже, может быть, записывал на диктофон. Но как она могла знать? Он работал с итальянской новеллой эпохи Возрождения, и хотя хорошо разбирался в мировой поэзии XX века, знал наизусть стихи Гумилева, которые читал с пафосом и ужасным акцентом, не понимая половины слов — несмотря на все это, Кьяра подумать не могла, что ее тема представляет для него реальный научный интерес. И уж тем более, что он обворует ее так просто, нагло и беззастенчиво.

И вот ее снова обворовали. Ничего не унесли, но чувство гадливости, унижения все равно не проходило. Поэтому Кьяра плакала, сидя на полу в своей разгромленной квартире, с трущшейся о ее ноги кошкой, чувствуя резкий кислый запах кошачьей мочи. Кошка мяукнула особенно громко, Кьяра непроизвольно схватила ее за шерсть на загривке, собираясь отбросить — и тут в дверь позвонили.

Кьяра выпустила взвизгнувшее животное и одним рывком вскочила на ноги. Она только теперь поняла, что все еще сжимает в руке газовый баллончик. Подойдя к двери, она выглянула в глазок и увидела красную бейсболку с логотипом курьерской службы DHL. Кьяра сжала баллончик так, что заныли пальцы.

— Что вам надо? — спросила она через дверь.

— Вам посылка, — прогнувшись с той стороны. Голос был мужским и ломким, почти мальчишеским.

— Я ничего не заказывала.

— Вы Кьяра Лиони-Сфорца?

Вопрос прозвучал так внезапно, что Кьяра от неожиданности открыла дверь. Не слишком широко, так, чтобы стоящий в коридоре мальчик-посыльный не мог увидеть ее разгромленную квартиру. Баллончик из руки она не выпустила, но спрятала за спину.

— Что вы сказали?

— Так написано в накладной. Кьяра Лиони-Сфорца, Рим, Виа Кимарра, 365.

Кьяра молчала. После всего пережитого ею в последнее время, это казалось какой-то злой шуткой... и она даже подозревала, чьей.

— Кто отправитель?

— Банк «Монте дей Паски».

Кьяра открыла дверь нараспашку, больше не заботясь о том, что может увидеть курьер. Тот рассеянно глянул ей за плечо, тут же стушевался и засуетился, доставая накладную. Паспорт Кьяра, по счастью, носила в сумочке, так что найти его не составило труда. Курьер вручил ей небольшую, но довольно тяжелую продолговатую коробку, и ушел, не дождавшись чаевых. Он не спросил, нужна ли ей помошь, но и не стал лезть в чужие дела. Пожалуй, самое разумное, что может сделать человек в наши дни в большом городе, где каждый сам за себя.

Кьяра закрыла дверь и заперла ее на задвижку — замок все равно сломан. Рядом валялся перевернутый стул, Кьяра подняла его и подперла спинкой дверь, а потом опустилась на сидение, разглядывая посылку и гадая, что там может быть. Хорошо бы деньги — килограмма три, судя по весу, и все крупными купюрами. Она блекло улыбнулась и перечитала надпись на желтой наклейке. Все верно, посылка адресована ей, с этой странной припиской... То, что по материнской линии она происходила из одного из знаменитейших итальянских семейств, никогда не было для нее предметом особой гордости. Скорее наоборот. Она не афишировала этот факт и не любила о нем говорить. Откуда же о нем узнали в крупном римском банке, где никто из ее родственников сроду не держал счетов? Наняли детектива? Вероятно, это противозаконно, но что с того... Устав гадать, Кьяра поддела тугу загнанный картонный клапан и вскрыла коробку. В ней оказалась еще одна — деревянный ящичек поменьше, это он, должно быть, взял на себя большую часть веса. Ящик запирался на изящную кованую защелку, выглядевшую серебряной. Она поддалась не сразу, но наконец крышка отскочила.

Из ящика посыпались опилки. Прелые, пахнущие гнилью — то ли их плохо высушили, то ли они пролежали там очень долго. Скорее второе — ящик выглядел по-настоящему старым, работа прошлого века или даже еще более давняя...

Кьяра сунула руку в опилки. Ее пальцы легли на холодное, гладкое, идеально отполированное стекло.

В ящике была бутылка.

Кьяра вытащила ее, отряхнула обрывком поролоновой набивки, вывалившейся из распоротой диванной подушки. Бутылка темного, почти черного стекла, непрозрачного, без этикетки, зато с толстой сургучной печатью на большой круглой пробке. Кьяра потерла печать пальцем, пытаясь разобрать оттиск. Что-то похожее на бычью голову, какой-то вензель и цифры, мелкие, но достаточно четкие.

1503.

Кьяра издала короткий нервный смешок. Чудесно. Утром она обнаруживает в свежем выпуске «Римского научного вестника» собственную работу под чужим именем, днем находит свою квартиру разгромленной и еще через час получает по почте вино пятисотлетней давности. Она вдруг испытала почти неодолимое желание ударить себя по щеке, чтобы убедиться, что не спит. Но сдержалась и только снова потерла печать.

— Какая-то глупость.

Привычка говорить вслух с самой собой была плохой, очень плохой — насколько Кьяра помнила, у мамы так все начиналось. Но с кем еще ей поговорить? С кошкой своей умершей от передозировки сестры? Немногим лучше. Кьяра стояла, держа бутылку перед собой двумя руками. Кто ее прислал, сейчас не имело значения — в конце концов, всегда можно сходить в этот банк и все выяснить. Другой вопрос, куда более любопытный: если это в самом деле... пятисотлетнее вино, то сколько оно может стоить? Кьяра смутно припомнила попавшуюся ей когда-то на глаза статью о том, что самому старому вину, известному на сегодня, то ли триста, то ли четыреста лет... четыреста, но не пятьсот. Сложно поверить, но не исключена возможность, что сейчас Кьяра держит в руках одну из самых старых бутылок в мире. Отлично сохранившуюся, не считая неприятного запаха плесени. Что случилось за эти годы с самим вином, можно было только догадываться — скорее всего, оно давно превратилось в уксус. Что, однако, не помешает любому коллекционеру заплатить за него... сколько? Сто тысяч долларов? Больше?

— Целое состояние, детка, — прошептала она, разглядывая печать с быком, покачивающуюся на полуистлевшем пеньковом шнуре. Это покрыло бы ущерб, который она понесла по вине Риноцци и неизвестных грабителей; это покрыло бы все... все, что только можно покрыть деньгами.

Но ведь не в деньгах дело, так? Так, Кьяра? Дело никогда не было в деньгах. Дело всегда было в том, что с деньгами или без них, она никогда никому не была нужна. Даже тем, кто действительно не мог без нее обходиться. Деньги этого не исправят.

Но, по крайней мере, всегда можно напиться.

— Да какого черта! — сказала Кьяра Лиони и, схватив бутылку двумя руками, со всей силы ударила вытянутым горлышком о край перевернутого стола.

Она не ждала, что бутылка разобьется так легко. Стекло выглядело толстым и казалось прочнее современного, и оно в самом деле не разлетелось вдребезги, а просто раскололось. Темно-бордовая жидкость, густая, как кровь, хлынула у Кьяры по рукам. Отбитое горлышко отлетело к стене и закатилось под шкаф. Длинные осколки, похожие на зубы гигантского хищника, тянулись вверх, поблескивая на краях, а между ними плескалось вино. К кислому запаху кошачьей мочи привился новый, и Кьяра, покачнувшись, зажала рот ладонью, расплескивая вино по полу. «Идиотка! — вопил голос Стеллы у нее в голове. — Дура несчастная! Что ты наделала? Зачем?!»

— Заткнись! Ты умерла! — закричала Кьяра в ответ и чуть не швырнула бутылку в стену...

Но потом остановилась.

В самом деле, раз уж ей хватило безрассудства на такой поступок, надо идти до конца. Она поставила бутылку на журнальный столик — единственный предмет обстановки, представлявший сейчас устойчивую горизонтальную поверхность — и торопливо вышла на кухню. Там царил точно такой же разгром, из кухонных шкафчиков выгребли все, пол был засыпан мукой и молотым кофе. Кьяра кое-как нашла целую чашку и, вернувшись с ней в спальню, дрожащими от возбуждения руками налила в нее резко пахнущего вина. Это не было похоже на запах уксуса, и спирта тоже — только своеобразная, неприятная миндальная горечь. Если ее вывернет

от первого же глотка, пусты. Зато она единственный человек в мире, пробовавший пятидесятнее вино. Хоть что-то незаурядное в ее пустой, бестолковой жизни.

Она повернулась к треснувшему зеркалу — его сдвинули со стены слишком грубо, надеясь что-то найти под задником, — и салютовала себе. Трещина в зеркале рассекала ее лицо пополам, и ее судорожная улыбка в отражении выглядела почти жутко.

— За тебя, сестрица, и за тебя, папочка, и за тебя, Риноцци, — сказала она, поднесла чашку к губам...

И тут кошка — не ее кошка, кошка Стеллы — закричала.

Кьяра знала, как кричат животные. В детстве она принесла с улицы щенка, раздавленного колесами спортивной машины. Ей не позволили его оставить, конечно, она отнесла его в ветеринарную клинику и заплатила из собранных карманных денег, чтобы его усыпили. Щенок кричал все это время — не скулил, не выл, а именно кричал, с почти человеческим осознанием боли в почерневших глазах с неестественно расширенными зрачками. И точно так же закричала кошка Стеллы. Кьяра только теперь заметила, что кошка возится у лужицы вина, пролившегося, когда она отбила горлышко.

Кьяра отставила чашку и присела. Кошка выгнулась на полу, ее били судороги, из раскрытой пасти текла пена. Все произошло очень быстро. Кьяра побоялась к ней прикоснуться, но видела, как напряжено ее тельце, мокрое от вина, в котором она каталась. Кьяра забыла, что ненавидит кошек, забыла, что ненавидела свою сестру — она забыла все и все бы отдала, чтобы помочь бедному животному или хотя бы прекратить его муки. Но это закончилось само собой. Кошка издала последний задушенный хрип и застыла, словно набитое соломой чучело, растопырив лапы и оскалив морду. Кьяра выдохнула и осмелилась тронуть ее бок кончиками пальцев. Шерсть, еще минуту назад шелковистая, теперь казалась ломкой и сухой.

«Что было бы со мной, если бы я...» — подумала Кьяра и, отняв руку от трупика, медленно поднялась и сделала шаг назад.

Вино. Это вино. Оно настолько скисло, что в нем образовались токсины? Но что же это за токсины должны быть, чтобы молниеносно и, главное, так болезненно убить совершенно здоровое животное? На человека оно бы, наверное, подействовало не так быстро... но наверняка не менее смертоносно. Только потому, что вино испорчено?

Или потому, что яд уже был в нем, когда его закупоривали пятьсот лет назад?

Кьяра поняла, что больше не может находиться в этой квартире. В этом разгроме, с мертвой кошкой Стеллы, с разбитой бутылкой и красными пятнами от вина на полу. Она сгребла сумку и выскоцила в подъезд. Сердце билось в груди, как сумасшедшее.

Напоследок она успела выхватить взглядом свое белое, искаленное страхом лицо, отразившееся в треснувшем зеркале на дальней стене.

ГЛАВА 4

1495 ГОД

Родриго Борджа, волею Господа Папа святой католической церкви Александр VI, всю свою жизнь шел к тому, чтобы возглавить христианский мир. При этом он целиком разделял мнение флорентийского прохвоста Макиавелли, что благая цель оправдывает любые средства. Мысль эта, столь же логичная, сколь и точная, была вполне в духе времени, и Родриго не сомневался, что достичь вершин может лишь тот, кто вовремя это поймет.

Престол Святого Петра достался ему в ужасном, образно говоря, расшатанном состоянии. Милан, Флоренция, Неаполь существовали обособленно, как самостоятельные державы, никого не слушали и ни перед кем не склонялись. Венецианские дожи совсем обнаглели, и на них не стало никакой упраздны. Даже Рим, непосредственная область папской власти, погряз в раздорах между баронами, которые то сцеплялись между собой, то объединялись на час, чтобы выгрызть глотку общему врагу, как правило — неугодному Папе. А Родриго Борджа был неугоден им с того самого дня, как появился в Риме, молодой, честолюбивый, преисполненный стремления навести порядок в возмутительном хаосе, упрочить власть церкви и объединить итальянские города против внешних врагов. Разве же не благородная цель? Благороднее не бывает.

И что, получил он понимание и поддержку? Нет. И сознавал это как никогда остро сейчас, стоя у бойницы замка Сант-

Анджело, что на Виминальском холме, и глядя на знамена с французскими лилиями, реющие над стенами святого города. Очень мудро было обустроить подземный ход, ведший в замок прямо из папских покоев в Ватикане, хотя Родриго до последнего надеялся, что удастся обойтись без постыдного побега. Позорно вот так покидать святой город, бежать, словно мышь под метлу, спасаясь от хищного французского кота. Но на кого ложился этот позор? На Папу, у которого просто не осталось другого выхода, или на его вероломных подданных, на всех этих Орсини, Колонна, Сфорца... особенно Сфорца! На миланского герцога Родриго был особенно зол. Стоило отдавать свою дочь, дорогую малышку Лукрецию, за брезвально-го тугодума Джованни Сфорца, чтобы теперь, когда французы двинулись на юг, Милан трусливо распахнул перед ними ворота, даже не оказав сопротивления? И разве это их спасло? О нет, Господу не угодно подобное малодушие: король Карл со своим войском учинил в Милане резню, сущее побоище, о котором очевидцы рассказывали с содроганием. Флоренции удалось избежать разграбления (снова лисица Макиавелли, и что бы герцог Медичи делал без его льстивого языка?), но и Флоренция уступила.

А теперь на пути французов, рвущихся к морю, лежал Рим. Королю Карлу все же хватило здравомыслия не отдавать святой город на поругание своим головорезам — как ни крути, анафемы он всерьез опасался, — но богообязненности короля не достало на то, чтобы отнести с должным почтением к Папе. Избранному, между прочим, вполне законно, единогласным решением конклава. Так что все вопли о мошенничестве и обмане, которые-де помогли Борджиа стать Папой, были просто смешны, как ни старался Джулиано делла Ровере... Впрочем, его можно понять — тогда на выборах Папы он стал одним из основных соперников Родриго и очень удивился, когда не набрал в первом голосовании и пяти голосов. Таким людям, как делла Ровере, проще винить в своих неудачах других,

чем себя. Вот он и вбил себе в голову, будто проигрыш — не его вина, а следствие подлых махинаций Родриго Борджа. Отчали Родриго ему даже сочувствовал: он имел представления о чести и не стал бы глумиться над побежденным.

Однако делла Ровере было мало распускать гнусные сплетни о нем и его семье — нет, он решил отомстить не только новому Папе, но и всему Ватикану, всему Риму. Это его подстрекательствами король Карл затеял свой нелепый поход на Неаполь. Якобы ему необходим выход к морю для нового крестового похода. О Господи, да какие крестовые походы в наше время?! На пороге шестнадцатое столетие, ведь не в темные века живем! Французский король Людовик, прозванный Святым, был последним безумцем, рвавшимся в Иерусалим; видимо, у французов это династическое, они слишком часто женятся на своих кузинах. Карл, однако же, не дурак, и наверняка использует крестовый поход лишь как благовидный предлог для своих притязаний на Неаполь. Бедный герцог Ферранте, сидящий в Неаполе, забился в самый дальний угол своего дворца и только молится, чтобы вольные итальянские города стали преградой на пути захватчиков. А вольным итальянским городам наплевать. Если они и святой Рим захватить позволили, что им какой-то Неаполь с его выжившим из ума стариком-герцогом?

Словом, с какой стороны ни взгляни, положение складывалось прескверное.

«Что же ты молчишь?» — подумал Родриго, машинально поглаживая паука, лежащего на груди. Паук не ответил, как и всегда, хотя привычка говорить с ним, а вернее, рассуждать таким образом про себя, укоренилась в Родриго за все эти годы. Прежде паук неизменно помогал ему в затруднительных ситуациях, устраивал все наилучшим образом, к выгоде Борджа и к посрамлению их врагов. Но в последние годы что-то пошло не так... Все началось с тех пор, как фигурку отверг Хуан. Родриго весьма смутно понимал, как на самом деле

действуют эти удивительные предметы; он подозревал, что не знает и половины об их свойствах. Знал он точно лишь то, что сейчас паук ему не поможет. Французы вошли в Рим, и действовать надо быстро, но как действовать, когда королю Карлу нечего противопоставить — ни мощной армии, ни хотя бы папского авторитета?

— Значит, придется договариваться, — сказал Родриго вслух. По правде, сама мысль об этом была ему противна. Компромисс — удел слабых.

— Вы что-то придумали, отец?

Голос Хуана вывел Родриго из задумчивости. Он обернулся и посмотрел на свой совет, собравшийся за столом в темной, неуютной комнате, более подходящей для ведения боя во время осады, чем для семейного собрания. Все они были здесь, его дети, его семья: Чезаре, Хуан, Лукреция и самый младший, еще совсем ребенок, Хофре. Семья Родриго, единственные, кто его не покинул в эти тяжелые дни. Кардиналы разбежались еще за несколько дней до того, как французская армия подступила к римским стенам, и сундуки с сокровищами Ватикана Родриго перетаскивал в крепость через потайной ход собственноручно, со своими детьми и челядью. Пусть этот наглый король Карл и вошел в папский дворец, но спать и есть ему придется на голых камнях.

— Боюсь, что нет, — проговорил Родриго, обводя взглядом своих детей. — Я все еще надеюсь, что вы посоветуете мне что-нибудь путное, мессир гонфalonьер.

Хуан надул щеки. Он вырос настоящим великаном, красавцем, в бою на мечах он не знал себе равных, женщины сходили по нему с ума, и в сверкающих золоченых доспехах предводителя папской армии он был совершенно неотразим. Но Родриго уже начинал понимать, что, кажется, совершил большую ошибку. Конечно, из Хуана не вышел бы кардинал, но воин из него еще хуже. Следовало вручить папскую армию Чезаре... но кто тогда стал бы достойным преемником Папы

Александра на святом престоле? Кто бы довел до конца начатые им великие дела? Будучи реалистом, Родриго знал, что ему не позволяют править долгие годы — он слишком решителен и слишком не любит договариваться. Он владыка и, как всякому владыке, ему нужен достойный преемник. А им мог стать только Чезаре, его умный, образованный, честолюбивый Чезаре, жаждущий власти не меньше, чем ее жаждал его отец. Правда, в отличие от Родриго, власти он хотел не церковной, а светской, но со временем он поймет, что одно неотделимо от другого. Ну какой из Хуана понтифик? А из Хофре? Подумать смешно. Лукреция и та бы справилась с этим лучше. Жаль, что со временем злосчастной Папессы Иоанны всех претендентов на папский престол тщательно проверяют на предмет наличия неоспоримых доказательств мужского пола.

Родриго улыбнулся этой мысли, от сердца у него чуть отлегло. Нет, он все сделал верно. Хуан, быть может, не гениальный стратег, но он храбрец, этого никто не мог отрицать. К тому же сейчас папская армия, запертая в стенах Рима и слишком малочисленная, чтобы дать отпор полчищу французов, все равно бессильна. Требовалось время. Время и, прежде всего, возможность проводить французов вон, чтобы освободить пространство для маневра.

— Стало быть, идей у тебя нет, — со вздохом сказал Родриго, когда Хуан так и не ответил на его вопрос. — Чезаре, а у тебя?

— Их придется пропустить к Неаполю, — ответил тот, и по резкой складке между бровей было ясно видно, до чего неприятны ему собственные слова. — Другого выхода, по крайней мере сейчас, я не вижу.

— Да, но захотят ли они уйти? — сказала Лукреция. Проницательная и спокойная, как ее мать, нерушимо идущая к цели, как Родриго. Она успела побывать в самом сердце французской армии, по случайности ненадолго оказавшись в плена у короля Карла; тот, однако, сразу освободил ее, едва узнав, кто она такая, и подобный жест доброй воли тронул

Родриго, хотя и не тронул Лукрецию. Сейчас из всех них она знала об истинном положении дел, пожалуй, больше всех.

— Что ты имеешь в виду, дитя мое?

— Я была там, отец. Французы чересчур вольготно расположились в Риме. Их армия расквартировалась по городу, таверны забиты солдатней. Добропорядочные граждане даже днем боятся выйти на улицу. Грабежи еще не начались, но до них недалеко. Король Карл устроился в вашей приемной и принимает там римских баронов, и они там пируют, пачкая вином и жиром фрески Пинтурикьо на стенах...

— Мои фрески! — возмутился Родриго. — Да как он посмел, этот ничтожный королишко...

— Отсюда ваш гнев ему не страшен, — хладнокровно сказала Лукреция. — Мне жаль, что вы не позволили мне убить его, пока я была с ним рядом. Одной свиньей на свете стало бы меньше.

— Это не выход, Лукреция, — хмуро сказал Чезаре. — Его армия уже в городе. Если ее обезглавить, она сделается совершенно неуправляемой. Отец прав, их следует сперва выманить из Рима. Посулить им что-то, на что они позарятся.

— Коронуйте его, — раздался вдруг неровный голос юного Хофре, только-только начавший ломаться. — И все дела.

Родриго, да и остальные дети в изумлении обернулись на Хофре. Тот сидел на краю стола, выковыривая крохотным кинжалчиком косточки из абрикосов, и казался целиком поглощенным этим делом, пока не раскрыл рот.

— Кого короновать? — недоуменно спросил Родриго. — Карла?

— Да, королем Неаполитанским. Езжайте с ним в Неаполь и коронуйте. Как знак вашей доброй воли. Ну а потом Хуан поведет на Неаполь армию и разобьет французов, — просто-душно сообщил Хофре свой грандиозный замысел.

Хуан, громогласно захочотав, зааплодировал с таким шумом, что Лукреция поморщилась. Чезаре только головой

покачал, в то время как Родриго задумчиво накрыл рукой подбородок.

— Мысль не так уж плоха, — проговорил он. — Вот только я не могу оставить Рим. Это будет равносильно сдаче в плен... Чезаре, поедешь ты.

Лукреция замерла. Хуан перестал хохотать и уставился на отца. Лицо Чезаре стало совершенно непроницаемым. Значит, сейчас он начнет упрямиться. Ох, мальчишка.

— Да, да, ты, — нетерпеливо повторил Родриго. — Ты кардинал и мой сын, стало быть, я могу назначить тебя полномочным папским легатом в подобном деле. Мы же, — добавил он, подчеркнув официальное «мы», — не уроним нашего папского достоинства. Что немаловажно в свете грядущих событий.

— Отец, — сказала Лукреция, — ты отдашь Чезаре французам в заложники? Это ты хочешь сказать?

Какая-то мысль мелькнула у Родриго — яркая и быстрая, точно вспышка молнии. Он застыл, пытаясь ухватиться за нее, и судорожно оплел пальцами фигурку паука. Его дети, за много лет хорошо изучившие, что означает этот жест, замолчали. Да... в самом деле... если...

— Ты поедешь, — проговорил Родриго, глядя мимо сына на серую каменную стену, столь отличную от великолепных, украшенных работами великого мастера стен Ватиканского дворца. — Но не доедешь до Неаполя. По дороге ты сбежишь.

Чезаре медленно кивнул, глядя на отца. Слава Богу, он начинал понимать.

— Мы обещаем нашему другу королю Карлу всяческое содействие. Мы благословим его. Мы отправим собственного сына закрепить права Карла согласно закону... Но по дороге французы поведут себя в отношении моего посланника столь неподобающе, что легат, оскорбленный, не сочтет возможным выполнить соглашение. Ты бежишь, Чезаре, — повторил Родриго жестко, взглянув сыну в глаза. — Убьешь своих сторожей,

украдешь лошадь, прорвешься через всю чертову тьму французов и бежишь домой, в Рим. Тогда у нас снова будут развязаны руки.

— Я понял, отец, — теперь в голосе Чезаре прозвучало возбуждение, вызванное предвкушением приключений. Все же он рожден для битвы и безумных подвигов, а не для просиживания церковной сутаны в пыльных залах. Родриго вновь ощутил смутный укол беспокойства, неуверенность в сделанном выборе. Но сейчас не время думать об этом.

— Отличная мысль! — гаркнул Хуан, ухмыляясь, и удариł брата ладонью по плечу. Человек менее сильный, чем Чезаре, согнулся бы от подобного дружеского тычка. — Поздравляю, братец.

— Но если его схватят... — начала Лукреция, и Родриго перебил:

— Не схватят. Только не его. Он единственный, кто действительно может это сделать. Для блага Рима и для спасения всех нас. Верно, сын мой?

— Да, — отозвался Чезаре; глаза его сверкали. — Да, отец. Когда мне ехать?

— Сейчас же. Я напишу письмо королю Карлу, ты отвезешь. Скажи, что нам не терпится передать права на Неаполь его законному королю. Но слишком не лебези, а то он заподозрит неладное.

— Я знаю, отец.

— Хорошо.

Родриго поднялся. Его дети встали тоже, последним вскочил Хофре, так и не понявший, сколь дельной оказалась мысль, посетившая его детскую голову. Мальчик не так безнадежен, как казалось Родриго. Еще год-другой, и Хуану придется куда тщательнее скрывать свои амуры с его женой.

— На колени, — потребовал Папа Александр и, когда все его дети опустились на холодный каменный пол, осенил их крестным знамением. — Благослови, Господи, наши пути и помыслы.

«Если ты есть», — добавил он про себя, как добавлял всегда — просто на всякий случай.

Если говорить в общем и целом, Хуан Борджа был совершенно доволен жизнью. В свои двадцать два — герцог Гандийский, гонфalonьер римской армии, любимый сын великого отца, счастливо женатый на Марии Энрикес, племяннице короля Испании, и не менее счастливо прелюбодействующий с женой своего младшего брата, он был счастлив полностью, безоговорочно и абсолютно. Родился он хоть и вторым, но, определенно, под куда более счастливой звездой, чем его старший братец Чезаре. Порой — не слишком часто — Хуан задумывался, как сложилась бы его жизнь, вздумай их достоинственный батюшко нацепить на него кардинальскую сутану. Ужас, переживаемый Хуаном в эти мгновения, затмевал солнце. И правда, что может быть ужаснее, чем принять целибат провести жизнь в молитвах, скучных советах и не менее скучных интригах. Нет, не по нутру это было Хуану. В сущности, это было не по нутру любому из детей Папы Александра, но только в случае Хуана Папу Александра волновали желания его отпрысков.

Ибо Хуан имел все, о чем мог только мечтать. С этой стороны проблем в его жизни не наблюдалось. Проблема заключалась в том, что Хуан обладал также и тем, о чем совсем не мечтал. Например, старшим братом, всю сознательную жизнь донимавшим его, как заноза на причинном месте. Хуан Борджа был мстителен и злопамятен, и обид не прощал, а уж чего-чего, но обид между ним и Чезаре за двадцать с лишним лет накопилось предостаточно. Начиная от детских драк (самой постыдной из которых стала та, в которой этот ублюдок сломал Хуану руку, да так, что тот полгода не мог ею владеть как следует) и заканчивая дерзостью, с которой Чезаре посягал на его, Хуана, законные права. Например, он настойчиво просил отца лишить его кардинальского сана и назначить

вместо Хуана гонфalonьером. Причем зачастую делал это, даже не смущаясь присутствием брата в этой самой комнате. Нет, ну подумать только! Якобы Хуан не справился с возложенными на него обязанностями по защите папских земель. Ну а кто бы справился в сложившихся обстоятельствах — Чезаре, что ли? Французов десятки тысяч, у них хорошо обученная пехота, кавалерия, артиллерия, в конце концов, и большинство городов просто в страхе распахивало перед ними ворота, едва только завидев всю эту ораву. Не представилось даже случая дать им бой в открытом поле — как прикажете воевать и тем более побеждать в таких условиях? Да еще и Орсини, эти предатели, покинули Рим со своими войсками буквально перед тем, как к городу подошли французы — а ведь войска Орсини были костяком папской армии, без них в подчинении Хуана осталась горстка каких-то оборванцев из ополчения, умеющих ровно держать разве что вилы. Франческо Гонзаго, назначенный Папой одним из генералов Хуану в помощь, что-то лопотал о маневрах, рекогносцировке и ударах с тыла, но Хуан слушал его вполуха. Какой смысл во всей этой суете, когда французов все равно больше? Только дурак станет лезть на рожон при таком положении. В сущности, Хуан вообще не понимал, чем это так ценен Неаполь и почему так важно не дать французскому королю завладеть им. Да какая разница, в конце концов, кто там сидит у моря? Папская область есть папская область, на век Борджа владений в ней хватит. С другой стороны, чем же еще заниматься настоящему мужчине, как не войной? Поэтому Хуан радовался войне, только не радовался тому, как она оборачивалась — до тех пор, пока Чезаре не отправился к французам, словно агнец на заклание.

Хуан просто ушам своим не поверил, когда понял, что отец говорит всерьез. И кто предложил идею? Хофре! Этот маленький недоумок, только что отвалившийся от матушкиной груди. Подумать только, тринадцатилетнему сосунку досталась такая знойная жена, цветущая роза восемнадцати лет. Нежась

с Хуаном в постели, прелестная Санча часами жаловалась, что вечера напролет вынуждена наблюдать, как ее законный супруг играет в солдатики. Хуан думал, малец совсем ни на что не способен — но тот, как оказалось, тоже Борджа и порой выдает дальние мысли. Избавиться от Чезаре — вот и все, что требовалось Хуану, чтобы жизнь его стала счастливой полно и безоговорочно. Тогда и Лукреция, может быть, стала бы с ним приветливей. В детстве они дружили, но с возрастом Чезаре приобрел слишком сильное влияние на сестру. Хуан считал ее глуповатой, но хитрой, она умела затаиться, как кошка перед прыжком, а потом вовремя подластиться к отцу или выпустить коготки, и это делало ее неотразимой. Хуан даже жалел ее, когда Лукрецию выдали за идиота Сфорца. В конце концов, она Борджа, и заслуживает самого лучшего.

В глубине души Хуан полагал, то Чезаре найдет в армии короля Карла свой бесславный конец. Хуан ведь видел эту армию еще на подступах к Риму: она была необозрима, бескрайнее море колышущегося железа, шелка шатров, вздыбленных морд боевых коней. Уж наверняка у них найдется сотня-другая надежных людей, чтобы неусыпно охранять его брата. Если только... Хуан помрачнел. Если только Чезаре не хватит ловкости провести их, прикинуться простачком, наплести сказочек о любви и расположении Папы Александра к своему смиренному сыну во Христе королю французскому. Тогда они могут и ослабить бдительность. Но все равно, на менее чем дюжину сторожей Чезаре рассчитывать не приходилось. И снова Хуан помрачнел, вспомнив, как падает замертво бык под ударом кулака Чезаре, и понимая, что дюжина человек в данном случае — не преграда.

Но что бы там ни думал Хуан, идти против воли своего святейшего родителя он не смел. Поэтому вот уже вторую неделю стоял лагерем под Пармой, во главе полутора тысяч пехотинцев, ожидая, когда к ним присоединится Чезаре. Он ушел с французами три недели назад, и вестей от него с тех

пор не поступало никаких, так что с каждым днем надежды Хуана крепли, а надежды Папы таяли. Родриго не терял времени даром: едва французы покинули Рим, он тотчас разослал гонцов по всей Италии, а также в Испанию, Наварру, Англию и Фландрию, и с присущим ему бесконечным энтузиазмом принял сколачивать клику против короля, которому только вчера дал свое папское благословение. Для пущей благообразности клику назвали Святой Лигой, а целью ее было возвеличивание Христа и пресечение преступных поползновений Франции против Божьей милостью установленных монархов. Папе повезло: на Францию точили зуб все, и Александру удалось убедить итальянские города объединиться с иностранными державами, во всяком случае, до тех пор, пока Карла не выдворят вон. Разнородные войска под самыми разными знаменами собирались в папскую область со всей Европы, чтобы перекрыть горло Карлу, когда тот, захватив Неаполь, пустится в обратный путь. Англия и Фландрия тем временем готовились напасть на Францию в отсутствие короля, чтобы тот не слишком засиживался на захваченных землях. Все шло как нельзя лучше, вот только Папа медлил и не решался сделать последний шаг, открыто заявив о существовании Лиги, пока не вернется Чезаре. Он все-таки боялся за него, боялся за старшего сына, которого видел своим наследником. Хуану это было понятно, но все равно как-то досадно. Сам-то он был бы только рад, если бы разом с королем Карлом с доски полетела и пешка по имени Чезаре Борджа.

На восьмой день стоянки у Пармы, уже в сумерках, с края лагеря послышался какой-то шум. Хуан, коротавший время в компании своих кондотьеров за игрой в карты, недовольно поднял голову: ему сегодня везло, и он имел все основания надеяться, что горка золота, уже лежащая перед ним, до ночи увеличится вдвое. Но сбыться этому было не суждено. Полог палатки откинулся, и внутрь заглянул запыхавшийся часовой:

— Ваша светлость! Ваш брат! Он приехал!

Все с возгласами повскакивали с мест. Хуан тоже поднялся — нехотя, и потянулся за перевязью. Что ж, раз уж его дражайший братец все-таки совершил сей подвиг, надлежит принять его, как подобает.

Хуан вышел из палатки последним. К тому времени лагерь уже гомонил, отовсюду неслись крики, смех и радостные вспли. Людскую разноголосицу перекрывало ржание лошадей, встревоженных шумом.

— С чего такой ор? — спросил Хуан у Франческо Гонзаго, шедшего ему навстречу с широкой улыбкой на лице — и осекся, увидев, что какой-то оборванец, идущий с Франческо рядом, никто иной, как его брат Чезаре.

Он в самом деле был оборван. И очень грязен. И небрит, и волосы его, которыми он всегда так гордился, нечесанными лохмами падали на лицо. Его сутана куда-то пропала, он был в крестьянских обносках, замызганных до такой степени, что не представлялось возможным определить их цвет. Он был безоружен, он был бос, от него разило потом, как от самого дьявола.

И он улыбался, его проклятый брат. Показывал в оскале все тридцать два крепких, белоснежных зуба и учился такой жизнерадостной, яркой силой, что Хуан невольно отступил, неприятно пораженный контрастом между тем, как его брат выглядел, и теми чувствами, которые он внушал. И не только Хуану, судя по всему — вокруг них тотчас сгрудилась толпа, все толкались, галдели, выкрикивали поздравления и вопросы. Чезаре кивнул Хуану, словно какому-то пажу, прошел мимо него и вместо того, чтобы войти в палатку и дать отчет о выполненном задании, взобрался на телегу, стоящую за палаткой, и вскинул руки. Рядом тотчас оказались несколько человек с высоко поднятыми факелами, так что вся армия получила возможность лицезреть ободранного кардинала Валенсийского, собравшегося, видимо, прочесть ей благонравную проповедь.

— Я расскажу, расскажу! — крикнул Чезаре. — Всем сразу и сейчас! Чтобы не сплетничали потом, как бабы за прялкой!

Солдаты громыхнули хохотом, явно одобряя подобное решение. Чезаре поднял руки выше, успокаивая толпу, и Хуан — а с ним и все остальные — увидел на них темные заскорузлые пятна. Грязь?.. Нет. Кровь. И одежда его тоже в крови. А на груди в прорехе разорванной под мышкой рубахи мутно отблескивает фигурка быка, отнятая когда-то у Хуана.

— Дело было так, — начал Чезаре, и тотчас установилась полная тишина — только уханье ночного филина да треск чадящих факелов разносились над лагерем, замершим, как один человек. — Как-то раз король Карл потерял свой ночной горшок...

В полной тишине, в присутствии тысячи человек Чезаре ясным и невозмутимым голосом рассказал похабнейший анекдот, включавший, помимо ночного горшка, бочонок вина, рваные шлепанцы и некую монашку, бежавшую из обители святой Анны. Чести монашки анекдот не марал, однако был совершенно не к чести короля Карла. К концу этой речи, произнесенной с совершенно серьезным видом, солдатня стонала и каталась по земле от восторга. К недовольству Хуана, его кондотьеры тоже ржали, как кони, и даже Франческо Гонзаго ухмылялся щербатым ртом.

— Все это хорошо, — крикнул кто-то из толпы, — да вы лучше расскажите, как сбежали от этих драных французов!

— А, вот оно что, — деланно удивился Чезаре, и когда солдаты одобрительно загомонили, пожал плечами. — Да это куда менее забавная история. Ну, взял и сбежал. Много ли хлопот.

— Да вас же, почитай, сторожили?

— Сторожили, но не очень усердно. Сковали только руки, ноги не трогали.

Солдатня возмущенно ухнула, и даже Хуан удивился. Да уж, не слишком почтительное обращение с папским легатом.

— И как же вы выбрались?

— Да как, — рассеянно проговорил Чезаре. — Ну... вот... примерно так!

Он подхватил моргенштерн, услужливо поданный ему в этот миг кем-то сбоку, и легко, будто играючи, оторвал усеченный шипами стальной шар от цепи, соединявшей его с рукоятью. Потом с задорным криком: «Берегись!» зашвырнул шар в лес, будто тряпичный мяч. Солдаты взревели от восторга.

— Вот примерно так я поступил с головой часового, — сказал Чезаре. — Остальные после этого не слишком рвались меня ловить. Я пробрался к конюшне и увел лошадь. Но потом мне не повезло. Карл взъярился и выслал погоню, забыв, что я сын нашего святейшего Папы, да и сам, как-никак, духовное лицо.

— Что же ты и им головы не поотрывал? — крикнули снова, и Чезаре укоризненно качнул головой.

— Этак можно всю паству распугать. Слыханное ли дело, чтобы святой отец так запросто отрывал головы направо и налево. Духовному лицу надлежит разить словом. Так что я выменял свою шелковую сутану на крестьянскую одежду. Так смог выиграть время.

— А лошадь где?

— Загнал. Пала в десяти милях южнее, остаток пути я прошел пешком. Вы ведь и так заждались меня, верно? Недобро это дело — маять бездельем доблестную папскую армию.

— Браво! — донеслись голоса из задних рядов, сперва разрозненные, а потом к ним присоединились еще и еще. — Хорошо сказано, ваше преосвященство! Браво, кардинал Борджа!

— Я слышал, — Чезаре привстал на носки, повышая голос, — что мой отец собрал Святую Лигу, чтобы бросить все силы христианского мира против презренного короля, заковавшего в цепи его сына. Правда ли это?

— Да! — проревела армия.

— А правда ли, что среди всех этих армий нет ни одной, которая уступала бы папской армии в силе, доблести, мужестве?

— Да!

— А правда ли, что не пройдет и недели, как мы взашей погоним французскую дрань с нашей земли?

— Да-А-А-А-А!

— Ну и славно, — сказал Чезаре Борджиа и спрыгнул с телеги.

Он оказался прямо напротив Хуана. Хуан молчал и только раздувал ноздри, надеясь, что его ненаглядный братец сполна поймет о его негодовании по выражению лица.

— Здравствуй, Хуан, — вздохнул Чезаре. — Я устал, как собака, и ел черт знает когда и черт знает что.

— И от тебя воняет сточной канавой, — процедил Хуан. — А знаешь ли ты...

Остаток его отповеди затерялся в усиливающихся криках. Солдаты, взбудораженные явлением кардинала Валенсийского и паче того — его речью, кричали: «Борджиа, Борджиа!» И это было бы хорошо, это было бы очень даже недурно, если бы среди этих криков не стала подниматься новая волна, в которой все отчетливей слышалось: «Цезарь!»

— Цезарь! Борджиа! Борджиа! Цезарь! Цезарь! Цезарь!

— Aut Caesar, aut nihil¹, — усмехнувшись, пробормотал Чезаре в свою отросшую бороду. И пошел в палатку гонфalonьера — мыться.

А Хуан Борджиа остался снаружи, посреди неистовствующей толпы, в полном недоумении.

¹ «Или Цезарь, или ничего» (лат.) — личный девиз Чезаре Борджиа

ГЛАВА 5

1496 ГОД

Чезаре, насвистывая и срывая свежие листики с зарослей жимолости, окружавших дорогу, ехал по старому Ларнийскому тракту. Настроение у него было превосходное. С тех пор, как французская армия позорно бежала с итальянских земель, положение его отца на святом престоле заметно упрочилось, а с ним — и положение самого Чезаре, так что он мог без спешки и суетливости обдумать долгосрочные планы.

Перво-наперво ему следовало избавиться от опостылевшей кардинальской шляпы, и у него было несколько идей, как заставить отца пойти навстречу. Потом придется добиться смещения этой бестолочи Хуана с поста гонфалоньера и замены его единственной достойной кандидатурой, коей Чезаре мнил, разумеется, себя. Его отец слышал о подвигах, которыми сопровождался побег Чезаре от французов. Причем слухи, как это всегда бывает со слухами, за несколько месяцев раздулись до немыслимых размеров, и теперь в тавернах говорили о том, как сын Папы в одиночку прорубился через тридцать тысяч французских солдат. Эти сплетни сеяли одновременно и ужас, и восхищение, а учитывая, что совершил все эти чудеса сын самого Папы, слухи приобретали почти мистический оттенок. «Он святой!» — утверждали одни, крестясь. «Он продал душу дьяволу!» — шептались другие, крестясь еще неистовей. А самые наблюдательные как бы между делом замечали:

«Говорят, у него глаза разного цвета. У него и у всех членов этой проклятой семейки».

Тут они ошибались — не у всех. Только у Чезаре, у Лукреции и у отца. Хуан и Хофре не имели к этому отношения. Никакого.

Пожевывая травинку, Чезаре смотрел, как приближается, просвечивая в ветвях, серая громада монастыря Сан-Систо. Он ухмыльнулся, вспомнив ту историю с монашкой, а также несколько других монашек, которых удостоил своим кардинальским благословением в интимном полумраке монастырских келий. Лукреция будет рада ему, он знал, хоть и не предупредил ее о своем приезде. Последние несколько месяцев они провели в разлуке: Чезаре сопровождал папские войска, гнавшие короля Карла взашей, и заодно следил, чтобы Хуан не наделал глупостей. Лукреция, прибывшая в Рим по вызову отца, уехала прежде, чем Чезаре вернулся.

Потому они не застали друг друга, но по возвращении с победой Чезаре ждала чрезвычайно приятная новость: недовольный нерешительностью Лодовико Сфорца в только что отгремевшей войне, Александр рассудил, что брак Лукреции с его племянником себя не оправдал. Слишком легко Милан раскрыл ворота перед французами, оттого, по утверждению Папы (и кому было знать, как не ему?) врата райские для Сфорца навек захлопнулись. Негоже дочери Папы оставаться женой человека, которому заказан путь в рай. Эта сомнительная теология, разумеется, не могла служить основанием к расторжению брака, но тут Чезаре очень кстати вспомнил о хитрости маленькой сестренки, умело избегнувшей объявлений противного ей супруга. До сих пор немощь Джованни Сфорца оставалась сором, который не выносили из избы, однако теперь дело совсем другое. По приказанию отца Лукреция покинула мужа и укрылась в монастыре, где ей надлежало оставаться, пока не решится дело о ее разводе. Она переписывалась оттуда с отцом, писала и Чезаре, но ему все казалось,

что в письмах она чего-то недоговаривает, как будто пытаясь успокоить его подозрения. Хотя в чем ему подозревать ее? Что бы она ни совершила, какой грех бы ни взяла на душу, на какое преступление бы не пошла — он бы все ей простил.

Поэтому он и решил самолично отвезти сестре письмо, в котором Папа сообщал о специальном заседании кардинальской коллегии, долженствующей засвидетельствовать мужскую несостоятельность Джованни и девственность Лукреции. Все, разумеется, пройдет в высшей степени благопристойно; в сущности, это была пустая формальность. Но Чезаре решил воспользоваться предлогом, чтобы увидеть сестру без свидетелей. Он ужасно соскучился и горел желанием поделиться рассказом о недавних событиях и о своих планах.

Он пустился в дорогу не в сутане, весьма затруднявшей путешествия верхом, а в светской одежде — камзоле, плаще и легкой броне, с мечом у бедра и охотничим рогом на поясе. Сопровождали его всего двое человек: слуга Тоскано и дон Мичелotto, старый и преданный друг семьи. Этих двоих, само собой, в монастырь не пустили, не хотели сперва пускать и Чезаре, чей светский костюм ввел в заблуждения сюровую сестру-привратницу. Пришлось вызывать аббатису; та знала Чезаре в лицо и, ласково пожурив привратницу за излишнее усердие, сказала, что готова проводить его преосвященство к сестре тотчас, едва та закончит молитву.

— Лукреция молится? — удивился Чезаре. Его дорогую сестру, как и прочих членов клана Борджа, истовая религиозность не отличала никогда.

— О да. Помногу часов каждый день. Она и сейчас в часовне. Ей сообщают о вашем приезде, как только она выйдет. Отдохните пока.

— Благодарю, я подожду ее у часовни, — сказал Чезаре и, рассеянно благословив аббатису, опустился на холодную каменную скамью, тянувшуюся вдоль портика. Был конец зимы, вечер, уже смеркалось и камень так остыл, что Чезаре, просидев

на нем пару минут, с тихим ругательством поднялся. Целибат целибатом, но разделить несчастье Джованни Сфорца и лишиться самой важной для мужчины силы он точно не хотел.

Ему казалось, прошла целая вечность, прежде чем дверь часовни приоткрылась и в проеме показалась маленькая фи-гурка, с головы до ног закутанная в белое. Лукреция осунулась и побледнела, это бросилось в глаза сразу, и Чезаре ощущил укол беспокойства. Да уж не заболела ли она? Жизнь в монастыре сурова, и его бедная сестренка, привыкшая к роскоши, не вынесла аскезы, стала увядать... Тревога была так велика, что Чезаре, забыв обо всем, бросился к сестре и схватил ее за руки. Лукреция вскрикнула, вскидывая голову и глядя в его лицо расширившимися глазами.

— Чезаре! — выдохнула она. — Как же ты меня напугал!

— Что с тобой? — быстро спросил он, касаясь ладонью ее холодной щеки. — Ты больна?

К его удивлению, она покраснела и отвела взгляд. Ее пальчики были в его больших ладонях словно ледышки.

— Пустяки, — пробормотала она. — Я чувствую себя хорошо. Я... не знала, что ты собрался приехать...

— Я соскучился, — он ткнулся носом в ее покрывало, пытаясь сквозь ткань вдохнуть аромат ее волос. Он совсем позабыл, как они пахнут. — Отец каждую неделю гоняет к тебе гонца, ну я и решил дать парню передохнуть немножко.

Он улыбнулся, надеясь, что она улыбнется в ответ, и Лукреция не обманула его ожиданий, но это была лишь тень ее прежней улыбки. Что-то тут все же не так.

— Пойдем внутрь, — сказал Чезаре, решительно сжимая ее руку, безвольно поникшую в его руке. — Тут и здоровый замерзнет.

Через минуту в тепле жарко натопленной кельи, любезно отданной им на время свидания аббатисой, Чезаре сидел напротив сестры, утонувшей в кресле, и растирал ее заледеневшие пальцы. Кресло было большим, а Лукреция в нем — такой

маленькой, что сердце Чезаре невольно сжалось. Бедная птичка, чахнувшая в своей клетке. Ну ничего, сейчас он ее развеселит.

— Я привез хорошие вести, — начал Чезаре. — От чего бы ты ни грустила, они разом вернут тебе бодрость. Вот, читай!

Он протянул ей свиток с папской буллой. Лукреция взяла его, развернула, пробежала глазами — она всегда читала очень быстро, даже быстрее, чем сам Чезаре. Пергамент выскользнул из ее бледных пальцев и упал на не струганные доски пола. Чезаре наклонился, чтобы поднять его, а когда выпрямился, увидел, что Лукреция сидит, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали.

— Что такое? — тревога, снедавшая его весь вечер, прорвалась наружу, и Чезаре резко отвел руки сестры от лица. — Лукреция, что, черт возьми? Дело о твоем разводе, считай, решено! Или... — в голове всколыхнулось предположение, от которого его окатило холодом. Чезаре закончил, позволив этому холоду сполна прозвучать в его голосе: — Или, может быть, ты не рада? Может, ты внезапно полюбила своего толстозадого муженька и передумала?

— Ох, Чезаре! — перебила его Лукреция и расплакалась. — Я беременна!

Чезаре осталбенел. Он много лет не видел сестру плачущей — да, по правде, вообще никогда не видел, не считая самого раннего, подернутого туманом памяти детства. По немногу суть ее слов доходила до его сознания, и чем яснее Чезаре понимал, тем туже затягивался узел в его животе и тем горше становился ком, подкативший к горлу.

— Что? — хрипло переспросил он. — Что ты сказала?

— Я беременна. Уже шесть месяцев. Господи, да ты только посмотри на меня! Посмотри! О какой девственности может идти речь?!

Она вскочила, сорвала с головы покрывало, распахнула плащ, в который куталась до сих пор. И Чезаре увидел — увидел то, что было очевидно уже для любого, что не могло

скрыться ни за простым платьем, которое его сестра носила в монастыре, ни за роскошными одеждами, в которые она обряжалась в Риме. Она была очевидно, недвусмысленно, неоспоримо беременна. Безнадежно беременна.

— Ты же говорила, что опаиваешь его травами, — глухо сказал Чезаре. Ее живот, круглый,зывающе выпиравший, неумолимо притягивал его взгляд, так что он не видел больше ничего вокруг. Господи, это казалось более непристойным, чем обнаженная грудь.

— Я опаивала! Клянусь, я никогда не ложилась с ним в постель. Да я бы ни за что не легла, Чезаре, ты же знаешь, как он мне противен!

— Тише, — Чезаре встал, крепко взял сестру за плечи, не давая разойтись начинаящейся истерике. — Я тебе верю. Но кто же тогда отец?

Лукреция упрямо молчала. Чезаре взял ее за подбородок, заставляя смотреть в глаза, и она зло стряхнула его руку, отскакивая, точно дикая кошка.

— Кто отец, Лукреция? — повторил Чезаре, слыша в собственном голосе тень угрозы.

— Не твое дело! Да и... какая разница! Важно только то, что теперь никто, ни за что не признает, что я девственница. И я не получу развода! А ты еще сидел тут и улыбался, как... как... — и она опять разрыдалась так безутешно, что Чезаре, забыв гнев, привлек ее к себе и уложил ее вздрагивающую белокурую головку себе на плечо. Лукреция вцепилась обеими руками в отвороты его камзола, притянула ближе, всхлипывая ему в грудь. Ее подросший живот тепло и мягко уперся в живот Чезаре. Беременна. Господи Боже.

— Так, — проговорил он, слегка поглаживая Лукрецию по волосам и глядя поверх ее головы в узкое окно кельи на меркнувший дневной свет. — Надо подумать. Отец знает?

— О Дева Мария, конечно, нет. Он бы убил меня, если б узнал.

— Не преувеличивай. Хотя... Но все же зря ты ему не сказала раньше.

— Я боялась. Я пробовала... — Лукреция осеклась, и когда молчание стало невыносимым, Чезаре тихо договорил за нее:

— Пробовала скинуть ребенка?

— Выпила травы, — шепотом отозвалась та, не отрывая лица от его груди. — Одна старая ведьма... она клялась, что поможет, всегда помогает. Но я забыла...

— О ласточке.

— Да. Поняла, когда уже выпила их. Хотела снять ее, но... не смогла. Ты же знаешь...

Чезаре кивнул. Он знал. Расстаться с фигуркой, принадлежащей тебе по праву, было непросто. Он до сих пор порой гадал, как удалось отцу это сделать, не сойдя с ума от ревности. Хотя надо сказать, это не единственное, в чем он плохо понимал своего отца.

— Хорошо, что ты здесь, — Лукреция отняла от его груди заплаканное лицо. — Надо было мне написать тебе раньше. Вот, возьми, — она судорожным движением стащила с шеи золотую цепь, втиснула фигурку в руку Чезаре. Серебристый металл тотчас обжег ему ладонь холодом. — Возьми, пусть она пока побудет у тебя, тебе я могу ее доверить, я... я снова выпью те травы и...

— Даже не думай! — Чезаре сгреб ее лицо в ладони и встряхнул, не сильно, но достаточно, чтобы это заставило ее опомниться. — Срок уже слишком велик. Ты можешь умереть!

— Но что же тогда делать?! — крикнула Лукреция ему в лицо с такой яростью, словно он был повинен во всем.

Чезаре сжал зубы. Потом надел цепь с амулетом обратно Лукреции на шею.

— Не снимай ее. Никогда. Особенно теперь. Кто-то еще может узнать, и тогда... — он умолк. Какая-то мысль пришла ему в голову. Фигурки... конечно. — Отец поможет. Он все устроит.

— Что устроит? Ослепит членов коллегии?

— Не знаю. Но он сделает все, что понадобится. Я должен немедленно ехать в Рим.

— Останься, — она схватила его за рукав, потянула к себе. — Останься хоть ненадолго, Чезаре... мне страшно... я так одинока... утешь меня...

Она снова заплакала. Беременность сделала ее слезливой и вялой. Это была не его Лукреция, не та сильная, умная и смелая Лукреция, которую Чезаре знал.

Он посмотрел на нее сверху вниз, и она, беззвучно охнув, выпустила его рукав.

— Позови того, кто заделал тебе твоего бастарда, — сухо сказал Чезаре. — Пусть он тебя утешит.

В Малом зале Ватикана стояла темень и духота. Слуги слишком переусердствовали, натапливая огромный камин, и слишком поскутились на свечи, так что над креслами членов коллегии было сумрачно, а стены и вовсе терялись во мраке. Прищурившись, Чезаре разглядывал потолок, по которому плясали короткие тени. Часть потолка была расписана — вернее, на вкус Чезаре, размалевана — наброском будущей фрески, изображающей Папу Александра VI в окружении древнегреческих героев, херувимов и святых. Этот дармоед Пинтурикьо и сюда добрался, пользуясь тщеславием Родриго Борджа и, что греха таить, отсутствием у его святейшества чувства меры. Чезаре был благодарен тьме, милосердно скрывающей это безобразие. К своей собственной резиденции он бы этого бездаря и на порог не пустил.

Тьма скрадывала не только стены. Небольшой помост, застланный шелком и расположенный прямо напротив папского трона, тоже можно было рассмотреть с трудом. Со своего кресла в рядах коллегии Чезаре требовалось податься вперед и вытянуть шею, чтобы как следует разглядеть то место, где вскоре появится главная свидетельница сегодняшнего процесса,

она же истица — Лукреция Борджиа, графиня Сфорца и Пезаро, подавшая прошение о расторжении ее брака. Папа, возглавлявший заседание коллегии, со своего места мог видеть истицу превосходно; что же до остальных, то что, в самом деле, они собирались так уж тщательно рассматривать? Все они знали Лукрецию Борджиа чуть не с пеленок, большинство видело еще почти каждый день, и не могло быть сомнений, что на заседание явится именно она.

Когда Лукреция вошла, у Чезаре бухнуло в груди, тяжело и болезненно, так, что заныли ребра. Она оделась непрятязательно, длинный плащ окутывал ее фигуру, складки покрывала спадали с головы на плечи, спину и грудь. Все знали, что последние месяцы Лукреция провела в монастыре, и по одобрительному шепотку, пробежавшему рядами, Чезаре заключил, что кардиналы приветствуют ее скромность. Лукреция взошла на помост и опустилась в кресло, окончательно утонув в складках своего одеяния.

— Лукреция Борджиа, — раздался негромкий голос Папы Александра, — правда ли, что вы требуете расторжения вашего брака с Джованни Сфорца, графом Пезаро?

— Да, ваше святейшество, — прозвенел под сводами зала чистый голос Лукреции.

— На каком основании?

— На том основании, что он так и не стал мне мужем. Господь обделил его мужской силой, и в брачную ночь он не выполнил своего долга, как не смог выполнить его и потом.

— Ваш муж отрицает это.

О да, Джованни Сфорца отрицал. С пеной у рта, топая ногами, он прямо сейчас, должно быть, заходится криком в какой-нибудь из римских таверн, рассказывая всем желающим, как эта шлюха Борджиа ублажала его по дюжине раз за ночь, а теперь вздумала оклеветать. Осведомители Чезаре доносили и какие-то вовсе дикие сплетни, распространяемые Сфорца — о будто бы кровосмесительной связи Лукреции с отцом

и братьями, и чуть ли не с борзыми их псарни. Отчасти Чезаре даже мог понять Сфорца, особенно теперь, когда его немощь сделалась достоянием общественности и вся Италия подняла его на смех. Также Чезаре помнил, что немощь бедняги была не его виной. Вернее, он, конечно, виновен, но только в том, что оказался недостаточно хорош для Лукреции. Ему стоило смириться с этим и благодарить Бога за те счастливые месяцы, что ему довелось прожить с ней под одной крышей. Но ему и на это не хватило ума, так что пусть теперь пеняет на себя.

— Чем вы докажете свои слова, сударыня?

— Тем, что я девственна, — звонко сказала Лукреция и опустила голову так низко, что Чезаре со своего места совсем не видел ее лица.

Окидывая ее придирчивым взглядом, он понял, что она хорошо постаралась. Платье лежало на ее располневшей фигуре естественно, лицом она не раздалась никак, и если не знать и не особо присматриваться... черт, даже если не знать и не присматриваться, все равно было видно. Чезаре закусил губу, обводя взглядом притихших кардиналов. Присутствовали лишь тринадцать членов коллегии из пятнадцати, но для кворума этого было достаточно. Шестеро из них обязаны Папе Александру своими кардинальскими шапками, поэтому скажут все, что хочет услышать их благодетель. Еще с тремя Чезаре договаривался лично, заметно облегчив кошелек Бордджа. Его тревожили остальные. Вот кардинал Кантона, он хмурится и тоже кусает губы. Вот Аскольо, подслеповато шуряясь, тянет шею — он сидит с самого края, ему почти ничего не видно, но, может статься, все равно видно слишком много. Однако Чезаре заботили не присутствующие здесь — в них Папа не сомневался так или иначе, в противном случае просто не допустил бы их присутствия. Но вот Орсини... и Сфорца. Они должны были явиться на это заседание, их следовало опасаться больше всего, ибо не существует такой цены, которую Папа мог бы им предложить и которую они, его давние

враги, согласились бы принять за молчание. И эти двое, самые опасные, не пришли. Отчего — Чезаре терялся в догадках. Только вчера он видел их в коридорах Ватикана — они шептались между собой и умолкли, когда он прошел мимо, злорадно улыбаясь ему вслед. Они знали о Лукреции и ждали сегодняшнего дня...

Где же они?

Негромкое покашливание с заднего ряда разорвало сгустившуюся тишину.

— Да, кардинал Кантона? — ласково спросил Папа.

— Ваше святейшество, прежде чем мы продолжим, я хотел бы задать вопрос, который, полагаю, беспокоит и прочих наших собратьев. Случай, который мы рассматриваем сегодня, поистине незауряден. Не слишком ли нас мало для вынесения решения?

— Нисколько, — не моргнув глазом, ответил Александр. — Спросите у нашего многомудрого Бурхарда, он вам назовет дюжину прецедентов, когда кворум считался достигнутым и меньшим числом присутствующих кардиналов.

— Но у всех ли отсутствующих уважительные причины? Я не вижу здесь кардинала Орсини, так же как и Сфорца — а ведь это дело касается его семьи напрямую. Где они?

«Где они? — эхом откликнулся Чезаре в мыслях. — Где они, отец?»

Все смотрели на Папу. Лукреция тоже подняла голову, в ее лице напряжение смешивалось с надеждой. Лишь Родриго Борджиа оставался совершенно спокоен.

— Кардинал Орсини вчера слег с тяжелым приступом малярии, — ответил он. — Кардинал Сфорца... но тут я и сам теряюсь. Он должен был прибыть вовремя, однако не прибыл.

— Почему тогда мы начали без него? К тому же заседание можно перенести...

Кантона не успел договорить — дверь Малого Зала распахнулась, в покой вбежал, семеня, запыхавшийся Бурхард.

Подошел к папскому трону, склонился, что-то зашептал Александр на ухо. Папа закивал в ответ с таким скорбным видом, что Чезаре зааплодировал бы ему, если мог.

— Прискакал посланец от кардинала Сфорца, — сказал он. — Как я и предполагал, лишь досадные обстоятельства помешали кардиналу к нам присоединиться. Он ехал в Ватикан верхом, столкнулся на улице с какой-то телегой, лошадь понесла и сбросила его. Наш бедный кардинал Сфорца сломал ногу и сильно ударился головой, его доставили домой, жизнь его вне опасности, но он никак не сможет присоединиться к нам ни сегодня, ни в ближайшие дни. Дело, однако же, требует немедленного рассмотрения. Истица и так ждала много месяцев.

— Благодарю, ваше святейшество, — прошелестел голос Лукреции.

Кардинал Кантона проворчал что-то и сел. Александр выпрямился:

— Не будем затягивать. Специально для этого дела мы вызвали мэтра Гуччино, нашего придворного лекаря, дабы он осмотрел истицу и заключил правдивость либо ложность ее заявления.

Под оживленный гул, пронесшийся по рядам, в залу вошел мэтр Гуччино. Он служил в Ватикане еще со времен Папы Сикста VI и, по слухам, был тем, кто свел старика в могилу. Поднявшись на помост, он поклонился Лукреции, и та, не вставая, поклонилась в ответ. Двое дюжих слуг притащили откуда-то и установили перед помостом высокую шелковую ширму, над которой виднелись только головы истици и лекаря.

— Прошу вас, мадонна, — пробубнил Гуччино.

Лукреция, закатив глаза, с самым благочестивым видом распахнула плащ. Ее фигура смутно просвечивала сквозь полупрозрачную ткань ширмы, на которой играли, переливаясь, скрадывая, обманывая, быстрые тени. Гуччино наклонился, так что всклокоченное темя на минуту пропало из

виду. А затем выпрямился, и Малый зал огласился громовым и твердым, как Божий глас:

— Девственница!

Кардиналы зааплодировали, и в буре овации потонул возмущенный возглас кардинала Кантоны. Чезаре хлопал громче всех.

— Голосуем, собратья, — разнесся над всем этим шумом голос Папы Александра. — Признать Лукрецию Борджа непорочной и на сем основании расторгнуть ее брак с Джованни Сфорца как не подвергшийся консуммации и не имеющий силы в глазах Господа и святой матери церкви.

— Голосую! — раздалось с дальнего конца залы.

— Голосую!

— Голосую! — сказал Чезаре так громко, что кардинал Пиролино рядом с ним вздрогнул и потер свое оттопыренное ухо. Чезаре поймал взгляд Лукреции, лучащийся озорством и весельем. Сквозь ширму он увидел, как она вновь запахивает плащ.

Голосование завершилось менее чем за минуту. Кардинал Кантона, поколебавшись, присоединился к большинству — он не готов был в одиночку бросать вызов Папе. Мэтр Гуччино помог Лукреции спуститься с помоста и вышел с нею из залы. Заседание закончилось, и кардиналы наперебой поздравляли Родриго, облегченно откинувшегося назад на папском троне.

Паук прочно сидел в своей паутине.

Кардиналы потолклись в зале еще с полчаса, и Чезаре пришлось подождать в галерее, нетерпеливо прохаживаясь из угла в угол. Хотелось побежать за Лукрецией, поднять и закружить ее, но останавливалась осторожность и еще — затаенная обида. Она так и не сказала ему, кто отец ребенка, и Чезаре отчасти понимал, отчего, но его гнева это не отменяло. Конечно, он мог бы навести справки; скорее всего, его сестра согрешила с кем-то из челяди в доме своего мужа, а может, с одним из его друзей, ведь ей было так тоскливо в холодном

замке Пезаро, рядом с постылым супругом. Но теперь, когда она оттуда уехала, все будет забыто. Они придумают, куда пристроить ее ребенка — в конце концов, Чезаре даже мог бы признать его своим, чтобы не удалять далеко от семьи. Самое главное они уже сделали, основание для развода подтверждено. Бедняга Джованни Сфорца может теперь хоть до смерти криком изойти, это ему не поможет.

— Ваше преосвященство, — кто-то поклонился ему, проходя мимо, и Чезаре, погруженный в свои мысли, рассеянно глянул вперед.

— А, Перотто. Здравствуй.

Это был личный секретарь Папы, один из самых давних и надежных слуг семьи. Именно он доставлял переписку между отцом и Лукрецией, пока та жила в монастыре.

— Заседание еще продолжается?

— Нет, как раз закончилось. Я жду отца. Поторопи его, если сможешь, что-то ему этот старый пень Аскальо совсем на уши присел.

Перотто понимающе улыбнулся и вошел в Малый зал. Чезаре продолжил мерить коридор шагами. Ему требовалось оставаться с отцом наедине для разговора, и он собирался проходить столько, сколько понадобится. Он сделал пять или шесть шагов — и внезапно остановился, сраженный неожиданной мыслью. Перотто ездил в монастырь святой Катерины раз в неделю в течение нескольких месяцев. Не мог же он не заметить, что Лукреция в тягости? А если так, то почему не сообщил отцу? Или... может быть... сообщил? Реакция Родриго на известие, принесенное Чезаре, была куда менее бурной, чем тот опасался. Кажется, отец даже не особенно разгневался на Лукрецию. Конечно, он любил ее и в любом случае простил бы, но чтобы так легко и так скоро...

Мимо Чезаре шаркающей походкой прошел кардинал Аскальо. Чезаре дождался, когда он скроется за поворотом и, круто развернувшись, вернулся в Малый зал.

Родриго сидел на папском троне, расслабленно оперевшись локтем о подлокотник и подпирая ладонью щеку. Перотто, стоя рядом, что-то страстно говорил ему. Папа слушал, кивая и чуть прикрыв глаза.

— Знаю, мой друг, знаю, — услышал Чезаре его голос. — Твоя преданность никогда не вызывала сомнений, и мы... Чезаре?

Чезаре подошел к папскому трону вплотную. Смерил Перотто взглядом.

— Отец, я хочу поговорить с вами. Наедине.

— Ты можешь говорить открыто, — спокойно отозвался Родриго.

Чезаре сжал зубы.

— Это касается Сфорца. Теперь, когда его брак с Лукрецией будет официально расторгнут, он станет еще настойчивее распространять свои гнусные сплетни.

— Разве он говорит о нас что-то новое, такое, о чем еще не болтают в народе? — вздохнул Родриго, слишком легкомысленно, как казалось Чезаре.

— Это не оправдание. Я прошу вашего разрешения, — он бросил быстрый взгляд на Перотто, старательно разглядывавшего свои сапоги, — устраниТЬ эту проблему, пока еще возможно.

— Не горячись, сын мой. Не принимай поспешных решений. Джованни оскорблен, но он племянник графа Лодовико, а нам не стоит окончательно портить отношения с Миланом. Сейчас наши действия выглядят как неизбежное возмездие за вероломство Сфорца, а клевета Джованни — как жалкая и нелепая попытка мести. Если ты заставишь его замолчать сейчас, это будет выглядеть признанием его правоты.

— Но...

— Не спорь со мной, Чезаре. Я устал. Ты хотел сказать мне что-то еще?

Чезаре смерил Перотто тяжелым взглядом. Чего этот идиот топчется здесь, словно теленок, с таким видом, будто украл

священные мощи и приполз каяться? И о чем они говорили, когда Чезаре вошел? Что-то о верности...

— Да, хотел, — процедил Чезаре сквозь зубы. — И раз уж вы так доверяете этому щенку, я спрошу прямо: вы знаете, кто отец ребенка Лукреции?

На лицо Родриго набежала тень. Он нахмурился, собрался ответить — и, судя по складкам в углах его рта, ответ обещал быть крайне резким, — когда Перотто вдруг дернулся вперед, так, словно его ударили в спину, и выпалил, с вызовом вскинув острый подбородок:

— Я!

Чезаре от неожиданности отступил на шаг. Это выглядело так нелепо: тонконогий мальчишка, наступающий на Чезаре Борджа, и Чезаре Борджа, в изумлении пятящийся от него — словно цыпленок наскачивал на бойцовского петуха, способного затоптать его одной лапой. Он с ума сошел, этот маленький глупый Перотто. Он несколько месяцев ездил к Лукреции в монастырь, был единственным мужчиной, которого допускали к ней суровые сестры. Немудрено, что он влюбился в нее, и теперь так нелепо лжет, беря на себя вину, которая будет стоить ему головы. Зачем он делал это? К чему это идиотское, никому не нужное рыцарство?

— Да, я, — повторил Перотто, мелко дрожа. В его расширившихся черных глазах бравада мешалась с ужасом, словно он сам не верил в то, что стоит перед отцом и сыном Борджа и похваляется тем, что обрюхатил их дочь и сестру. — Мы полюбили друг друга. Она так страдала и... это просто произошло. Как только я узнал, тотчас сообщил его святейшеству.

— Он просит ее руки, — словно забавляясь, сказал Родриго. — Как только будет расторгнут ее брак.

— И что вы ответили? — тяжело роняя каждое слово, спросил Чезаре.

— О... ну что тут можно было ответить?

Да он издевается, что ли?! Глумится над несчастным дураком Перотто, над Чезаре, чувствующем, как поднимается в его груди волна неудержимой ярости, над Лукрецией, которую полчаса назад вывел отсюда доктор Гуччино? И зачем, зачем ему это? Зачем пауку глумиться над мухами?

— Так вы знали... уже... давно?

— Почти два месяца. Ты не сообщил мне ничего нового. Мы должны быть благодарны Перотто, — сказал Папа, кидая на растерявшегося юнца насмешливый взгляд, — за его в высшей степени примерную преданность нашей семье. Благодаря ему я узнал обо всем вовремя и смог принять меры, пока еще не стало поздно.

— Но я считал, вы узнали обо всем от меня...

— Ты и должен был так считать, — вздохнул Родриго. — И считал бы дальше, если бы этот дурак держал язык за зубами. Чем ты только думал, Перотто?

— В-ваше святейшество, — пролепетал тот. — Я... мне...

— В Тибре тебе ночевать сегодня, — хрипло сказал Чезаре.

Перотто выпучил на него глаза. Родриго стоял рядом, хладнокровно наблюдая за ними обоими. Перотто попятился, споткнулся, повернулся и торопливо пошел к выходу, почти побежал. А Чезаре пошел следом. Медленно. Очень медленно. Он спиной ощущал взгляд своего отца, и какая-то часть его знала, что паук продолжает дергать ниточки, которыми связаны его беспомощные жертвы. Что все происходит так, как должно, что все на своем месте и вовремя, здесь и сейчас, и он всегда делал и будет делать то, что ждет от него отец. Что так поступают Борджиа. Управляют, давая управлять собой.

Но что, если у муhi — сила быка?

— Перотто! — громкий, ясный, полный звенящей ярости крик разлетелся под сводами Ватикана, сотрясая стекла и фрески. Перотто, преодолевший уже половину расстояния до поворота, испуганно оглянулся. Бравада слетела с него, он понял, наконец, во что впутался. Но вырываться было поздно — сеть

затянулась. Чезаре Борджия, в развевающейся кардинальской сутане, размашистым строевым шагом подошел к Перотто, схватил его сзади за шею, рванул, разворачивая, и ударил в лицо. Ударил с той силой, с какой только мог; со всей, с какой мог.

Когда он отнял кулак, у Перотто больше не было лица. Вместо него образовалось кровавое месиво костей и плоти, развороченные скулы и челюсть съехали набок, а на лбу, в черепе, появилась огромная вмятина. Перотто выглядел так, словно ему пушечным ядром снесло полголовы. Чезаре подхватил его за ноги и потащил обратно к Малой зале, оставляя широкий маслянисто-кровавый след на мраморных плитках.

Родриго, неторопливо собиравший оставшиеся после заседания бумаги, резко обернулся, заслышав шаги. Лицо Папы закаменело, вытянулось, белея на глазах, лоб пошел пятнами. Но он молчал, когда Чезаре подволок обезображеный труп секретаря к его ногам и швырнул так, что веер кровавых брызг оросил белоснежный подол папской сутаны.

— В Тибр его бросите сами, — сказал Чезаре и, повернувшись, пошел прочь. Он слышал, как отец кричит ему вслед, слышал каждое слово, хотя Родриго не издал ни звука. Он шел, не видя света, шел, не чувствуя своего тела и своих рук. Черный морок запорошил ему взгляд. Потом морок отступил, и Чезаре понял, что что-то произошло с его лицом — кожу саднило, и нечто теплое текло по щеке на шею. Он размазал это теплое пальцами, посмотрел на них, но ничего не разобрал — его кулак был в крови Перотто. Бык раскалился добела и пульсировал у Чезаре на груди, словно долбил ему в грудь копытом.

Когда Чезаре вышел на воздух, ему стало легче. Он остановился у балюстрады, оперевшись ладонями о перила, и стоял, подставив закрытые глаза солнцу, не видя взглядов, которые проходящие мимо люди бросали на его окровавленное, покрытое свежими сочащимися ранами лицо.

ГЛАВА 6

1497 ГОД

Лукреция — теперь уже не Сфорца, герцогиня Пезаро, а снова Борджа — сидела в окружении подушек, обезьянок и пажей, и разглядывала членов своей семьи. В последнее время они нечасто собирались все вместе, и тем более здесь, в «Винограднике Ваноццы», как называли они поместье своей матери, расположенное на склоне Эскулинского холма. Ужинали в саду, под открытым небом, расстелив ковры и атласные покрывала по выжженной августовским солнцем траве. День клонился к закату, колокола в соборе святого Петра переливисто звонили к вечерней службе, и звон этот едва долетал до холма сквозь душный, тяжелый от зноя воздух. Находиться в доме было невозможно, и Ваноцца распорядилась подать ужин в саду. Лукреция обрадовалась этому, ей всегда нравилось сидеть на земле. Отцу принесли кресло, в последнее время он жаловался на боли в костях, и теперь возвышался над членами своего семейства, как подобает главе клана — и Папе. У ног его, словно кошка, свернулась Джулия Фарнезе, его бесменная любовница и наложница. Лукреция не имела ничего против нее, поскольку эта Фарнезе знала свое место и не пыталась настраивать Родриго против его детей и их матери. Но ее неприятно коробило присутствие этой женщины здесь, на семейном обеде. Впрочем, остальные тоже явились с сопровождающими: Хофре был с женой Санчией, Чезаре привел двух или трех друзей, вокруг Хуана толклась целая свита, да

и сама Лукреция, не желая скучать, взяла с собой свою новую любимую служанку и одного поэта, которого в последнее время привечала в своем доме, забавляясь взглядами, которые кидал на него время от времени Чезаре.

Ох, Чезаре.

Лукреция украдкой покосилась на брата, непринужденно смеявшегося какой-то неуклюжей шутке, которую только что отпустил их младший брат. В последнее время они нечасто оставались наедине, и еще реже говорили по душам. Имя Перотто никогда не звучало между ними, но Лукреция знала, что к исчезновению ее несчастного возлюбленного приложили руку отец и брат. Ей было жаль Перотто, и отчасти она винила себя, ведь без ее поощрения он никогда не решился бы зайти так далеко, тем более в монастырских стенах. Но она так тосковала в монастыре, а Перотто был хорош собой... кто мог подумать, что все так обернется? Правда, большой беды не случилось: нежданное дитя не помешало разводу своей неосмотрительной матери, а затем благополучно покинуло ее лоно точно в срок. Сейчас мальчик находился в деревне, на попечении слуг и хорошей кормилицы. Чезаре признал его своим сыном, и Папа официально издал буллу, подтверждавшую это, так что за будущее своего первенца Лукреция могла быть спокойна. Казалось, взяв на себя отцовство, Чезаре тем самым давал понять, что прощает Лукреции ее грех. Тем более что отмщение он совершил своими собственными руками...

Но Лукреции не давало покоя чувство, будто брат так и не простил ее до конца. Он стал сдержан с ней, в его прикосновениях больше не было той рвущей душу нежности, что согревала, вдохновляла, а порой почти пугала Лукрецию. Он словно бы... разочаровался в ней? Но нет, невозможно. Она по-прежнему хороша, даже лучше, чем когда-то. Материнство украсило ее, придало ее красоте пьянящий привкус зрелости. Прежде она была бутоном, а ныне — распустившейся розой.

И, зная это, неотрывно смотрела на брата, на своего любимого брата Чезаре, который сидел совсем рядом и упорно делал вид, будто не замечает ее. Отчего они так отдалились?..

И еще эта проклятая маска. Чезаре стал носить ее с того дня, как исчез Перотто. Слухи говорили, что его лицо обезображенено сифилисом, но Лукреция знала, что это гнусная клевета. Ее брат никогда не болел этой постыдной болезнью. Однако ему все же было что прятать. Что же?

— Кому это ты строишь глазки, сестрица? — раздался насмешливый голос Хуана. — Неужели нашему доброму другу Мичелотто?

Лукреция метнула в Хуана взгляд. Он и так-то не отличался умом, а захмелев, был способен ляпнуть любую глупость. К счастью, здесь все свои — даже Джулия Фарнезе: отец считает, что может ей доверять, иначе не привел бы сюда. Не то чтобы Хуан мог выболтать что-то важное, но перед чужими людьми Лукреции было бы за него попросту стыдно. Она только удивлялась, как их отец, их проницательный, хитрый, мудрый отец доверил этому ничтожеству папскую армию. Чезаре эта роль подходила куда как больше. Впрочем, спорить с Родриго Борджиа бесполезно, оттого Лукреции были даже отчасти приятны нелепые выходки Хуана, происходившие у отца на глазах — они выставляли его в истинном свете.

— Я всего лишь задумалась о том, что мы с Чезаре одиночки за этим столом даже в окружении семьи и друзей, — как ни в чем не бывало, сказала она. — В отличие от тебя, дорогой братец, и от Хофре.

— Одиноки? Как это? — удивился Хуан, а Чезаре хохотнул, притягивая к себе одну из развлекавших гостей куртизанок:

— Говори за себя, сестрица! Я одиночества как-то совсем не чувствую.

— Ни у него, ни у меня нет пары, — пояснила Лукреция с самым невинным видом. — Тогда как у всех вас она есть. У отца есть Джулия, у Ваноццы — Артуро, — Лукреция легко

улыбнулась круглощекому юнцу, новому фавориту ее матери, сидевшему с ней рядом. — У тебя есть твоя добрая супруга Мария, хоть она и не почтила нас сегодня своим присутствием...

— Она больна, — глубокомысленно заметил Хуан, и Лукреция фыркнула:

— О да, она заболевает всякий раз, когда тебе предоставляется случай вывести ее куда-нибудь. Если она от чего и захихикает, так скорее от того, что сидит целыми днями взаперти.

— Она моя жена, и мне решать, куда ей ходить и когда, — рявкнул Хуан.

Лукреция невинно заморгала:

— Разве же я спорю с тобой, дорогой братец? Я только говорю, что у каждого здесь, кроме меня и Чезаре, есть пара. Вот и Хофре есть Санчия...

— У Хуана тоже есть Санчия, — вставил Чезаре. — Так что он вдвойне счастливчик, о чем и говорить!

Над столом повисла тишина. Хофре побледнел и с силой сжал губы, тогда как жена его, напротив, порозовела — но чуть заметно, вполне может статься, что от вина, а вовсе не от смущения. Смущение этой прожженной потаскухе, переправившей со всем папским двором, вряд ли было ведомо.

Родриго откашлялся, намереваясь что-то сказать и разрядить обстановку. Но Лукреция опередила его, метнула в Чезаре озорной взгляд и медовым голоском произнесла:

— О, в самом деле! Чезаре совершенно прав. Ибо известно, что... как вы там говорили, дон Мигель? — обратилась она к своему поэту, и тот с готовностью процитировал ей один из своих свежих афоризмов:

— Лучше быть пьяным, чем трезвым, одетым, чем голым, и иметь жену и любовницу, чем не иметь ни той, ни другой!

Он весело захохотал, наслаждаясь собственным остроумием. Дон Мигель был, что и сказать, глуповат, но руки и язык имел ловкие, и с ним ночи летели быстро, а утро не приносило горчинки разочарования. Лукреция старалась, чтобы

Чезаре не прознал об этом — по крайней мере не раньше, чем дон Мигель окончательно ей надоест. Он слишком ревнив, ее братец, и слишком скор на расправу... Но все же это было так здорово, так весело — дразнить Хуана с ним вместе, как в старые добрые времена.

Хуан, однако, развеселившимся не казался. Все знали о его связи с Санчией — все, кроме Хофре, который единственный, дурачок, не знал, а только подозревал, мучаясь бессмысленной ревностью. Лукреция почувствовала, как над столом сгущаются тучи, и это раззадорило ее еще больше, несмотря на осуждающий взгляд отца и предупреждающий — матери. Она Борджа и любит играть с огнем.

— Бедный мой Хуан, сейчас рядом с тобой не сидит ни жена, ни любовница. Стало быть, ты так же одинок, как Чезаре и я. Ах, я несправедлива к тебе, милый братец! Прости свою маленькую сестру.

— Свято место пусто не бывает, — бросил Чезаре. — Мичеллотто, налей-ка мне еще!

Его глаза искрились сквозь прорези маски, и сердце Лукреции забилось чаще. Все же ей никогда и ни с кем не было так весело — и не важно, что они в ссоре. Ее взгляд метнулся к Хуану, вернее, к человеку, сидящему с ним рядом, на том самом месте, что могла занимать его жена или возлюбленная. Там, как всегда в последние несколько недель, молчаливо сидел странный человек, сопровождавший Хуана повсюду. Он был невысокого роста, носил черное, и лицо его неизменно скрывала маска, что мало кого удивляло — ведь Чезаре, к примеру, тоже теперь не появлялся на людях с открытым лицом. Что-то в фигуре этого человека, в том, как он держался — настороженно и собранно, словно хищник перед прыжком — не нравилось Лукреции. Но она не слишком думала об этом, ибо это было дело Хуана, а делами Хуана она не интересовалась. Теперь же, после слов, оброненных Чезаре, ее вдруг посетила новая мысль.

— Так это правда! — воскликнула она, всплеснув руками так, что служанка едва успела выхватить из-под ее локтя чуть не перевернувшуюся чашу. — В самом деле, правду о тебе говорят, братец, что тебя привлекают не только прелестные девы, но и не менее прелестные юноши? Бедная монна Мария! Бедная монна Санчия!

— Лукреция, хватит, — вмешался наконец Родриго, всегда снисходительный к выходкам дочери, но сейчас, похоже, раздраженный ее эскападой. — Друзья моих детей — мои друзья. Каждому из них найдется место за моим столом.

— Это стол Ваноццы, — отрезала Лукреция, рассердившись, что он прервал ее игру. — А ты здесь такой же гость, как и мы все.

— Ты ошибаешься, дитя мое, — спокойно сказала Ваноцца. — Все мы — лишь гости в этом бренном мире, пришедшие вкусить плодов со стола Господа.

— Ответ, достойный любовницы Папы Римского, — фыркнул Хуан, а молчавшая до сих пор Джулия Фарнезе, шевельнувшись у ног Родриго, тихо поправила:

— Бывшей любовницы.

Родриго довольно улыбнулся, Ваноцца пожала плечами. Обстановка разрядилась, но до конца вечера Лукреция не раз замечала злобные взгляды, которые Хуан кидал то на нее, то на Чезаре. И, как часто бывало прежде, его неприязнь к ним обоим как будто еще крепче соединяла их между собой, делала заговорщиками без заговора, виноватыми без вины. Жаль, конечно, что под руку на этот раз попал бедный маленький Хофре, но он в самом деле слишком недалек, чтобы всерьез оскорбляться проделками своей сестры и старшего брата. Она оказалась права: через час, окончательно захмелев от вина, Хофре уже что-то бормотал в шею жене, покрывая ее кожу слюнявыми поцелуями, а та закатывала глаза и косилась на Хуана, посылавшего ей страстные взгляды. Это было так смешно, что Лукреция, не выдержав, прижала ладонь к губам

и сдавленно захихикала, а потом поймала, не в первый раз уже, веселый взгляд Чезаре. Движимая внезапным наитием, она выскользнула из-за стола и углубилась, никем не замеченная, в сад, под душистую тень апельсиновых деревьев. Вскоре за спиной у нее раздались шаги, она порывисто обернулась, смеясь, готовая упасть в объятия любимого брата — и отступила перед спокойным, неизменно невозмутимым лицом своей матери.

— Я... отошла подышать, — запинаясь, сказала Лукреция, и Ваноцца спросила:

— Почему ты оправдываешься?

Лукреция не нашлась с ответом. Смелая и дерзкая с отцом, она часто терялась в присутствии матери, не зная, что ожидать от нее, а чего ожидать, напротив, не стоит, будь они хоть тысячу раз в родстве.

Ваноцца уловила ее замешательство и, взяв под руку, повела дальше в сад, прочь от весело галдящего застолья.

— Ты напрасно дразнишь Хуана, — сказала Ваноцца после того, как они некоторое время шагали рядом в молчании и темноте. — Ты и Чезаре, вы всегда были с ним излишне жестоки. И с ним, и с Хофре. А они ведь ваша родная кровь. Они тоже Борджия.

— Они не такие, как мы, — вырвалось у Лукреции.

— Верно. Но это не оправдание. Ты сейчас использовала Хофре и Хуана, чтобы проложить мост к Чезаре, напомнить ему, как вы резвились в детстве. Но вы больше не дети, Лукреция. Он кардинал, а ты родила ребенка, и Чезаре убил его отца.

Лукреция резко остановилась. Ваноцца остановилась тоже.

— Разве ты не знала?

— Знала... наверное... но...

— Все намного серьезнее, чем ты думаешь, — в темноте Лукреция не видела лица матери, но голос ее, ровный, невозмутимый, звучал как глас оракула, способный лишь предрекать,

но не сочувствовать. — Гнев твоего брата был очень силен. Он использовал свою силу, силу быка, но его ярость в тот миг была так велика, что бык подчинил его. Что ты на самом деле знаешь об этих предметах, Лукреция? — холодные пальцы Ваноццы коснулись груди Лукреции там, где кожу холодила фигурка ласточки. — Это не они принадлежат вам. Вы принадлежите им. Родриго хватало воли и осторожности, чтобы не позволить им разрушить себя, но хватит ли воли Чезаре и тебе? Бык уже разрушает Чезаре. И этот процесс необратим.

— Его маска... — ахнула Лукреция, и Ваноцца кивнула.

— Попроси его как-нибудь снять ее. Я знаю, вы в ссоре, но попроси. Это вас сблизит. Ты увидишь и, может быть, сумеешь убедить его, что он должен впредь быть осмотрительнее. Сила Борджа — дар свыше, но нельзя позволить дару править тобой. Иначе он тебя уничтожит. Он уничтожит нас всех, Лукреция.

Они замолчали, и какое-то время слышался лишь стрекот сверчков и цикад.

— Не дразните Хуана, — сказала Ваноцца. — Это может привести к непредсказуемым последствиям. Непредсказуемым для всех нас.

Лукреция хотела ответить, но Ваноцца вдруг подняла палец, и они обе вслушались в тишину ночного сада. От окруженного огнями застолья, оставшегося позади них выше на холме, слышался шум, не похожий на обычный гул, сопровождающий пиршественное веселье. Похоже, там что-то происходило. Не сговариваясь, обе женщины подхватили юбки и заторопились обратно, хрустя осыпавшимися наземь веточками винограда.

Вскоре они смогли различить слова и движущиеся фигуры. Сомнений больше не было: Хуан и Чезаре Борджа стояли, разделенные столом, и кричали, не слушая ни друг друга, ни их отца, тоже поднявшегося и тщетно пытавшегося угомонить сыновей.

— Ничтожество, тряпка! — кричал Чезаре. — Ты хоть знаешь, что говорят о тебе твои собственные солдаты, ты, дон гонфалоньер? Что ты вонючий кусок деръма, способный только лапать смазливых мальчишек!

— Заткнись, сифилитик! — вопил Хуан. — О тебе самом говорят такое, что я сблюю, если повторю хоть половину! Чего морду-то прятать стал? Застыдился, твое преосвященство? А спать с нашей сестрой тебе стыдно не было?

— Хуан! — пронзительно закричала Лукреция.

Все замолчали. Лукреция выбежала из темного сада к столу, в месиво подушек, скатертей, полупустых тарелок, разбросанных плащей и вееров, бледных, красных и темных лиц. Щеки ее горели пламенем. В полной тишине, под взглядами всех людей, собравшихся за столом, она подскочила к Хуану и залепила ему пощечину. Хуан дернулся головой и скривился, глядя на сестру помутневшими от вина глазами. Он был совершенно пьян.

— Он тебя еще не заразил, нет, сестрица? — прошипел Хуан. — Берегись, жаль будет твоего смазливого личика.

— Я готов снять маску, — прозвучал звенящий от ярости голос Чезаре. — Прямо сейчас, Хуан. Но готов ли ты увидеть то, что под ней?

Они смотрели друг на друга, словно заклятые враги. Двигаясь внезапным порывом, Лукреция схватила за плечо человека в черном, стоящего у Хуана за спиной.

— Тогда пусть этот тоже снимет маску, — потребовала она. — Что скажешь, Хуан? Борджаи имеют право знать, кто сидит за их столом!

Плечо, обтянутое черным бархатом камзола, было под ее рукой твердым, словно камень. Человек в маске не двигался. Только посмотрел на Лукрецию — и она едва не отшатнулась, впервые увидев глаза, сверкнувшие в прорезях.

Зеленый и синий.

Лукреция смотрела, словно в наваждении, и опомнилась, только когда Хуан взял своего таинственного спутника

за другое плечо и потянул, заставляя Лукрецию разжать руки.

— Я ухожу отсюда, — выплюнул он. — Мы уходим. Сейчас же. Прощайте, отец.

Родриго попытался остановить его, но они ушли очень быстро — Хуан, его спутник в маске, а за ним и его дружки, порядком притихшие. У ворот они снова принялись что-то горланить, обсуждая, где продолжить гулять в эту ночь. Лукреция смотрела им вслед, спиной ощущая тяжелый взгляд своей матери.

— Лукреция, — голос Чезаре вернул ее в чувство. — Сядь. Выпей вина. Давайте все выпьем, и пошел он к черту, этот дурак.

Он был рядом, Чезаре — был рядом, касался ее, усадил за стол, заговорил о чем-то, увлек, закружил, и через несколько минут непринужденный разговор за столом возобновился. Сцена, конечно, вышла отвратительная, но это была не первая и, Лукреция знала, не последняя подобная сцена между членами их семейства. И Чезаре больше не гневался на нее, теперь он окончательно ее простил. Она вздохнула бы с облегчением, и все было бы хорошо, если бы не память о странных словах ее матери там, в саду и...

И если бы не то, что Лукреция поняла, увидев разноцветные глаза человека в черной маске. Не только то, что этот человек также обладал предметом, подобно отцу, Лукреции и Чезаре.

Но также и то, что человек этот был, без сомнения, женщиной.

— Вина! — вопил Хуан, размахивая пустой бутылкой в тщетной попытке вытряхнуть из нее еще хоть несколько капель. — Вина, еще вина! Дьявольщина! Да есть ли в этом проклятом городе хоть один открытый кабак?!

Словно в ответ на его слова, дверь, над которой раскачивалась деревянная вывеска в форме щуки, торопливо захлопнулась,

и изнутри заскрежетал задвигаемый засов. Хуан подскочил к двери и с проклятиями затряс ее, колотя в дверь сапогом. Его друзья с гоготом присоединились к нему, круша окна, на которых, впрочем, оказались крепко запертые железные ставни.

— Ну и дурак же ты, трактирщик! — проорал Хуан, наподдав в дверь напоследок. — Знаешь, перед кем ты запер дверь? Перед Борджа! Завтра ты за это сдохнешь!

— Пойдемте в «Одноглазого петуха», там всегда до зари открыто! — крикнул кто-то из его свиты, и Хуан скривился.

— Нет, туда не хочу. Там... — он замолчал, будучи все же не настолько пьян, чтобы признаться, что именно в этой таверне подцепил у одной из девок срамную болезнь. Он, Хуан Борджа, герцог Гансийский, гонфалоньер папской армии, не мог позволить, чтобы о нем поползли подобные грязные слухи. Он ведь совсем не то, что его ублюдочный братец. Оба его ублюдочные братца, если уж на то пошло.

— Я знаю, — прозвучал в темноте негромкий голос. — Пойдемте к Тибру. К рыбакским трущобам.

Хуан обернулся. Она стояла рядом, как и в последние десять дней: по-мальчишески худощавая, с коротко остриженными волосами, спрятанными под беретом. У нее тоже были глаза разного цвета, так же, как у доброй половины его семейства, и поначалу это настроило Хуана против нее. Но когда она рассказала ему... все то, что рассказала, когда он убедился, что она знает вещи, которых никто, пресвятая дева, никто в мире знать не мог — тогда он стал относиться к ней иначе. Наверное, она тоже обладала фигуркой, вроде тех, с которыми не разлучались его отец, брат и сестра. За десять лет, прошедшие после памятного дня в саду матери, Хуан не раз жалел, что в порыве ярости бросил фигурку паука наземь. Он весьма смутно представлял, что именно давали эти фигурки, но подозревал, что чудовищная сила Чезаре напрямую связана с быком — в детстве-то он был хлюпиком, каких поискать, и Хуан без труда укладывал его на лопатки. Если у этой женщины

есть фигурка, все равно какая — Хуан должен ею завладеть. Тогда-то его ненаглядное семейство наконец перестанет обращаться с ним, как с человеком второго сорта. Поэтому Хуан сделал все, что она попросила... поэтому, и еще потому, что ее взгляд сквозь прорези бархатной маски завораживал его так, как никогда не завораживал взгляд женщины.

— В трущобы? — переспросил кто-то из свиты, не скрывая отвращения. — Что за вздор?

— Трактиры для бедноты закрываются рано, — заметил другой. — Чего там искать?

— Я знаю один, который открыт до рассвета. Таким знатным господам, как сын Папы со свитой, там будут рады в любое время. И никто не посмеет закрыть перед ними дверь.

Она говорила тихо, немного слатывая слова, со странным иноземным акцентом. Хуан только раз видел ее без маски, в самом начале, и все гадал, откуда она может быть родом. Француженка? Испанка? Может быть, даже саракинка — после крестовых походов кого только не встретишь на христианской земле. Хуан знал лишь, что она была другой, говорила иначе, смотрела не так, как все люди, встречавшиеся ему в жизни. И он не мог перестать думать о том, какова она в постели, но пока что для этого еще не настало время. Сначала надо выяснить, каким она обладает предметом, и найти способ его отобрать. А уж тогда...

— Вина мы там в любом случае раздобудем.

— А может, и девок. Рыбачки бывают горячими штучками.

— А уж рыбацкие дочки, сладко спящие в своих постельках!

Его друзья галдели, обсуждая предложение Кассио — так эта женщина назвала себя, и Хуан только гадал, зачем ей понадобилось прятаться под мужской личиной. Впрочем, так ей, конечно, легче сопровождать его повсюду — Хуан все же еще не обнаглел настолько, как его отец, чтобы открыто появляться на людях с любовницей. Да и Санчия могла обидеться — она

была зверски ревнива, и ему уже приходилось испытывать на своих щеках ее острые коготки. К мальчикам она тоже ревновала, но не так сильно. Так что «Кассио» поступила мудро, скрывая свой пол.

Хуан огляделся и понял, что его уже увлекают вперед, к трущобам, туда, где в лунном свете мутно поблескивали темные воды Тибра. Квартал бедноты лежал в тишине и тьме, и гуляки тоже невольно притихли, проходя темными неосвещенными улицами, где на дороге не было даже соломы и ноги чуть не по щиколотку вязли в грязи. Хуан обернулся, выхватывая взглядом яркий, светящийся ночными огнями Рим, оставшийся наверху, в то время как сам он шаг за шагом спускался в черную беззвучную бездну — и на мгновение по его спине пробежал озноб. Сам не зная, что делает, Хуан перекрестился, но кто-то тут же схватил его за руку и, вопя в ухо, потащил вперед, прочь от света, туда, вниз, во тьму.

Он дернулся головой. Женщина в маске шла рядом, ее лицо, закрытое черным бархатом, казалось во мраке дырой, как будто у нее вообще не было лица.

— Где уже этот кабак? А, черт...

— Да вот же он!

И правда, впереди замаячил свет. Еле удержав вздох облегчения, Хуан шагнул вперед, к свету, теплу, доброму вину и объятиям шлюхи. И эта мысль — мысль о вине и шлюхе — стала последней, посетившей голову Хуана Борджа, герцога Гансийского, сына Папы Александра VI. В следующий миг кинжал вошел ему в спину, пропарывая плащ, камзол и рубашку, кожу, мышцы, а потом и кость, хрустнувшую в хребте. Хуан дернулся и стал валиться набок. Но прежде чем он упал, кинжал вышел из его спины и вошел еще раз, немного пониже. А потом снова вышел и снова вошел.

Три удара успел сделать человек, вынырнувший из прохода между таверной и льнущим к ней домиком, прежде чем друзья Хуана заметили неладное.

— Эй, Хуан! Что с тобо... — начал один из них — и замолчал навсегда, захлебнувшись кровью, хлынувшей горлом. Черные тени ринулись со всех сторон, словно филины, рвущие зайцев: друзья Хуана Борджаи вскрикивали и метались, кто-то даже успел обнажить оружие, но никто не смог пустить его в ход. Меньше чем через минуту пять человек, сопровождавшие Хуана в ту ночь, были мертвы. Мертв был и сам Хуан, а человек, убивший его, стоял над трупом с кинжалом в руке и смотрел перед собой, на единственного из свиты Борджаи, оставшегося в живых.

— Сколько ударов? — спросила женщина в черной маске. Голос ее звучал глухо, словно что-то клокотало у нее в горле.

— Три, — ответил убийца.

— Ударь еще девятнадцать раз, — сказала женщина. — Все удары только в спину. Потом связите ему руки и бросьте в Тибр. Его людей увезите из города и закопайте в лесу.

— Будет исполнено.

Женщина отвернулась и пошла прочь. Свет, теплившийся за замызганными окошками кабака, погас, изнутри не доносилось ни звука. Пройдя несколько шагов, женщина вышла на освещенный луной участок, выругалась и остановилась, придерживаясь рукой за стену.

— Дело сделано? — раздался голос над ее головой.

Женщина посмотрела на говорящего. Это был всадник в плаще с капюшоном, низко надвинутым на лицо. Видеть его женщина не могла, так же, как он ее. Но у нее было преимущество. Она отлично знала, кто перед ней.

— Не удержались? — спросила она хрипловато, не пытаясь сдержать прозвучавшую в голосе насмешку. — Приехали убедиться лично?

— За делами такого рода всегда лучше проследить самому, — пробормотал всадник.

— Вы правы, — кивнула женщина. Ее взгляд задержался на стременах всадника, и она шумно вдохнула. — Только...

только вы зря надели такие приметные золотые шпоры...
ваше преосвященство.

— Тише! — подскочив, шикнул всадник.

Но женщина уже смеялась — громким, дерзким, отрывистым смехом. Любой, кто услышал бы этот смех, не усомнился бы в ее безумии.

— Замолчите, ради Бога, — взмолился всадник, озираясь — он уже явно жалел, что приехал сюда.

— Не бойтесь, мессир. Вас никто не узнает. Могу вам в этом поклясться Пресвятой девой. Я знаю все, что случится, и чего не случится — тоже.

— Это я уже понял, — сказал всадник, оглядывая ее с головы до ног. — Одного не возьму в толк — кто вы и зачем вам смерть Хуана Борджа.

— Вы обещали не спрашивать об этом. Вы, помнится, хотели спросить кое-что другое. И я обещала вам ответ в качестве награды за помочь в этом деле.

Всадник молчал. Женщина подошла к его лошади и взяла ее под уздцы. С соседней улицы доносилась приглушенная возня — там люди, нанятые всадником по наущению этой женщины, заметали следы преступления.

— Ну же, — сказала женщина тихо, — спросите.

— Я стану понтификом? — выдохнул всадник.

И получил свой ответ:

— Станете. Очень скоро. А теперь прощайте, кардинал.

И она ушла, растворилась в ночи. Могло даже показаться, будто просто исчезла.

Стоя у окна, Родриго смотрел, как во внутреннем дворике проводит утреннюю тренировку отряд дежурной стражи. Скрецывались мечи, сталкивались кинжалы, воздух со свистом вырывался меж судорожно стиснутых зубов. У него была хорошая стража, у Папы Александра VI. Три ряда караула во дворце, еще два — за стенами, так что ни одна мышь не

проскочит незамеченной. Так же тщательно охранялись резиденции его детей. Родриго знал, что у рода Борджии много врагов, знал, что кому-то из них рано или поздно достанет дерзости или отчаяния нанести открытый удар. Они знали — о, они знали, — что Борджии в дружбе с ядами, потому яд в борьбе с Борджии ненадежен. Но сталь надежна всегда. Сталь нельзя ни умолить, ни заговорить. По крайней мере, Родриго не знал, как это сделать.

И зачем, зачем? К чему все это было, если там, где не проскочит мышь, все равно сумела пробраться смерть?

— Ваше святейшество...

Родриго вздрогнул. Странно, что он не услышал шаги. Или услышал, но был слишком ошеломленным, слишком застывшим внутри своего тела и разума, чтобы вовремя отозваться на них. Он ведь всегда мог различить звук шагов своих детей. Летящую походку Лукреции, сопровождающую шорохом плаща; семенящие шажки Хофре, который до сих пор ходил чуть припрыгивая, как ребенок; шумную, тяжелую поступь Хуана, впечатывавшего стопу в землю так, словно он был хозяином этого мира и шел по нему, смеясь... Хуан... Хуан...

— Хуан, — еле слышно сказал Родриго, и это имя прозвучало, как стон.

Движение за его спиной отозвалось беспокойством, и знакомый голос вновь неуверенно проговорил:

— Ваше святейшество, я принес дурные вести.

Не Хуан. Чезаре. Всегда входивший беззвучно и подбирающийся со спины так, словно выбирает мгновение для удара. Тот, кому Родриго верил больше всех. Тот, на кого возлагал самые большие надежды. Тот, кто заменит его на престоле Святого Петра и поведет Италию к могуществу и процветанию, заставив склониться все прочие страны Европы. Тот, кто...

Родриго обернулся. Чезаре стоял перед ним в светском плаще, нервно смяв в кулаке берет. Его волосы были всклокочены.

Он снял маску, и рубцы, которые он прятал под ней, ярко але-ли на его побледневшем лице. В глаза отцу он не смотрел.

— Он мертв, — сказал Родриго.

— Да, отец, — ответил Чезаре. — Мне искренне жаль. Его тело выловили из Тибра сегодня на рассвете. Его ударили кинжалом... очень много раз. В спину. Простите... простите меня.

«Хуан мертв», — подумал Родриго Борджа. Он знал об этом. Знал все те четыре дня, в течение которых Хуана, бесследно пропавшего после пирушки в доме Ваноццы, искали по всему Риму. Вероятно, его убили около двух часов пополуночи — именно тогда Родриго вдруг почувствовал жжение в груди, там, где носил фигурку паука, а потом — ужасающую пустоту, словно фигурка пропала. Он даже схватился за нее тогда, и лицо его, вероятно, было странным, потому что Джуллия, сидящая у его ног, в тревоге заглянула Родриго в глаза и спросила, что случилось. Но тот уже нашупал фигурку и успокоился — или притворился перед ней и перед самим собой, что успокоился. Пустота не пропала, она осталась внутри и росла, словно опухоль. Родриго знал, что минуту назад нечто важное ушло из его жизни безвозвратно. И лишь наутро, когда ему сообщили, что Хуан не вернулся в свой особняк, он понял, что именно потерял.

— Это сделал ты, — сказал Родриго, глядя Чезаре в лицо.

Тот вскинул на него глаза, вспыхнувшие и тотчас погасшие снова. Быка сейчас при нем не было, в этом Родриго не сомневался. Он всегда знал, имеет ли Чезаре при себе фигурку — стоило только посмотреть ему в глаза. Сейчас он не имел при себе фигурки, как не имел и в тот вечер у Ваноццы... но нужна ли она ему, чтобы убивать?

Родриго знал, что не нужна. Бык давал Чезаре силу, но ярость — ярость была в нем самом. Он был яростью и неистовством, его старший сын. Он был соткан из них, как и все Борджа.

— Это сделал ты, — раздельно повторил Родриго. — Ты убил его. Своего единоутробного и единокровного брата. Ты убил Хуана. Ты.

— Отец! — Чезаре отступил на шаг, потом остановился, словно поняв, что отступление свидетельствует против него. — Нет! Опомнитесь. Я никогда бы не...

— Убирайся.

Какое-то время оба они молчали. Рубцы на лице Чезаре налились кровью и, кажется, начали пульсировать, словно живые. Он был страшен. Он был ужасен, его сын, и способен на все. Как и любой из них.

Они многое могли сказать друг другу, и многое могли сейчас сделать. И оба знали это — быть может, только это и спасло их в тот миг. Гудящая пауза оборвалась, когда Чезаре круто развернулся и, ни слова не говоря, почти бегом выскочил прочь, а Родриго с трудом удержался, чтобы не крикнуть ему вслед: «Где брат твой, Каин?» Когда шаги стихли, он с коротким стоном опустился на обитую бархатом скамью, бессознательно растирая левую сторону груди. Ладонь задела фигурку паука, и Родриго почутилось, будто по пальцами пробежались острые мохнатые лапки. Быстро, словно в издевку. Он с трудом заставил себя подняться, дотащиться до шнура и позвонить. Ему требовалось прилечь.

Следующую неделю Папа Александр VI провел в постели. Друзья, союзники и лизоблюды засыпали его изъявлением соболезнований по поводу преждевременной и страшной кончины любимого сына. Не отставали от них и враги — в Ватикан пришло послание от мятежного монаха Савонаролы, с кафедры флорентийского собора обличавшего Борджа как исчадий ада, но неожиданно в очень трогательных выражениях выразившего сочувствие их горю. Даже Джулиано делла Ровере, натравивший на Рим французскую армию, нашел для Родриго несколько слов соболезнования. При этом любой из них, без сомнений, с радостью спляшет на его могиле.

Но Родриго не собирался умирать. Мертв был его сын, и какая-то часть Родриго умерла вместе с Хуаном. Но часть — это еще не весь он. Лежа в постели, безжизненный, бледный после многочисленных кровопусканий (придворный лекарь, как обычно, перестарался), Папа севшим голосом диктовал своему секретарю Бурхарду письма с благодарностями, а взгляд его был устремлен в стену, на одну из его любимых фресок Пинтурикьо, изображавших его самого в день Страшного Суда на нижней ступеньке лестницы, ведущей к райским вратам. И Христос, страшный карающий Христос с дланью, воздетой в обвиняющем жесте, по замыслу художника собирался обрушить гнев на врагов Борджа. Но сейчас, глядя в его неживые нарисованные глаза, Родриго думал о том, что Христу, даже если он правда существует, нет до Борджа никакого дела. Никакого. Совсем.

— Ваше святейшество, к вам посетитель.

— Нет, — не оборачиваясь, сказал Родриго. Он не принимал в эти дни никого, даже Джюлию, даже Лукрецию, хотя слышал, как она стояла под дверью и умоляла его поговорить с ней. Но он не хотел видеть ее. Он знал, что она стала бы выгораживать Чезаре, и боялся, что из-за этого возненавидит и ее тоже. Возненавидит свою маленькую, своенравную, дорогую Лукрецию. Это бы его добило.

Родриго закрыл глаза и лежал какое-то время неподвижно, пока не ощутил рядом чужое присутствие. Это был не Бурхард, которому он только что закончил диктовать письма — Бурхард не пах дикой розой и сиренью. Он знал этот запах.

— Я велел, чтобы тебя не впускали, — не открывая глаз, сказал Родриго. — Уходи, Ваноцца.

Она не ответила, но он услышал, как она усаживается на краю его необъятной кровати. Тогда ему пришлось наконец открыть глаза, чтобы взглянуть на строптивую женщину со всем раздражением, которое она сейчас вызывала.

Он испытал шок, когда увидел, что она не надела траур. Сам Родриго распорядился, чтобы все его одежды, когда он снова начнет выходить на люди, были белыми. Он оделся бы в черное, если бы мог, как простой человек, погруженный в глубокое горе. На свою беду, он не был простым человеком.

А она, Ваноцца деи Каттанеи, знаменитая римская куртизанка, шлюха, его любовница, вместе с ним потерявшая их общего сына — она пришла к нему в зеленом бархатном платье, отделанном кружевной каймой цвета охры. И лицо ее оставалось все так же спокойно, и веки все так же тяжело прикрывали ее сонные глаза.

— Я принесла тебе поесть, Родриго, — сказала она, и он заметил небольшую корзинку в ее руках. — Слышала, ты отказываешься от еды. Так не должно быть. Твоя Фарнезе плохо делает свою работу.

Трудно было подыскать более неуместной минуты думать об этом, но, глядя, как белые руки Ваноццы достают из корзинки хлеб, сыр и куриное мясо, Родриго невольно подумал, до чего же странно относится она к женщине, на которую он ее променял. Ваноцца никогда не ревновала его к Джулии, даже в первые месяцы, когда их взаимная страсть была столь велика, что они почти не пытались ее скрывать. Она принимала Джулию в своем доме, не противилась ее дружбе с Лукрецией, ни словом, ни жестом не упрекнула Родриго в измене. И никогда не спрашивала, хорошо ли Родриго с новой любовницей, счастлив ли он. Словно это не имело никакого значения.

— Вот, поешь, — сказала Ваноцца особенным тоном, всегда вынуждавшим Родриго повиноваться ей. Он почти бессознательно потянулся вперед, взял хлеб и стал жевать. После долгих дней без еды пища странно ощущалась во рту, крошки царапали пересохший язык и небо. Родриго с трудом проглотил, едва не подавившись — и внезапно желудок его заревел, завыл от адского голода, такого сильного, что помутилось

в голове. Родриго торопливо сунул хлеб в рот, жадно откусывая, другая рука сгребла мясо. Он хотел есть. Он хотел жить. Несмотря ни на что, хотел.

Пока он насыщался, Ваноцца налила ему воды из стоящего в изголовье кувшина. Родриго хотелось попросить ее, чтоб велела принести вина, но он знал, что она откажет, и устыдился своей слабости. Он словно очнулся от тяжкого, долгого сна.

Если бы только этот сон унес с собой все привидевшиеся кошмары.

— С месяц назад, — заговорила Ваноцца, — я принимала у себя одного османского князя. Он был очень обходителен и прекрасно говорил по-французски, рассказывал много занятных историй. Среди прочего, он поведал об одном странном обычай, заведенном при дворе его султана. Видишь ли, у этого султана множество жен. Совсем как у Папы Римского. И эти жены, конечно же, рожают ему сыновей. Много, много сыновей, сильных, честолюбивых мальчиков, каждый из которых стремится быть первым в глазах отца. Но первым может быть только один. Как правило, это старший. Неверные мало чем отличаются в этом смысле от нас.

Она замолчала. Родриго молчал тоже, пытаясь понять, куда она клонит.

— Так вот, — продолжала Ваноцца, — я говорила про странный обычай. Суть его в том, что в день, когда старший сын, наследник, восходит на престол, всех остальных сыновей султана принято убивать. Кого-то душат в собственной постели, кому-то пускают стрелу в глаз на охоте, а кому-то удается встретить смерть с мечом в руке. Не важно. Они умирают. Зачастую все они — сыновья одной и той же матери. И отец их счастлив невообразимо, потому что к этому дню он сам уже мертв и не может видеть, как одни его дети гибнут ради спокойного царствования других.

— Ваноцца, — начал Родриго, но она взглянула на него своими тяжелыми глазами так, что он осекся.

— Я знаю, Родриго, что ты винишь Чезаре в смерти Хуана. И не могу сказать, что не понимаю тебя. Нам обоим известно, что Чезаре куда больше подходит на роль гонфalonьера, что он, а не Хуан, должен был стать первым воином в христианском мире. Ты из упрямства уготовил для него рокетту, но он всегда носил и будет носить под ней кирасу. Чезаре завидовал Хуану. Может, он и убил его. А может, это сделал другой наш сын, Хофре, за то, что Хуан, не таясь, спал с его женой. А может, это сделала Лукреция, оттого, что она всегда предпочитала Хуану Чезаре, и Хуан знал это и ненавидел их обоих. В наших детях много тьмы, Родриго. Ее много в тебе самом, и она передалась им, как болезнь или как особая сила. И ты знаешь, — сказала она, протягивая руку и накрывая ладонью холодный серебристый предмет на его груди, — знаешь, откуда эта сила или эта тьма. Ты выбрал это для них. Мы вместе выбрали. Помнишь?

Конечно, он помнил. Он всегда доверял ей, своей Ваноцце, своей распустившейся пьяной розе, больше, чем кому бы то ни было. Но сейчас его иссохшая рука с по-старчески костлявыми пальцами до боли стиснула ее кисть, легшую ему на грудь. Паук заворочался под тонким батистом ночной сорочки, зашуршал холодными лапками. Он тоже помнил.

— Ты правда думаешь, что Хуана убил наш сын? — хрипло спросил Родриго, глядя на Ваноццу запавшими глазами в черных кругах. Та, не пытаясь высвободить схваченную им руку, накрыла другой ладонью его пергаментно-белую щеку.

— Сын. Или дочь. Или никто из них. У тебя много врагов, Родриго, их становится все больше с каждым днем. И хуже всего, что их больше, чем ты можешь даже представить. Взгляни, что происходит. Тот рыбак, что видел, как убивали Хуана — кого он описал, всадника с золотыми шпорами? Да, это мог быть Чезаре или Хофре. А подбить их на это могла и наша Лукреция. Любой из них на это способен, Хофре меньше других, но Хуан очень жестоко и долго оскорблял его, этого

достаточно, чтобы пробудить Борджиа даже в Хофре. Только подумай, Родриго, подумай как следует. Кто мог подстроить так, чтобы ты заподозрил в братоубийстве собственных детей? Кому нужно разобщить, расшатать устои нашей семьи? Кому выгодно, чтобы мы рассорились, ослабились и пали? Поэтому что именно это произойдет, Родриго, если мы перестанем верить друг другу и начнем верить другим, тем, кто не наша семья.

Родриго напряженно слушал ее, не отрывая от ее спокойного лица воспаленного взгляда. Потом перевернул ее запястье, которое все еще держал в руке, и поцеловал сухими губами.

Паук снова заскреб лапками по его впалой груди. И внезапно Родриго обуяла злость. Черная, лютая злоба — та, которая, должно быть, охватывала Чезаре, когда он... что бы он ни делал под ее властью.

— Это все он, — с ненавистью прошептал Родриго, сжав фигурку, лежавшую у него на груди. Фигурка висела на шнуре, обхватывавшем его шею так, чтобы не могла случайно соскользнуть через голову. Снять паука можно было, лишь разрезав шнур — или отрубив голову его хозяину. И сейчас Родриго был готов и на то, и на другое. — Это все он! Проклятая, дьявольская тварь! Почему он мне ничего не сказал?! Почему не предупредил, ведь я мог бы...

— Да, ты мог бы, — Ваноцца повысила голос, выпрямилась, ее карие глаза распахнулись, и в них сверкнул огонь, которого никто не видел уже много лет. — Ты мог лучше изучить своих детей, ты мог предвидеть замыслы тайных врагов. И тогда паук помог бы тебе обуздить и тех, и других. Но ты не сделал этого! Ты расслабился, Родриго, разомлел в объятиях своей шлюхи. Так что вини себя, вини меня, вини, если уж так хочешь, Чезаре, но не смей винить *его*, потому что он создал тебя, создал всех нас. И ты лучше всех это знаешь.

Если бы кто-то мог подслушать их разговор, он решил бы, что последние слова Ваноццы были о Боге. Родриго и сам так решил на мгновенье — и только потом, увидев, куда она смотрит, понял. Она говорила о пауке. О ледяном серебристом металле, который впитывал свет, как песок впитывает кровь. Этот металл и сделанные из него странные предметы привели Борджа на вершину, они привели Родриго в эту постель, чуть не ставшую его смертным одром. Он мог противиться этому, мог ненавидеть это, но так было.

— Не смей никогда отказываться от него, — проговорила Ваноцца. — Не смей обвинять его. Не отвергай его. Вспомни, к чему это привело нашего сына Хуана.

Потом она встала, поцеловала Родриго в лоб, поправило одеяло и, прежде чем уйти, сказала, что позовет к нему Джилию Фарнезе.

ГЛАВА 7

1499 ГОД

— Ну и? Что она сказала? — нетерпеливо крикнул Чезаре, не дожидаясь, пока гонец подскакет вплотную.

Оливер да Фермо что-то пробубнил на скаку, с трудом заставил разгоряченного коня перейти на шаг. Самый молодой из кондотьеров Чезаре, он чаще других исполнял роль посланника в начале переговоров, всякий раз при этом рискуя собственной головой. Чезаре пытался польстить ему столь ответственными поручениями, но Фермо выполнял их без особого энтузиазма — как и все юные буйные головы, он куда охотнее согласился бы быть изрубленным на поле брани, чем сброшенным с крепостной стены с петлей на шее, в назидание дерзким захватчикам. Впрочем, спорить он, конечно же, не решался.

— Ну что, что? — жадно повторил Чезаре, подаваясь вперед, когда Фермо спешился и, кисло огляdevшись по сторонам, подошел к нему.

— Она согласна, — ответил он без какой бы то ни было радости. — Говорит, что встретится с вами на середине подъемного моста.

Чезаре с размаху сел на барабан, служивший ему в последние полчаса походным креслом, присвистнул и взглянул на стоящего рядом Мичелотто.

— Слышал? — спросил он, и тот молча кивнул. — Что думаешь?

— Что это ловушка, — коротко ответил Мичелотто.

— Сам знаю, что ловушка. Мне только интересно, в чем именно она заключается.

— Этого вы не узнаете, мессир, пока в нее не попадетесь.

Чезаре хмыкнул.

Папская армия стояла лагерем на расстоянии пушечного выстрела от стен замка Форли, вытянувшись полумесяцем на лугу. Еще несколько дней назад здесь шелестел ветер над короткими пучками свежескошенной травы, и сладко пахло молодым сеном. Сейчас под ногами грязь всех римских дорог мешалась с конским навозом, и крепкий забористый смрад солдатского духа разливался над лугом от замковых стен до самого города, мирно, хотя и настороженно лежавшего позади. Город сдался без боя, приветственно распахнув ворота перед громадной армией Чезаре Борджа, герцога Валентино. Это был не первый город, где его так привечали, но причину сговорчивости форлийцев Чезаре понял позже, когда наутро после торжественного приема, устроенного в ратуше, под воротами обнаружились головы членов городского совета, завернутые в окровавленный плащ коменданта, командовавшего гарнизоном и сдавшего город без единого выстрела.

Таким стало первое, но не последнее послание от графини Форли, Катерины Риарио-Сфорца.

Как и большинство мелкопоместных тиранов Романы, она не питала иллюзий относительно любви горожан к своей особе, поэтому, узнав, что папская армия идет на Форли, благоразумно укрылась в своем замке на холме. Она успела завезти припасы, заделать бреши в стене и углубить ров, готовясь к осаде, но все эти хлопоты не отвлекли ее и не умерили ярости. Вырезав предавших ее горожан, она не угомонилась на этом, и весь следующий день со стен Форли доносились залпы, целящие по стенам сдавшегося города. Под этими залпами Чезаре, в глубине души восхищаясь таким темпераментом,

лично ездил к стене и пытался вызвать графиню на переговоры, справедливо полагая, что она сочтет ниже своего достоинства беседовать с порученцами. Чезаре даже приоделся для такого случая, натянув поверх легких лат белоснежный камзол и украсив свои густые каштановые волосы щеголеватым беретом. Верный Мичелотто, неизменно ехавший рядом, бормотал в бороду, что ничего глупее и придумать нельзя, но Чезаре хорохорился и храбрился, и все звал и звал гордую графиню, пока, наконец, очередное пушечное ядро не просвистело над самой его головой, ненадолго оглушив и срезав с берета перо. После этого Чезаре внял уговорам Мичелотто, вернулся к своей армии и разбил под стенами замка лагерь, взяв Форли в глубокую осаду.

Следующую неделю он пил, кутил и развлекался беседой со своими кондотьерами и теми из членов городского совета, кому удалось избегнуть мести графини. Всю эту неделю замок с упорством, достойным лучшего применения, продолжал усеивать пушечными ядрами луг, разрушая свежесобранные стога. К концу недели все было усыпано соломой, словно здесь потрудились очень нерадивые жнецы, скосившие траву, но не потрудившиеся ее убрать. Поток ядер стал иссякать, а затем прекратился вовсе. Чезаре не сомневался, что Сфорца оставила пару-тройку ядер напоследок, персонально для его головы, буде он подойдет достаточно близко.

Прошла еще неделя, войска начинали всерьез скучать, и тогда графиня прислала гонца, предлагая встречу парламентеров посреди луга, по одному с каждой стороны. Чезаре отправил Оливера да Фермо, поскольку тот был не только самым юным, но и самым неопытным среди всех его кондотьеров, так что его потеря стала бы вполне восполнимой. В том, что Фермо не вернется живым, Чезаре почти не сомневался. Но Фермо вернулся.

А это значило, что графиня Сфорца затевала что-то действительно скверное.

— Знаешь, что она написала в том письме? — спросил вдруг Чезаре. Мичелотто неожиданному вопросу не удивился, только вопросительно поднял бровь. — Дословно не вспомню, но что-то вроде: «Я надеюсь, что Бог есть, и если это так, то пусть услышит он мои молитвы, и пусть ты сдохнешь, тварь, в самых кошмарных муках, выблевывая свои вонючие кишкы на носки твоих сапог». Немного грубовато для обращения к его святейшеству Папе, не находишь?

— Это письмо было в той коробке?

— Да, в коробке, вместе с саваном чумного. Хотела, чтобы мой отец подцепил заразу, передал ее Джулии Фарнезе, та — половине папского двора, с которой спит, а остальные разнесли по всему городу. Об этом госпожа графиня тоже написала в письме в самых доходчивых выражениях.

— К слову, мессир, — оживился молча слушавший до той минуты Фермо. — Я слышал эту историю, но не знаю, что потом случилось с этой коробкой?

— О, да ничего особенного. Ее тотчас сожгли. Того, кто открыл ее, тоже, конечно, сожгли, мы ведь не могли рисковать распространением чумы по Риму. Теперь отец куда тщательнее организовывает предварительную проверку своей корреспонденции, — Чезаре поискал на земле меж своих ног соломинку почище, поднял, отряхнул и принялся рассеянно вертеть между пальцев. — Я все не мог взять в толк, на что она вообще рассчитывала, эта странная Катерина Сфорца. Ведь понятно же, что она не первая, кто пытается отравить Папу, да еще таким неуклюжим способом. Чего она пыталась добиться?

Он замолчал и сунул соломинку в рот. Его глаза, сощуренные в прорезях неизменной маски, неотрывно следили за дымом, поднимающимся из печных труб замка.

— И чего же? — не выдержал Фермо.

Чезаре выплюнул соломинку.

— Ничего. Просто она сумасшедшая стерва, и все, что она вытворяет, это просто из любви к искусству. Фермо, скомандуйте, чтобы просигналили в замок: я согласен.

Мичелotto безмолвно покачал головой. Фермо растерялся.

— Вы даже не созовете совет, мессир? Не спросите мнения ваших кондотьеров?

— А я обязан? — удивился Чезаре.

— Нет, но...

— Брось, Оливер, мы оба знаем, что они скажут. Нечего терять время зря. И так торчим тут уже две недели, так, глядишь, наши швейцарцы скоро выучат итальянский со скуки, и тогда драк в пехоте станет вдвое больше. Сигнал, говорю.

Фермо скорбно вздохнул, поклонился и исчез.

Через несколько минут над линией передовой взвились три знамени: красное, белое, снова красное. На каждом, воздев копыто для сокрушающего удара, угрожающе нагнув голову на толстой шее, переливался золотом бык. Знамена замелькали, заполоскались на ветру. С крепостных стен донесся протяжный звук горна: сигнал уведен и принят.

Чезаре встал, сладко потянулся, хрустнув позвонками.

Окинул свою армию взглядом.

Хороши, до чего же они хороши! Тысяча конников тяжелой пехоты на бронированных боевых конях с обрезанными ушами; полторы тысячи легких всадников, вооруженных мечами и короткими копьями — самая маневренная и стремительная часть папской армии, входящая во вражеский строй с фланга, как кинжал в бок ничего не подозревающего бедняги; три с половиной тысячи пехотинцев, в основном швейцарских наемников, хотя французы, испанцы и немцы среди них тоже попадались. Весь этот разношерстный сброд был просто толпой волосатых смутиянов в безвольных руках бестолочи Хуана, да покоится он с миром. Стоило взять их в железный кулак и встряхнуть хорошенъко, дать дело, добычу, напомнить о дисциплине и обуздать пороки — и в распоряжении

нового гонфalonьера оказалась сильная, хотя и несколько разнородная армия, перед которой большинство городов раскрывало ворота без боя, сраженные одним ее видом. Особую значительность ей придавал артиллерийский отряд Вито Вителли, состоящий из дюжины мортир и фальконетов, которые, впрочем, нечасто доводилось пускать в ход. На этой войне Чезаре лишний раз убедился, что способность завораживать видом и пускать пыль в глаза внушительной наружностью порой стоит больше, чем истинная сила, стоящая за всей этой мишурой. Вот и графиня Сфорца, судя по всему, наконец прониклась величием папской армии, сделавшей честь Форли в намерении присоединить его к расширяющимся владениям папской области. Вся Романья, говорил Чезаре отец, вручая ему гонфalonьерский жезл, вся Романья от Имолы до Маджони должна лежать у твоих ног к концу следующего года. И когда ты сделаешь это, тогда, сын мой, мы поговорим о Франции. О, мы многое тогда припомним нашим друзьям французам, как и всем прочим друзьям, присылающим нам в подарок чумные саваны.

«Да, отец», — в восторге отвечал Чезаре, и сердце его колотилось, как в двенадцать лет, когда он впервые схватил фигурку быка, серебрящуюся в траве.

Кстати. Фигурка.

Под пристальным взглядом Мичелотто Чезаре встал и скрылся в своей палатке. Достал походный сундучок, в котором хранил золотые монеты и драгоценности на случай, если обстоятельства сложатся против него и придется немедленно спасаться бегством. Побег из-под стражи короля Карла и последующее путешествие босиком за двести лиг слишком хорошо отложились в его памяти. Он оглянулся, удостоверяясь, что в палатке один, и открыл в сундучке потайное дно. Подцепил шнурок, закрутившийся на пальце, поднял быка, мутно блестевшего в полумраке. Лукреция просила, чтобы он не надевал быка слишком часто, чтобы вообще не прикасался

к нему сверх особой необходимости. «Что ж, такая необходимость настала, прости, сестренка», — подумал Чезаре и, надев быка на шею, спустил под панцирь. Неведомый металл негромко стукнулся о железо, издав низкий, мягкий, почти неразличимый звук. Густой, словно кровь...

...кровь побежала быстрее по жилам Чезаре. Он вдохнул, не пытаясь замедлить ее бег. Откинув полог и стремительным шагом пошел через лагерь вперед. На пути ему встретился кто-то, что-то ему сказал, но Чезаре не увидел и не услышал. Он шел, чтобы взять для своего отца Форли.

Он дошел до середины луга, когда мост начал медленно опускаться. Солнце стояло над стенами замка, близясь к зениту, и Чезаре, щурясь, уже мог разглядеть желтую пыль, клубившуюся в крепостном рву, опоясывающем замок. Лето выдалось засушливым, большинство колодцев в окрестностях пересохло, и защитникам замка, должно быть, приходилось тяжко. Но они не поэтому сдаются, думал Чезаре, выбивая по дошвами пыль из сухой земли. Они бы скорее предпочли умереть там и съесть своих мертвецов, обстреливая недостижимый для их пушек вражеский лагерь до тех пор, пока у них не кончатся ядра. Чезаре зорко поглядывал на бойницы, стараясь вовремя заметить вспышку, чтобы упасть наземь прежде, чем припасенное для такого случая ядро снесет ему голову. Но все было тихо, только раскаленный воздух мутнел и дрожал над нагретыми солнцем камнями. Чего же ты хочешь, Катерина Сфорца? Ведь не мести же за твоего непутевого кузена Джованни, отвергнутого Лукрецией — нет, ты слишком сильная и гордая, и наверняка презираешь его не меньше других, а то и больше, ведь он опозорил твое имя. Все теперь смеются, заслышиав имя Сфорца. И это злит тебя, верно? Просто-таки бесит, так, что темнеет в глазах.

И что ты должна теперь сделать, чтобы имя Сфорца стало вызывать не презрительный смех, а трепет? Убить Чезаре Бордджа? Или...

Время вышло: нога Чезаре ступила на бревна подъемного моста. Доски хрустнули под кованым каблуком, подались и заскрипели. Рассохшиеся от времени, такие же старые, как побитое ржавчиной железо, которым была облицована внешняя сторона ворот. Эта жалкая преграда не выдержала бы и пяти ударов тараном, но, пока в гарнизоне замка оставались ядра, подобраться к воротам невозможно. Вернее, не то чтобы невозможно, но Чезаре не хотел пускать своих людей на пушечное мясо. Даже швейцарцев. Это бы испортило блестящую репутацию его армии, бравшей города без потерь, что, в свою очередь, позволяло брать без боя все новые и новые города...

Пыль, поднятая упавшим по ту сторону рва мостом, осела, и Чезаре наконец увидел ее.

Катерина Сфорца не была ни молода, ни прекрасна — на десять лет старше Чезаре, ей было уже под сорок, и все эти годы она сражалась, неистовствовала и проклинала своих врагов, что не добавило ни свежести цвету ее лица, ни мягкости ее угловатым чертам. Высокая, облаченная в кожаные доспехи, с рассыпанными по плечам черными кудрями, она больше походила на мужчину, чем на женщину. Но когда она подошла ближе, тоже, как и Чезаре, поставив ногу в подбитом железом сапоге на край подвесного моста, он поймал ее взгляд и поразился его пронзительному, кошачьему блеску — взгляду женщины, вышедшей на охоту и знающей, что охота будет удачной. Чезаре внезапно подумал, что, должно быть, это суровое лицо очень украсила бы улыбка. Мысль была тем более странной, что прежде он не думал так ни о ком, кроме Лукреции.

— Ваша милость! — крикнул ей Чезаре и, сдернув берет, галантно раскланялся.

Графиня Сфорца сухо кивнула в ответ, и по движению ее губ он угадал: «Герцог». Не «ваше сиятельство», никакой любезности, даже в ответ. Ее лицо оставалось суровым

и неподвижным, когда Чезаре, выждав еще немного и поняв, что она не собирается двигаться с места, пошел вперед, гадая, как должен звучать ее смех, если она хоть когда-нибудь смеется.

Он никогда никому не признался бы в этих мыслях — слишком неуместны и ветрены они были. Но именно эти мысли, именно то, как зачарованно Чезаре разглядывал эту женщину — именно это его и спасло. Он не заметил бы ее улыбки — слабой, холодной тени, скользнувшей по лицу, как случайный луч солнца скользит по выбеленной стене зимним днем, — не заметил бы, если бы не искал. Но он заметил.

И понял — за мгновение перед тем, как стало поздно. Он крутанулся на месте так, что чуть не упал, зацепился носком сапога за криво обструганную доску, прыгнул... но опоздал, совсем чуть-чуть опоздал: мост, скрипя проржавевшими цепями, поднимался, дощатый настил кренился под ногами, становясь все круче с каждым мгновением, и по нему уже невозможно было вернуться назад. Ветер дул с юга, но если бы переменился, то донес бы до Чезаре встревоженный гул и крик, поднявшийся в его лагере, среди его огромной, непобедимой армии, оставшейся так далеко.

Катерина Сфорца смеялась.

Ну и дурак же ты, Чезаре Борджиа. Правду сказала твоя сестра: эта чертова фигурка совсем лишила тебя рассудка.

«Рассудка, может, и лишила, но не сил», — подумал Чезаре. В глазах темнело от подступающего, уже хорошо знакомого бешенства. Это бешенство с каждым годом делалось все сильнее, черная пелена — все непрогляднее, потому продолжить мысль он уже не смог. Бык жег огнем его грудь сквозь ткань рубашки, надетой под панцирем. Под заливистый смех Катерины Сфорца — заткнись, стерва, хорошо смеется тот, кто смеется последним, — Чезаре прекратил бесплодные попытки зацепиться за край поднимающегося моста, разжал руки и скатился вниз, к площадке, за которой ощеривались

зубастой решеткой ворота замка. Сфорца стояла там. Она отступила, когда мост стал подниматься, и уже подняла руку, готовясь отдать команду своим людям броситься к Чезаре и схватить его. Но на сей раз он ее опередил. Ворот, на который наматывались канаты, был вне его досягаемости, но он видел железные цепи, прикрепленные к дальнему краю моста, старые, ржавые цепи, стонавшие под натиском ворота. Чезаре рванулся к ним, схватил, стискивая в кулаке. Нагретая солнцем сталь обожгла ладонь. Он стиснул зубы, зажмурился. И рванул.

Механизм ворота громыхнул вверху. Кто-то оглушительно взвизгнул, потом заорал, получив по лицу сорвавшейся рукоятью. Подъемный мост, страшно скрежеща, накренился вниз, увлекаемый собственным весом, и криво застыл на одной цепи, покачиваясь над рвом. Этого было достаточно, теперь Чезаре мог добежать до края и спрыгнуть на твердую землю по ту сторону рва. Но не этого он хотел. Пульс разрывал ему виски. Уже не бегом, а шагом он оказался возле второй цепи и схватил ее, как первую, натягивая на кулак. Цепь лопнула, оставив в его руке толстое стальное звено. Чезаре, не глядя, бросил его на землю, туда, где, как он помнил, стояла Катерина Сфорца. Он слышал, как она что-то кричала, проклиная своих солдат. Какой-то частью сознания, еще способной думать, Чезаре и сам удивился, почему они до сих пор не бросились на него. Но другой частью, той, что отдалась во власть быка, он знал ответ.

Он повернулся, намереваясь сказать этой подлой женщине, чтобы готовилась к смерти. Но рот не раскрылся для членораздельной речи: вместо этого верхняя губа вздернулась, словно в оскале, низкий, раскатистый рев вырвался из горла и ударился о замшелые стены. Казалось, замок покачнулся от этого рева.

Задрожала земля. Дрожь нарастала, и Чезаре узнал свою легкую конницу, так, как влюбленный узнает суженую по

звуку шагов. Герцог Гравина, командовавший конницей, не стал ждать возвращения гонфalonьера — еще бы, ведь в лагере отлично видели, что произошло. И если защитников замка это зрелище повергло в шок и оцепенение, то армия Чезаре Борджа, напротив, лишний раз убедилась, что человека, ведущего их по земле Романьи, ведет сам Бог.

Бог или бык. Есть ли разница? Чезаре не знал. И знать не хотел.

Под нарастающий конский топот он обнажил меч и ринулся в арку ворот.

По упавшему мосту папское войско ворвалось в замок Катерины Сфорца. Защитники крепости успели сбросить решетку, но она продержалась недолго под натиском тарана. Никто не ждал, что бой завяжется так внезапно, штурм стал неожиданностью как для самих нападающих, так и для защитников крепости — и в большей мере для последних, слишком уверенных в хитрости своей хозяйки, чтобы предвидеть такой поворот. Пока легкие конники Чезаре топтали солдат Сфорца у ворот, остальные защитники крепости в панике метались по стенам, поливая осаждающих кипятком и горячим маслом — вот только ни то, ни другое не успели нагреть как следует, так что только сильней разъяряли врага, а не сдержали его. Громыхнула мортира, за ней — аркебузный залп: со стен крепости беспорядочно палили по человеческой лавине, катившейся на замок, лишь едва прореживая ее. Исход штурма был ясен с первой минуты, и осаждающие дрались от отчаяния, как загнанные в ловушку звери, которым так и так умирать, но лучше сделать это, огрызаясь.

Чезаре не принимал участия в командовании битвой. Позже, много позже он узнал, что именно в этом безумном, спонтанном штурме герцог Гандина, принявший на себя инициативу и отдававший приказы всем подразделениям папской армии, приобрел слишком большое влияние на остальных кондотьеров. Пока Чезаре был там, в шаге от смерти или позорного

плена, Гандина в мгновение ока провел рекогносцировку и бросил войска на штурм; а Чезаре, видя перед собой сквозь чернеющую пелену только стены, лошадиные морды и человеческие тела, шел вперед, прорубая себе путь мечом. Его панцирь обагрился кровью, золотые рога быка, выгравированного на железе, отливали красным. Чей-то меч просвистел у Чезаре возле виска, чуть не отрезав ухо. Это на мгновение прояснило его разум, напомнив, кто он и где находится. Кто-то истошно заорал с ним рядом, вопль сменился хрустом костей. Чезаре гордился тем, что шел по Романье завоевателем, почти не проливая крови. Сейчас он был посреди бойни. И, что самое отвратительное — бойни, которую начал не он.

— Стоять! — заорал он, набрав полную глотку воздуха. Бык заревел, долбя копытом в его грудь. — Стоять, сукины дети!

Не сразу, но битва вокруг затихла. Несколько особенно рьяных драчунов продолжали лупцевать друг друга, но после пары смачных ударов и пронзительных воплей утихомирились и они. Стоя среди порубленных и стонущих тел, в скользкой луже крови — конской ли, человечьей, никто не смог бы сказать, — Чезаре поднял меч над головой.

— Защитники Форли! Вы отчаянные люди, но я не хочу вашей смерти. Город сдался, мы внутри, и бой может длиться, пока не умрете вы все, или прекратиться прямо сейчас. Что вы выбираете?

Кто-то рядом с ним тяжело дышал, кто-то вылезывал собственные кишки, кто-то тихо, сосредоточенно, безостановочно матерился. Многие стонали. Чезаре увидел Гандину, на удивление чистенького и подтянутого, словно не в бою, а на парадном выезде. Он натягивал на руку перчатку, оброненную в бою, и кривил рот в усмешке, очень не понравившейся Чезаре. Но это потом. Сейчас он хотел прекратить резню, иначе следующий город куда как менее охотно откроет ворота перед папской армией.

Один из солдат, только что сразивший швейцарца Чезаре, крякнул и бросил на землю меч. Сверху, с галереи, упало копье, за ним полетели арбалеты, кинжалы и аркебузы. Вскоре посреди двора выросла груда оружия. Сдавшие его защитники замка сгрудились у стены, подозрительно поглядывая на захватчиков. Они слышали, конечно, о справедливости Бордджа. И как бы ни хотелось Чезаре повесить их всех, он не мог себе этого позволить. По крайней мере, не сейчас.

— Вам всем даруется жизнь, — объявил он, и, когда радостный, хотя и не очень уверенный гул утих, добавил: — Теперь мне нужна Катерина Сфорца. Где она?

Все завертели головами. Чезаре кольнула неприятная мысль, что этой лживой собаке, заманившей его в ловушку, удалось уйти. В таких замках, как этот, все подземелья испещрены потайными ходами...

— Где Катерина Сфорца? — повысив голос, крикнул Чезаре. — Сто дукатов золотом тому, кто доставит мне ее сейчас же живой или мертвый!

— Да здесь она, здесь, — спокойно проговорил голос Мичеллотто чуть ли не над самым его ухом. — Куда ж она денется.

От удара, нанесенного им графине между лопаток, женщина со стоном упала на колени. Ее волосы растрепались, глаза горели диким огнем, на кожаных доспехах темнели черные разводы. Она тоже дралась, и дралась люто, и люди ее, быть может, сражались так отчаянно не из преданности, а потому, что ее ярость воодушевляла их, передавалась им, словно мор.

— Ну что, сударыня, — сказал Чезаре, глядя на нее сверху вниз. — Не окажете ли мне честь скрестить с вами оружие?

Катерина взглянула на него из-под спутанных волос, проверяя, не насмехается ли он над ней. С этим бешеным взглядом, всклокоченная, с грязью на щеках и лбу, она была похожа на лесную ведьму, из тех, которых сейчас так охотно жжет на кострах испанский король Фердинанд.

— Дайте ей меч.

— Ваша светлость... — начал Оливер да Фермо, и Чезаре повторил:

— Меч!

Мичелотто наклонился, выуживая из груды сваленного железа первый попавшийся бастард. Чезаре не стал разглядывать его, заметил только на гарде змея, обвивающего дуб — герб Орсини. Бросил бастард женщине, и та, взвившись на ноги, словно кобра в прыжке, поймала меч на лету. Мгновение — и она с той же сверхъестественной ловкостью прыгнула вперед, прижав лезвие к шее Чезаре.

— Дурак, — выплюнула она. — Самодовольный кретин. Ты решил, раз я женщина, это тебя спасет? Напрасно, тварь!

Чезаре улыбнулся. Лезвие бастарда трепетало у его яремной вены, он видел в глазах Катерины неистовое торжество и знал, что она тянет лишь затем, чтобы увидеть изумление, а может, и страх в его глазах. И долю мгновения даже жалел, что не может дать ей то, чего она хочет. Она была так удивительно хороша.

Все еще улыбаясь, хотя в глазах снова темнело и уши заложило изнутри, словно забило липкой патокой, Чезаре обхватил ладонью лезвие меча, упиравшегося ему в горло. Меч тут же пропорол ему кожу, рассек мясо, уперевшись в кость, кровь покатилась по локтю под рукав. Не чувствуя боли, глядя в расширившиеся глаза Катерины Сфорца, Чезаре нарочито медленно, так, чтобы видели все, согнул лезвие, словно это была соломинка, одна травинка из тех, что разметало его войско по свежескошенному лугу. Лезвие переломилось, лопнув с негромким хлопком. Чезаре отбросил его, как раньше отбросил цепь подвесного моста, и с усмешкой посмотрел в побелевшее лицо женщины, отступающей с обломком меча в поникшей руке.

— В подземелье ее. И в цепи, — сказал он. Женщину тотчас сгребли. Она не сопротивлялась. Чезаре пристально посмотрел на нее и добавил, так тихо, чтобы только она одна могла

услышать: — Ты решила, раз ты женщина, это тебя спасет?
Напрасно. Тварь.

Как можно было легко заметить, графиня Риарио-Сфорца не отличалась ни кротостью нрава, ни чрезмерной снисходительностью к своим врагам. Поэтому неудивительно, что подземелье ее замка оказалось прямо-таки переполнено грязными, ободранными, оголодавшими до почти полного сумасшествия людьми, каждый из которых имел неосторожность вызвать гнев госпожи графини. Имелись среди них и лакеи, и конюхи, и горожане Форли, и даже кто-то из местных мелких баронов — разбираясь со всем этим отребьем Чезаре было недосуг, поэтому он распорядился выпустить всех скопом. Бывшие пленники встретили амнистию, объявленную новым хозяином, единодушным воплем — никто из них уже не чаял увидеть солнечный свет. Но радость устроилась, когда мимо них, уже свободных, вызванных из душных казематов, протащили обмякшую, на себя не похожую графиню, которой суждено было занять теперь место своих невольных постояльцев. Доспехи с нее сорвали, сапоги стащили, оставив только разодранную рубашку, почти не скрывающую груди, и короткие пажеские штаны. На поясе, следуя приказу герцога Валентино, замкнули тяжелое стальное кольцо, соединявшееся со стеной короткой цепью. Так, на хлебе и воде, ей предстояло ждать скорого и справедливого суда герцога Валентино. Суд назначили на следующее утро.

Но Чезаре в ту ночь не спалось. Пировать не стали, чтобы не вызвать недовольства солдат, которых остановили посреди победной атаки и не дали разграбить богатые графские покой. К тому же Чезаре, как и всегда, строго-настрого запретил насиливать здешних женщин. Он хорошо помнил долгие, в высшей мере занимательные разговоры с хитрым флорентийцем Макиавелли и его советы, полезные вся кому, кто хочет стать истинным государем не только по праву силы, но и в сердцах

своих подданных. Ты можешь отнять у сопротивляющегося врага его жизнь, но его имущество и его женщины неприкосновенны — только тогда он сдастся на твою милость, только тогда примет тебя и полюбит. Странно, но отчего-то Чезаре хотелось, чтобы его любили. Если не собственный отец-интриган, если не вечно холодная мать, если не сестра, дразнившая его и никогда не дарившая ничего нежнее холодного сестринского поцелуя — если не они, то пусть хотя бы жили тех земель, которые он бросит к ногам той вечно голодной твари, которая звалась семьей Борджа.

Он проворочался до первых петухов, потом встал, накинул камзол и, пройдя мимо спящего в кресле Мичелотто, спустился по винтовой лестнице в подземелье. На страже стояли двое швейцарцев, хорошо показавших себя в битве; Чезаре вручил каждому по кошелью с золотом и отправил наверх, проветриться. Обрадованные возможностью выбраться из каменно-го мешка, порядком поднадоевшего им за ночь, швейцарцы с благодарностью удалились.

Чезаре взял с колченого столика, на котором валялись игральные кости и свечные огарки, связку ключей, и не торопясь пошел вдоль пустующих камер к самой дальней, где, свернувшись, как драная кошка, на голых камнях лежала Катерина Сфорца.

Отпирая решетку, Чезаре увидел, как она вздрогнула, но не пошевелилась. Он вошел, поставив заплывший огарок в оловянном подсвечнике прямо на пол, рядом с нетронутой коркой черного хлеба, который Катерине бросили днем. Чепреки глиняной плошки валялись рядом, в лужице разлитой воды. Чезаре сдержал усмешку. Ничего другого он и не ждал.

Он подошел к женщине и отпер железный пояс, сдавливающий ее тело.

— Благородная Катерина, знаете ли вы, что будет, если вы, ввиду вашего бурного темперамента, сейчас наброситесь на меня? — спросил он самым миролюбивым тоном.

Она откинула волосы со лба грязной, покрытой ссадинами рукой, и посмотрела ему в глаза.

— Я перегрызу тебе глотку, Борджа, — ее горло, давно лишенное воды, пересохло, и голос звучал хрипло. — Во всяком случае, постараюсь.

— Вижу, наша небольшая стычка во дворе ничему вас не научила. Я быстрее вас. И сильнее. И если вы в самом деле броситесь на меня, я сделаю с вашими длинными прелестными ручками то же, что сделал с вашим мечом. Сломаю, а может быть, попросту оторву и выброшу, прелестная Катерина. Что за гнусная участь для такой отважной, незаурядной женщины...

Она промолчала. Чезаре разглядывал ее, пытаясь понять, как до нее достучаться. Он не хотел ее ломать, но и такой, гордой, непокоренной, видеть на суде, который состоится всего через три часа, тоже не хотел. Среди его военачальников и так что-то развились слишком вольные настроения, взять хоть герцога Гандину, который вчера вел себя так, словно это он тут гонфalonьер. Если он, да и другие, поймут, что Чезаре не может справиться с какой-то сумасшедшей бабой, все это может очень дурно сказаться на его авторитете.

Думай же, думай. Раньше это всегда неплохо у тебя получалось. Или Лукреция права, и этот треклятый бык действительно делает тебя непроходимо тупым? Чезаре стиснул зубы, рассерженный самой этой мыслью. И запоздало понял, что Сфорца все еще смотрит на него, неотрывно, жадно, словно пытаясь прочесть в его глазах сомнение — именно то, чего там как раз сейчас было предостаточно.

— Хочу спросить, — внезапно сказала она. — Что под маской? Действительно гнилые язвы от сифилиса, как говорят, или...

Катерина умолкла, выжидающе выгнув бровь. Эта простая, бесхитростная, удивительно женская уловка так поразила Чезаре, что он едва не расхохотался. Ну конечно! Боже,

он в самом деле стал тugo соображать, если сразу не сообразил. Она ведь женщина. Как бы она ни ненавидела его семью, как бы ни умело дралась — она женщина больше и прежде всего. А сломать женщину, разбить женщину вдребезги очень легко. Все они сделаны из стекла.

— Я могу показать, — проговорил он после долгой дразнящей паузы. — Я уже много лет не снимал маску ни перед кем, кроме своей сестры, но вам, прелестная Катерина, могу показать. При одном условии.

— При каком?

— Вы поцелуете меня, что бы ни увидели.

Катерина Сфорца рассмеялась. Не тем глумливым, торжествующим смехом, который Чезаре уже слышал вчера, когда она решила, что сумела завлечь его в свои сети. Теперь она снова так решила, но смех на сей раз звучал иначе: низкий, грудной, запаливший в ее миндалевидных черных глазах новый, совсем другой огонь.

— Слово графини Сфорца, — сказала Катерина голосом, от которого у Чезаре стало жарко в паху. Он наклонил голову, потянул завязки. Бархатная маска упала ему на колени.

Он поднял голову, и тогда Катерина Сфорца плюнула ему в лицо.

Чезаре застыл. Мгновение было слышно только шипение пламени на сальном огарке и размеренный стук воды, капавшей с низкого потолка в коридоре. Потом Чезаре рванулся вперед, хватая Катерину за запястья, наваливаясь на нее всем телом, впечатывая колено ей между ног. Катерина вырывалась так, словно все демоны преисподней вселились в ее тело, брыкалась, царапалась, даже укусила его за щеку, да так, что прокусила насквозь, и за воротник Чезаре хлынула кровь. Графине крупно повезло, что, идя к ней, Чезаре не надел фигурку — иначе в ее теле не осталось бы ни одной целой кости. Но даже без фигурки, без пьянящего, холодного, но при том странно опаляющего прикосновения к голой коже, Чезаре

все равно ощущал это бешенство. «Поздно, сестренка, поздно, поздно», — как в бреду, думал он, срывая с Катерины Сфорца остатки рубахи. Ее обнажившаяся грудь оказалась на удивление красивой, почти совершенной, почти такой же прекрасной, как грудь Лукреции. От этой мысли ярость Чезаре усилилась, окончательно застилая разум. Он нагнулся и резко сжал зубами обнажившийся сосок; Катерина дико завизжала, вывернулась и, умудрившись освободить одну руку, залепила ему такую пощечину, что он чуть не свалился на пол. Но уже через миг опять оказался на ней, заламывая руку, покрывая злобными, жестокими поцелуями ее кожу от подбородка до плеча. Он не смог уловить момент, когда она перестала вырываться и подалась ему навстречу. Это по-прежнему было борьбой, битвой, но теперь она боролась не с ним, а за него, теперь они были на одной стороне. Сквозь черную пелену Чезаре поймал взгляд ее глаз, черных, горящих все той же ненавистью, но еще — желанием, ошеломляющим, мучительным, словно это был для них обоих последний час на земле. Чезаре ослабил хватку: теперь Катерине ничего не стоило бы окончательно вырваться, но она лишь притянула его ближе, выгнулась и вжалась в него с такой страстью, какой никогда не могла бы создать любовь, которую могла родить только ненависть.

— Сумасшедшая... стерва... — прохрипел Чезаре в ее всклокоченные черные кудри, а она засмеялась в ответ и прошептала, мазнув губами по рубцам у него на щеке:

— И все-таки я убью тебя, Борджа. Я, Сфорца, сделаю это. Твоя погибель придет из моего дома, думай об этом, когда станешь меня вспоминать.

На следующее утро графиню перевели из подземелья в ее прежние покои. Суд не состоялся: герцог Валентино объявил, что им удалось достичь полюбовного соглашения, а графиня смиренно согласилась считать себя пленницей и признать власть Борджа над городом Форли и замком. Чезаре не вidelся с ней до самого своего отбытия, состоявшегося через

два дня. Когда они расставались, на Катерине было лучшее платье из ее богатого гардероба, на нем — парадный доспех и новая, расшитая жемчугом маска. Чезаре поцеловал руку графини с короткими обломанными ногтями, вскочил в седло и отбыл, не оборачиваясь.

Он больше никогда не возвращался в Форли, а Катерина Сфорца через девять месяцев тайно родила девочку. Ее назвали Анной-Марией-Кьярой. Она была отдана на воспитание в монастырь, затем, согрешив и оставив монашкам приплод, бежала, и дальнейшая судьба ее неизвестна.

ИНТЕРЛЮДИЯ II

2010 ГОД

— Ну что вам сказать, — протянул, поправив очки, Анджело Мартелли. — Случай более чем любопытный.

Он говорил, как медицинское светило, приглашенное на симпозиум по диагностике уникального заболевания, и вид имел отчасти смущенный, отчасти торжественный. Кьяра была шапочно знакома с ним — одно время он служил лаборантом клиники, в которой работала Стелла, и даже пытался подбивать к ней клинья. Но, конечно, этот низкорослый, щупленький человечек в непомерно больших очках с толстыми стеклами не имел ни единого шанса с красоткой-медсестрой, за которой увивались щеголеватые интерны. Хотя если бы Стелла спросила мнение Кьяры, та бы сказала, что этот коротышка стоит их всех. Он, по крайней мере, знал толк в своем деле, а не просто пускал пыль в глаза.

По его воодушевленному виду Кьяра поняла, что разговор будет долгим, и, скрестив под столиком ноги — они сидели в уличном кафе, было довольно холодно, и она зябла — еще раз поблагодарила его за то, что он согласился помочь ей с этим делом.

— Ерунда, — отмахнулся Мартелли. — Правда, пришлось задействовать некоторые дорогостоящие реактивы, но это вряд ли заметят, у нас и так вечно перерасход...

Кьяра молча проглотила намек. Она и рада бы заплатить, но нечем — особенно теперь, когда выяснилось, что она в самом

деле пропустила платежный период по страховке, и разгром в квартире ей никто компенсировать не станет. На полноценную экспертизу у нее просто не было средств, и Анджело Мартелли оставался ее единственной надеждой.

— Вы обращались в полицию? — внезапно спросил Мартелли, и Кьяра, слегка вздрогнув, вскинула на него глаза.

— А стоило?

— И правильно, — неожиданно спокойно кивнул химик. Он снова поправил очки. — Знаю я этих судмедэкспертов. Выдадут вам бумажку, на которой не выписано и половины реального состава, а остальное засекретят, так в нем толком и не разобравшись. Так что вы правильно поступили, когда пришли с этим ко мне.

— Что вы выяснили? — не выдержала Кьяра — вступление начало ее утомлять.

Мартелли на мгновение обиженно скривился, но потом сдался.

— Прежде всего, вы правы, это вино пятисотлетней выдержки. Я, честно говоря, не поверил, когда вы сказали. Осколок стекла и пробковый материал выглядят старыми, но для точного анализа у меня нет необходимых ресурсов. Вам стоит обратиться в институт археологии или в Центральный реставрационный.

Кьяра кивнула. Она уже думала об этом, но сейчас ее больше интересовало само вино.

— Судя по результатам, — продолжал Мартелли, — вино действительно пробыло в этой бутылке пятьсот лет. Причем хранилось в достаточно хороших условиях: в темноте, прохладе, но заморозке не подвергалось. Обычно за такой срок, при доступе тепла и кислорода, вино превращается в уксус. Но здесь использовались природные стабилизаторы в виде специальных смол. Поэтому неудивительно, что ваша кошка лизнула его. Обычно-то кошки запах уксуса на дух не выносят, но здесь он практически отсутствовал, чтобы отпугнуть бедняжку...

— Это была не моя кошка.

— Да? Тем лучше. О чем я говорил? А, уксус. Так вот, несмотря на давность, я бы даже сказал, древность, само по себе вино все еще вполне пригодно к употреблению. Полагаю, это великолепное, с невероятно насыщенным вкусом кьянти. Правда, спирт из него практически весь выветрился, так что, в сущности, получился бы невероятно старый и дорогой компот.

— Получился бы? — уточнила Кьяра, и Мартелли победно сверкнул стеклами очков.

— Получился бы. Если бы не яд.

Кьяра стиснула ноги под столиком крепче. Мимо них прошла официантка, покосилась с неодобрением — они заказали по чашке эспрессо и не попросили оставить меню. Но Кьяра подозревала, что разговор не затягнется надолго.

— Так оно все-таки было отравлено. С самого начала, — она не спрашивала, а утверждала, и Мартелли закивал.

— Вне всяких сомнений. Причем состав яда просто удивительный. Во-первых, мышьяк. Изначально это, скорее всего, была обычная окись мышьяка, которую широко используют в ядах. Но со временем она прореагировала с белками, спиртами и альдегидами. Все продукты таких реакций еще более ядовиты, чем исходный мышьяк, так как органические производные легче усваиваются организмом. Именно это и убило так жестоко вашу кошку.

— Она не моя, — машинально повторила Кьяра, но Мартелли словно бы не услышал — он увлекся.

— Во-вторых, соли меди. Вы мне принесли образец из разбитой бутылки, но в нем успел скопиться осадок — очень характерный осадок зеленовато-голубого цвета. Скорее всего, медь использовалась как катализатор, так как сама по себе гораздо менее токсична. И, наконец, фосфор. Предполагаю, белый фосфор, хотя трудно сказать точно — он окислился и перешел в соли, но их концентрация в осадке очень велика.

Он замолчал, глядя на Кьяру с самым торжествующим видом. Потом, не увидев на ее лице ожидаемого восторга, досадливо пристукнул ладонью по краю стола.

— Вы не понимаете? Мышьяк, соли меди, фосфор! Ни с чем не ассоциируется?

— А должно? — недоуменно спросила Кьяра. Химия никогда не входила в число ее любимых школьных предметов.

— Вы бы не выиграли в викторине миллион лир, — вздохнул Мартелли. — Это же составляющие знаменитейшего рецепта. Яда всех времен. «Кантарелла», — Кьяра приподняла брови, и Мартелли закончил: — Яд Борджа.

Кьяра дернула рукой. Нетронутая чашка эспрессо подскочила, заваливаясь набок в выемке блюдца. На пластиковую поверхность столика плеснуло темной жидкостью.

— Ох. Простите, — пробормотала Кьяра, выдергивая из салфетницы бумажный клочок и промокнув пятно.

— Яд Борджа, — смакуя эти слова, проговорил Мартелли. Его взгляд стал мечтательным, оплошности Кьяры он не заметил. — Я, конечно, не дам стопроцентной гарантии, и никто не даст, потому что точный рецепт не сохранился. Известны только некоторые компоненты, но они достаточно специфичны. В те времена редко использовались сложносоставные яды, обычно все делалось проще, без затей, как правило, на чистом мышьяке и настойках ядовитых трав, вроде белладонны. Кьяра, я не собирался задавать вам этот вопрос, но теперь просто не могу удержаться: скажите, пожалуйста, где вы взяли эту бутылку?

Кьяра все еще возила мокрой салфеткой по столу. Влага с пластиковой поверхности убиралась плохо.

— Мне ее прислали, — ответила она. — В подарок.

Мартелли присвистнул, и Кьяра чуть не улыбнулась, так не вязался этот залихватский звук с обликом студента-ботаника.

— Хорошенькие же у вас друзья.

— Не думаю, что это были друзья, — сказала Кьяра и отбросила промокшую салфетку.

Мартелли снова покивал, глядя на нее сквозь толстые стекла очков.

— Вы пытались отследить отправителя?

— Еще нет. Я собираюсь сходить в банк, в котором эта бутылка, по-видимому, хранилась.

— Что за банк?

Он задавал слишком много вопросов, но с кем еще Кьяра могла поговорить обо всем этом?

— «Монте дей Паски».

— Ого! Да это ведь старейший банк Италии. Только они ничего вам не скажут.

— Почему вы так думаете?

— Сошлются на банковскую тайну. Знаете что? Я могу выписать заключение на официальном бланке лаборатории. Правда, на нем не будет некоторых печатей... — он замялся. — Но на общий взгляд, если не предъявлять его в суд, оно будет выглядеть законным. И самое главное, в нем будет написана правда. Если вы покажете этот документ администрации банка и пригрозите пойти к адвокатам, они, скорее всего, сдадутся и расскажут вам... хоть что-нибудь. В конце концов, вы имеете полное право предъявить им иск за пособничество в покушении на убийство.

Кьяра слушала, удивляясь его рассудительности. Странно, что такому человеку могла нравиться Стелла. А может, как раз наоборот, ничего странного. Интересно, зачем он ей помогает?

— Я очень признательна вам, Анджело. Правда.

— Да ладно, — он махнул рукой, другой снова поправляя очки. — Это было самое интересное мое дело за последние годы два, так что...

Кьяра поднялась. Мартелли торопливо встал вместе с ней, и когда она раскрыла сумочку, чтобы достать кошелек и расплатиться, вытащил из кармана несколько мятых банкнот.

— Я хотел сказать, — откашлявшись, проговорил он. — Мне очень жаль вашу сестру. Примите мои соболезнования.

«Она нравилась ему? — подумала Кьяра, не пытаясь поймать его бегающий взгляд. — Да. Нравилась. Но он ее не любил. Это хорошо, Анджело, для тебя это хорошо».

— Спасибо, — сказала она. — За все.

И ушла, оставив на мокром пластиковом столике две тысячи лир за кофе.

Мартелли оказался прав: поначалу в «Монте дей Паски» с Кьярой не пожелали иметь дела. Прежняя Кьяра, не та, что два месяца и неделю назад похоронила свою сестру на кладбище Фламинио, стушевалась бы и ушла, подавленная напыщенным великолепием тяжелых ламп в бронзовых светильниках, сверкающими мраморными полами и непробиваемо вежливой улыбкой администратора, выразившего свои глубокие сожаления в связи с тем, что ничем не может ей помочь. Если бы она вела себя немного более уверенно, а лучше — вызывающе, если бы дала им почувствовать, что за ней стоит хоть какая-то сила, они бы не посмели так запросто выставить ее за дверь. Но ничего этого у Кьяры не было, потому она ушла. Ушла, а по дороге домой заглянула на почту и отправила генеральному директору банка «Монте дей Паски» письмо с копией лабораторного заключения Мартелли.

Ей позвонили через день, когда она, стоя на коленях в гостиной, отмывала пол от кошачьей рвоты. Мартелли посоветовал ей воспользоваться для такой цели специальными перчатками для работы с химикатами, и она так и сделала. По правде, будь у нее хоть какой-то выбор, она бы вообще не стала возвращаться в эту квартиру. Но арендный взнос оплачен до конца года, и сейчас у нее не было денег, чтобы подыскать новое жилье.

Телефон тренькал долго и терпеливо, пока Кьяра поднялась с колен, снянула перчатки и сняла трубку.

— Синьора Лиони? Вас беспокоит секретарь синьора Энриарти. Меня зовут Лусия.

— Добрый день, Лусия, — сказала Кьяра, бросая перчатки в ведро с грязной мыльной водой. — Я ждала вашего звонка.

На следующий день она сидела в неприлично огромном кабинете на последнем этаже римского отделения банка «Монте дей Паски» и мешала серебряной ложечкой кофе, от одного запаха которого голова шла кругом. Лусия, миловидная девушка с высушенными волосами, безжалостно стянутыми в строгий узел на затылке, улыбнулась, ставя перед ней тарелочку с печеньем. Пабло Энриарти тоже улыбался, сцепив пальцы в замок поверх лакированного дубового стола. Ткань его костюма лоснилась и казалась надраенной до блеска, как полы в его банке.

— Мы получили ваше письмо, синьора Лиони, — начал Энриарти, когда секретарша вышла, закрыв за собой дверь. — И прежде, чем начать этот непростой разговор, хочу выразить глубокую признательность в связи с тем, что вы обратились сначала к нам, а не в полицию... Ведь вы не обращались еще в полицию, не правда ли?

Он превосходно владел собой, и все же в последних его словах Кьяра уловила тень напряжения. Похоже, дело куда серьезнее, чем она предполагала.

— Еще нет, — выдержав паузу, сказала она. — Хотя все основания для этого у меня есть.

— О, несомненно! Мой администратор, с которым вы говорили позавчера, пересказал мне суть ваших претензий. Просто невероятно. Простите, что я не смог сразу принять вас — меня не было на месте, и к тому же пришлось провести некоторое внутреннее расследование...

Кьяра сухо кивнула. Выпроваживая ее, администратор ни о каком расследовании не обмолвился и словом.

— Дело оказалось чрезвычайно запутанным, — продолжал Энриарти. — Как вы понимаете, мы банк, а не курьерская служба. Более того, мы старейший банк не только в Италии,

но и во всем мире, основанный еще в 1472 году. У нас есть определенная репутация, которой мы весьма дорожим. Именно благодаря этой репутации к нашим услугам прибегают подчас весьма незаурядные клиенты. И их просьбы иногда бывают такими же незаурядными, как они сами.

Он замолчал и, взглядом спросив у Кьяры разрешения, закурил сигару. Запах кубинского табака смешивался с ароматом бразильского кофе, и это так не походило на вонь, третий день стоявшую в квартире Кьяры, вонь мочи, кислоты, разложения, которую она никак не могла вывести, хотя выпрыскала целый баллончик освежителя воздуха.

— В нашем банке, — возобновил свой рассказ Энриарти, — существует возможность бессрочного хранения собственности. Эта услуга доступна не всем клиентам, она относится к разряду VIP-услуг и соответственно оплачивается. В данном случае бессрочное хранение следует понимать буквально. Вы можете — условно говоря, простите, синьора, — итак, вы можете арендовать у нас ячейку, поместить в нее нечто важное и быть уверены, что она останется там до тех пор, пока стоит мир или, по крайней мере, пока существует наш банк.

«Очень скромно», — подумала Кьяра. Мысль, наверное, отразилась у нее на лице, потому что Энриарти надменно усмехнулся.

— Как я сказал, это VIP-услуга. Простым гражданам такое обычно не требуется. По одному из пунктов договора с банком, клиент может переадресовать свой вклад по истечении определенного срока — например, пятидесяти лет, либо после своей смерти. Это весьма надежный способ передать наследство, минуя некоторые бюрократические сложности.

Под бюрократическими сложностями он, вероятно, имел в виду налог на наследство, и Кьяра снова промолчала. Энриарти попыхтел сигарой, потом слегка наклонился вперед.

— Я рассказываю все это вам, чтобы вы поняли, что в действиях нашего банка нет и не могло быть злого умысла. Согласно

банковской тайне, мы не знаем, что хранится в ячейке. Но ваш случай, синьора Лиони, совершенно особый. Он берет начало в те времена, когда наш банк был еще совсем юным, мы выполняли самые разнообразные поручения и заключали самые разные сделки, когда за ними стояли люди, от чьей воли зависело само существование банковской системы в Италии. Ломбардцы, как и евреи, никогда не пользовались особой любовью римской знати и уж тем более любовью Ватикана, хотя регулярно ссужали средствами и тех, и других. Поэтому любая просьба от члена семьи, обладавшей в то время властью, неукоснительно выполнялась, даже если не вполне отвечала этике деловых взаимоотношений.

Энриарти затушил сигару. Кьяра ждала, молча сидя над своим остывающим кофе.

— Съешьте печенье, — предложил Энриарти. — Его пекла Лусия. У нее золотые руки.

Кьяре вдруг невыносимо захотелось сказать что-нибудь вроде: «Все еще не оставляете надежды меня отравить?» Желание было таким сильным, что она чуть не зажала себе рот ладонью, боясь, что слова сами слетят с языка. Но что-то в ее лице, все же промелькнуло, и приветливый огонек в глазах Энриарти погас.

— Что ж, как угодно. Тогда мне остается перейти к главному.

— Будьте так любезны, — не удержалась Кьяра, и Энриарти вздохнул.

— На самом деле все это прозвучит довольно странно. Нам пришлось поднять старые архивы, чтобы докопаться до сути. Похоже, что дело обстояло так. В 1503 году некая особа, принадлежащая к весьма могущественному роду, пришла в наш банк и принесла бутылку вина — запечатанную бутылку кьянти. Обращаю ваше внимание, что в те времена вина в бутылки помещали крайне редко, предпочитая бочонки — стекло было слишком дорогим. Но в бутылках вино сохраняется гораздо дольше. Эту бутылку упомянутая особа поместила

на бессрочное хранение с дополнительным указанием — держать его, сколько понадобится, а затем вручить женщине по имени Кьяра Лиони. В архиве есть уточнение... да вот, взгляните сами.

Он протянул ей лист пергамента, такой тонкий, что казалось, будто он вот-вот рассыплется в руках. Кьяра взяла его и тут же положила на стол, боялась переломить. Текст оказался написан на латыни, которую она изучала в университете, поэтому поняла если не все, то большую часть.

Суть документа сводилась к детальному описанию ее внешности: высокий рост (хотя она не такая уж и высокая, всего метр семьдесят), прямые черные волосы, черные глаза, широкие скулы, нос с небольшой горбинкой в области переносицы, тонкие губы, под нижней — круглый шрам... Прочтя про шрам, Кьяра невольно тронула его пальцем. Это был след от пирсинга — дурацкая выходка, на которую она решилась в первый год учебы в Ла Сапиенца, пытаясь произвести впечатление на сокурсника.

Но ведь... это же невозможно.

— Документ подлинный? — спросила Кьяра, и Энриарти кивнул.

— О да. Можно провести экспертизу, за ваш счет, разумеется, но заверяю вас, что документ подлинный. Он составлен самим Винченцо Тарлеоди, одним из основателей «Монте дей Паски» и, в те годы, его главным управляющим. К этой сделке подошли очень, очень серьезно, учитывая имя заказчицы.

— И как же ее звали? — спросила Кьяра, чувствуя, как гулко бухает в горле сердце.

— Лукреция Борджа.

Кьяра, не удержавшись, ахнула.

— Какое-то безумие! Синьор Энриарти, вы сами-то понимаете, что говорите? Пятьсот лет назад одна из самых знаменитых отравительниц в истории оставила вашему банку бутылку, чтобы ее вручили какой-то женщине с моим именем

и похожей на меня — а вы ждали половину тысячелетия, чтобы такую женщину найти?!

— Это не какая-то женщина, — уверенно сказал Энриарти. — Это именно вы. Переверните пергамент, там есть еще кое-что.

Кьяра перевернула. С другой стороны, другим почерком и другими, расплывшимися чернилами было дописано: «Упомянутая Кьяра Лиони происходит из рода Сфорца от графини Катерины Риарио-Сфорца». И еще ниже, снова другой рукой: «Ждать столько, сколько понадобится».

— Как видите, указание вполне ясное, — бесстрастным голосом, никак не реагируя на замешательство Кьяры, сказал Энриарти. — На протяжении нескольких веков сотрудники нашего банка тщательно отслеживали генеалогию семьи Сфорца. Что было, с одной стороны, несложно, так как это одна из знаменитейших фамилий Италии. С другой стороны, фамилия очень сильно разветвилась, к тому же Сфорца, как и многие в те времена, активно делалиbastardов. Сейчас это семейство насчитывает несколько тысяч потомков, разбросанных по всему миру. И скажу откровенно, примерно лет через сто дело Лукреции Борджиа стали понемногу подзабывать. Среди Сфорца не появлялось женщин, подходящих под указанные приметы, и хотя каждое новое поколение руководителей, принимая бессрочные дела, назначало ответственного за поиски человека, со временем это отошло на задний план. Я не знаю, синьора Лиони, кто и как обнаружил ваше дело спустя столько времени. В нашем банке более пяти тысяч сотрудников, и среди них есть истинные фанатики своего дела. Кто-то зарылся в архивы, стряхнул с них пыль — и, возможно, узнал вас по описанию. Если задуматься, это просто роковая случайность.

— То есть вы хотите сказать, что не нанимали частного детектива и не разыскивали меня целенаправленно?

— Помилуйте! — Энриарти возмущенно взмахнул руками. — Настолько бесцеремонное вмешательство в частную

жизнь совершенно неприемлемо для банка с нашей репутацией. Это могло бы неправильно ее испортить.

— А то, что вы попросту забыли о, как вы это называете, VIP-услуге для особого клиента, больше соответствует вашим принципам?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы мне не верите. Скажу откровенно, если бы я сам обнаружил это дело раньше, то встал бы перед тяжелой дилеммой. Мне требовалось бы разыскать вас, или хотя бы попытаться, но сделать это, не нарушая ваших конституционных прав, было бы невозможно. Какая досада, что в начале XVI века не существовало конституционных прав.

— Зато уже существовал мышьяк.

Энриарти скривился так, словно сам только что отхлебнул от подарка Лукреции Борджа.

— Синьора, мне действительно очень жаль. Если вы пришлете к нам вашего адвоката, мы сможем обсудить вопрос моральной компенсации по этому досадному случаю. Но дело, согласитесь, удивительное. А самое удивительное в нем знаете что?

— Что?

— То, что в документе пятисотлетней давности указано ваше точное описание. И не только врожденные, фенотипические признаки, но и приобретенные, как шрам... простите. Но вы понимаете, что я хочу сказать? Предположим, что Лукреция Борджа знала кого-то из Сфорца, кто был очень похож на вас. Предположим, она предполагала, что этот человек свою внучку или правнучку собирается назвать Кьярай. Но как она могла знать, что у этой Кьяры однажды появится маленький шрам под нижней губой? И почему не сказала не только где, но и когда эту женщину искать?

— Может, она могла видеть будущее? — нервно улыбнулась Кьяра.

Энриарти не улыбнулся в ответ, и ее улыбка застыла. Не может же он... то есть... не верит же он в самом деле?

— Вы не верите в мистику, не так ли? — усмехнулся Энриарти — все-таки этот мошенник отлично умел читать лица людей. — Я тоже особо не верил в вашем возрасте. Это очень странная история, синьора Лиони, очень странная. Я рад был бы помочь вам, не только потому, что здесь замешана честь «Монте дей Паски», но и потому, что это, пожалуй, самая невероятная вещь, происходившая на моих глазах за те двадцать пять лет, что я управляю этим банком. У нас бывало всякое, но такое...

— Вы уверены, что это была именно Борджа? — спросила Кьяра. Почему-то эта часть истории показалась ей чуть ли не наиболее дикой. — Сама Лукреция Борджа, та самая...

— Разве в истории была еще одна?

Кьяра помолчала. Кофе совсем остыл, печенье Лусии сиротливо лежало на блюдце.

— А погром? — внезапно спросила Кьяра, резко поднимая голову.

Энриарти казался искренне удивленным. Впрочем, искренность банкира стоит не дороже, чем клятва наркомана «заязать».

— Какой погром?

— Погром в моей квартире. В тот же день, когда вы через курьерскую службу прислали мне это проклятое вино.

— Какой ужас! Я ничего об этом не знаю. Вам все-таки следует заявить в полицию.

— То есть вы думаете, что это никак не связано?

— Не имею ни малейшего представления, синьора.

Он то ли в самом деле не знал, то ли счел, что и так рассказал достаточно. Что же могли искать те люди — и главное, нашли ли? Наводя порядок, Кьяра не заметила никакой пропажи. Даже деньги на текущие расходы, которые она беспечно держала в ящике кухонного стола, оказались нетронуты. Искали что-то вполне конкретное, вот только что?

И если они ушли ни с чем, не стоит ли ожидать повторный визит?

— Вы побледнели, — заметил Энриарти. — И не выпили кофе. Хотите стакан воды?

— Нет, спасибо, — Кьяра поднялась, бросив напоследок взгляд на пергамент. — Я пойду. Вы позволите мне снять копию?

— Разумеется. Если вы подождете минуту, моя секретарша сделает это немедленно. Но я только надеюсь... я хочу сказать, мы были бы очень признательны, если бы это дело не появилось в газетах.

— Можете не беспокоиться, — рассеянно сказала Кьяра. Да уж, только газетчиков ей сейчас не хватало. Хотя каков бы мог быть заголовок! «Последнее преступление Лукреции Бордджа: убийство сквозь века».

«Чем же я так тебе насолила?» — подумала Кьяра, выходя из здания банка и слегка щурясь на яркий свет зимнего дня.

И невесело усмехнулась, подумав, что говорит с человеком, жившим на много столетий раньше ее. Действительно говорит. Первое слово сказала Лукреция Бордджа.

Найдется ли у Кьяры Лиони, чем ей ответить?

ГЛАВА 8

1500 ГОД

Город Урбино тонул в перламутрово-розовом зареве. Чезаре зевнул, хрустнув челюстью, и, решив не дочитывать, бросил свиток на стол. Свиток тотчас свернулся трубочкой и скатился на пол, куда за ним с лаем кинулся борзой щенок, перед тем крутившийся у ног хозяина и поскуливавший от скуки. Надо было кликнуть пажа, чтобы занялся им, но только эта щенячья возня и мешала Чезаре уснуть за столом, в первых рассветных лучах.

— Не могу больше, — пожаловался он щенку, уже начавшему увлеченно драть крепкими молодыми зубами послание Вито Вителли. Щенок ответил утробным рычанием, беспечно пожирая свиток, который Чезаре, по правде, и так собирался бросить в камин. Этот Вителли имел дерзость указывать ему, папскому гонфалоньеру, что ему следует делать и чего не следует. Глупо, писал он — да, именно так и писал! — невероятно глупо уходить из Ареццо, когда перевес на их стороне, и город вот-вот готов был сдаться. Этого наглого старика не волновало, что Чезаре срочно понадобились все силы под Болоньей, чтобы заставить тамошнего владетеля, Джованни Бентивольо, сдать город. Болонья — стратегический пункт в походе по Романье, намного более важный, чем какой-то жалкий Ареццо. Но Вителли бесился, что его, со всей его величественной артиллерией, вынудили позорно отступить, пока жители Ареццо свистели и улюлюкали ему вслед с городских стен. Ничего, туда они еще вернутся. Вителли жаждет реванша и получит

его, но в свой срок. И когда этот срок наступит — решать Чезаре, герцогу Валентино, папскому гонфalonьеzu. А не славному, но чересчур зарвавшемуся капитану Вителли.

Все это Чезаре мог и хотел объяснить ему в ответном письме. Но он проработал всю ночь, разбирая доклады своих командиров, жалобы жителей Урбино, дрязги среди солдат, и сейчас хотел спать, только спать и больше ничего. В последнее время он часто ловил себя на том, что ему становится трудно сосредоточиться. Быстрые решения на поле боя он принимал, как и прежде, молниеносно, но длительные периоды умственного труда стали ему не по плечу. Черная пелена, прежде окутывавшая его голову всякий раз, когда он использовал силу быка, теперь была с ним всегда, даже если бык лежал в тайнике. Конечно, это пелена была не столь плотной, порой она почти рассеивалась, но никогда уже не спадала совсем. Порой Чезаре чувствовал что-то похожее на страх, снова и снова вспоминая настойчивые просьбы Лукреции. «Интересно, а что делает с ней ласточка? И что паук делает с отцом?» — подумал Чезаре. Надо будет спросить их об этом при случае. Надо будет...

Щенок заурчал, сплевывая последние клочки свитка, и довольно облизнул длинную морду розовым языком. Чезаре поманил его и почесал за ухом, выбирая из оскаленной пасти мокрую бумагу. Пошло все к дьяволу, не будет он сейчас отвечать Вителли. Вечером. Или завтра. А теперь спать...

Стук в дверь прозвучал отрывисто и сухо — так стучал только один Мичелотто. Значит, что-то стряслось. Чезаре, нахмурившись, поднял голову, глядя в непроницаемое лицо слуги, возникшего на пороге.

— Там женщина, — как всегда лаконично сообщил Мичелотто. — Просит, чтобы вы ее приняли.

Чезаре на миг задумался. Женщина. Когда же в последний раз у него была женщина? Походные условия и затяжная война, столь много сулящая в этом отношении простой солдатне,

к командирам бывает довольно сурова. В последний раз он обнимал женщину... неужели в Форли? Да. Чезаре нахмурился. Мысль о Лукреции мелькнула и погасла, как падающая звезда на рассвете.

— Скажи, чтобы убиралась, — ответил он, видя, что Мичелотто в самом деле ожидает ответа. — А тебя мне что, высечь прикажешь за то, что такой чепухой меня беспокоишь?

— Она сказала, — проговорил Мичелотто очень спокойно, — что если вы не пожелаете ее видеть, я должен передать вам следующее: она знает, что вы не убивали вашего брата.

Чезаре, уже отвернувшись было, вздрогнул. Мичелотто стойко выдержал его взгляд, что делало ему немалую честь. Это было негласным, неписанным законом: никто никогда не заговаривал с Чезаре Борджа о смерти его брата Хуана. Понесли следствия могли быть непредсказуемыми.

— Пусть она войдет, — сказал Чезаре минуту спустя. — И забери собаку.

Женщина, должно быть, ждала за порогом. потому что вошла тотчас, как только Мичелотто, ведя борзую за ошейник, вышел. Чезаре откинулся на спинку кресла и сощурился, разглядывая ту, кто появилась перед ним, молчаливо и внезапно, как призрак. Она была одета довольно бедно, простой серый плащ, какой носят пилигримы, укутывал ее почти до пят, капюшон скрывал лицо и волосы. Когда она откинула его, Чезаре кольнуло смутным чувством узнавания, промелькнувшимо совсем рядом — вроде бы вот-вот, а не ухватившись. Он не сомневался, что никогда не видел прежде этого лица — оно было слишком странным, каким-то нездешним. Иностранка? Вполне может быть. Хотя черты казались вполне типичными для итальянки. Темные глаза, смуглая кожа, крупный рот с маленьким круглым шрамом под нижней губой. Но то, что показалось Чезаре знакомым, было не в лице. В чем же тогда?

— Говоришь, я не убивал Хуана, — без приветствия сказал Чезаре и усмехнулся. Его улыбка, кривящая маску, белеющие

в ротовой прорези зубы обычно оказывали сильное впечатление на людей, видящих его впервые. Но эта женщина даже не шелохнулась.

— Да, — сказала она. — Это так. Его убил Джулиано делла Ровере.

Говорила она тоже странно, не то чтобы с акцентом, но как будто коверкая слова. Чезаре никогда раньше не слышал подобного говора.

— И откуда же такая уверенность? Вся Италия считает иначе.

— Я не вся Италия. И я знаю правду.

— Вот как. Что же еще ты знаешь?

— Что в ближайшие дни в Маджони соберутся люди, ненавидящие вас, чтобы решить, как бы поскорей предать вас смерти.

Чезаре смотрел на женщину с нарастающим любопытством. Он пытался уловить в ней признаки волнения, может быть, дрожь в голосе. Но женщина была совершенно спокойна, и это еще больше добавляло ей странности.

— Вот как, — повторил он. — Ты можешь назвать имена?

— Джованни Бентивольо. Гвидо Фелтра. Джофре Гандина. Паоло и Франко Орсини. Вито Вителли.

— Вито Вителли! — забывшись, удивленно воскликнул Чезаре. — Что за вздор? Ладно еще, Бентивольо и Фелтра, которых я выгнал из их городов. Ладно — Орсини, они хоть и служат мне, но вся их семейка ненавидит меня и отца, это я и так знаю. Ладно Гандина... Но Вито Вителли? Да я ведь только что получил от него письмо, где...

Он осекся, осознав, что и так наговорил лишнего. С чего он, в конце концов, взял, что можно верить этой оборванке, врывающейся к нему, как в придорожный трактир?

— Вы приказали Вителли уйти из Ареццо, — сказала женщина. — Бентивольо выбрал этот момент, чтобы использовать его злость и обиду и переманить на свою сторону. И не его

одного. Оливер да Фермо тоже с ними. Вы справедливы с вашими солдатами, но не всегда внимательны к вашим командирам, герцог.

Чезаре задумчиво потер шею. Смысл в сказанном определенно был. Оливер да Фермо затаил на него зло еще с Форли, где Чезаре отправил его на встречу с безумной графиней Сфорца, готовый без особых сожалений им пожертвовать. Этого оказалось достаточно, чтобы Фермо радостно примкнул к заговору, едва тот начал теплиться. Бентивольо... Орсини... Гандина... Да, все сходилось.

— Кто ты? — спросил он.

— Можете звать меня Кассандрай, мессир.

Чезаре засмеялся, качнул головой.

— Кассандра, значит. Пришла и пророчишь беду. А не боишься?

— Бояться здесь нужно не мне, мессир.

Улыбка сбежала с его лица. Наглая девка. Впрочем, ничто не мешает ему позже отдать ее палачу.

— Так ты пророчица? — спросил Чезаре с плохо скрывающимся любопытством. Он был падок на всякого рода гадания и предсказания, и об этом слишком хорошо знали его враги.

— Если вам угодно, называйте так. Хотя это не вполне соответствует истине. Я не знаю будущего, я знаю только то, что уже произошло.

— Ты же сказала, что банда Бентивольо собирается на совет в Маджони только через несколько дней?

— Да.

— Но это ведь будущее?

— Для меня — нет.

Чезаре моргнул. Он хотел сказать что-то, спросить, а может, позвать стоящего за дверью Мичелотто, чтобы развязал этой интриганке язык — но женщина вдруг оказалась рядом с ним. Не прикоснулась, только наклонилась к самому его уху — Чезаре внутренне напрягся, готовясь отразить выпад

отравленного кинжала, но женщина лишь прошептала еле слышно, так, что ее дыхание шевельнуло волосы у него над виском:

— Я знаю про быка, Чезаре Борджа. И про ласточку.

Он выругался и схватил ее за руку. Кассандра — если это правда было ее имя — не попыталась высвободиться, только взглянула в его спрятанное под маской лицо.

— Вам не нужно верить мне, герцог. Просто позаботьтесь о своей безопасности и на всякий случай отстраните от командования людей, имена которых я назвала. Не обязательно убивать их.

— Как будто бы я могу, — со злостью сказал Чезаре. — Раз ты такая умная, то должна понимать, что отец сам меня убьет, если я хоть пальцем трону Паоло и Франко Орсини. Их отец — кардинал, за ним стоит целая партия, и если он решит мстить за сыновей...

— Начнется гражданская война.

— Что?

Что-то мелькнуло в ее лице. Страх? Нет — растерянность, досада, мимолетный испуг, как будто она выдала себя. Как это она сейчас сказала — гражданская война? Странные слова. Чезаре не слышал их прежде, но, кажется, смутно понял значение.

— Начнутся междоусобицы, — проговорила женщина. — Бойня в самом сердце Рима. Это помешает вашему победному шествию по землям Романьи.

Чезаре кивнул — именно так и произошло бы. Только все-таки кто она и почему печется о том, чтобы его поход стал успешным?

— Кто тебя послал?

— Я не могу сказать.

— На дыбе скажешь.

Он нарочно сказал это так, чтобы в голосе не звучало угрозы, напротив, припустил в тон нотки доброжелательности.

Это всегда действовало безотказно. Но эта женщина, эта Кассандра, только улыбнулась уголками губ и покачала головой.

— Не стоит спешить, ваша светлость. Тем более что я никуда не уйду. Я останусь с вами до тех пор, пока вы не удостоверитесь в правдивости моих слов. Можете заключить меня под стражу.

«Непременно, — подумал он. — Только не под стражу, а под личный надзор Мичелотто. И если ты сбежишь... но нет. Ты не сбежишь».

— Когда вы поверите мне, — сказала Кассандра, — тогда я расскажу вам, откуда пришла.

Кардинал Антонио Орсини был стар. Разумеется, слишком старых понтификов не бывает и, в конце концов, плох тот кардинал, который не хочет стать Папой. Но годы, большая часть которых прошла в бурных возлияниях, чревоугодии и потакании всем прочим смертным грехам, не прошли для Антонио Орсини даром. Огонь его честолюбия угас вместе с огнем чресл, взамен же воссиял ровный и кроткий свет мудрости. Раскаявшись в безнравственном образе жизни, кардинал Орсини удалил от двора свой гарем, продал почти все предметы роскошной обстановки и прогнал большую часть слуг, прихлебателей и бестолковой родни, от которых было много шума и никакой пользы. Это поселило мир в его уставшем сердце, разгладило морщины на его низком лбу. И только одна-единственная забота продолжала смущать обретенный на закате лет душевный покой. Имя этой заботе — Борджа.

Дело в том, что Антонио Орсини ненавидел Борджа. Само по себе это обстоятельство не вызывало никакого недоумения. Все ненавидели Борджа — Колонна, Бентивольо, делла Ровере, Спарнезе, Сфорца. Знаменитый флорентийский проповедник Савонарола не уставал обличать пороки Папы Александра и его дьявольской семейки с кафедры, сотрясая стены собора святой Терезы раскатами громоподобного голоса из

своей луженой глотки. Римский люд давно заключал между собой пари, долго ли он еще протянет, этот Савонарола — и заодно делал ставки, кто станет новым мужем Лукреции и как скоро Чезаре удастся окончательно подмять под себя города Романьи. Последнее обстоятельство тревожило кардинала Орсини сильнее всего. Он знал Родриго Борджиа много лет, еще с тех пор, как этот испанский оборванец заявился в Рим и с истинно кастильской наглостью принялся отираться при папском дворе, пока не пролез, одному Богу ведомо, как, на должность вице-канцлера. Он пережил трех пап, в основном благодаря ловкой лести, осторожности в интригах и умении соблазнять правильных женщин. Ваноцца деи Каттанеи долгие годы оставалась его полуофициальной любовницей, даже когда он стал кардиналом, но ни для кого не были секретом бурные романы Родриго с женщинами, что согревали постель Папы либо наиболее вероятного претендента на это место. Он все обо всех знал, этот Родриго Борджиа, всегда оказывался в нужном месте и вовремя, и при этом был так изворотлив, что ни разу не попадался с поличным. Он опутал сетью весь Рим, а теперь руками своего сына намерился накинуть ее и на всю Италию — и похоже, что никто, решительно никто не мог ему помешать. И глядя на это, Антонио Орсини завидовал Родриго Борджиа лютой, черной завистью, сила которой не уменьшилась даже тогда, когда утихли и отгорели все прощие чувства и страсти.

Он до сих пор не мог простить себе, что на конclave по выбору Папы поддался на уговоры Бенедикто Кантоны и в последнем туре голосования отдал свой голос за Борджиа. Кантона уверял, что это лишь стратегический ход с целью ослабить позиции делла Ровере, в предыдущем туре набравшим слишком много голосов. Лишь позже Орсини понял, что Кантона был подослан чертовым хитрецом Борджиа — и не только к нему, но и к другим, тем, кто при ином положении вещей ни за что не отдал бы свой голос испанскому высокочке.

Если бы они только знали, что этот тур выборов будет не промежуточным, а самым что ни на есть окончательным. Когда огласили результат — Родриго Борджа избран Папой единогласным решением конклава! — Оттавио Колонну хватил удар, и из зала его вынесли на носилках. Кантона получил щедрую награду за свою подлость, и год спустя, заказывая у одного очень известного и знающего колдуна несколько восковых фигурок для наведения порчи, кардинал Орсини не забыл прибавить к именам Борджа и имя этого предателя... а ведь когда-то они были почти друзьями...

Порча, однако, не сработала. То ли колдун оказался не таким уж и знающим, то ли Борджа в самом деле заключили сделку с дьяволом, а потому их не получалось уничтожить руками слуг сатаны. В последнее Орсини не верил — как и большинство князей святой римской церкви, он не отличался истовой религиозностью и ногами твердо стоял на земле. Он бы с радостью подослал к любому из Борджа убийц, имеющих дело с кинжалом и удавкой, а не с сомнительной магией. Но убийцы — народ еще менее надежный, чем колдуны. В объятиях палача у них редко хватает мужества откусить себе язык и унести в могилу тайну заказчика — что наверняка сделает колдун, прекрасно понимающий, какие муки ждут его на костре.

Нет, с наемниками Орсини связываться не хотел. Будь среди его многочисленной родни хоть сколько-нибудь толковые ребята, он поручил бы такое деликатное дело кому-то из них. Конечно, коллегия назначила бы разбирательство, все же убийство Папы — не шутка, но Орсини не сомневался, что расследование стало бы фикцией, и коллегия, а с ней и вся итальянская аристократия, осудили бы убийцу только на сло-вах, а потом пошли и заказали бы благодарственный молебен за избавление Рима от тирана.

Но в том-то и беда, что среди своей родни Орсини не видел никого, кому мог поручить подобную миссию. И потом, убить

одного только Родриго недостаточно — есть ведь еще Чезаре, все крепче забирающий в железный кулак города Романьи, падавшие перед ним на колени один за другим. Кто окажется настолько смел, чтобы подобраться с кинжалом к Чезаре Борджа, Быку Борджа, о силе которого ходили в последнее время какие-то уж совсем невероятные слухи? Тут нужна не только большая доблесть, но и недюжинная отвага. А представители клана Орсини могли похвастаться выдающимися пороками, но увы, мало кого из них отличали выдающиеся достоинства.

«В отличие от Борджа, достоинства которых поистине соизмеримы с их пороками и их чванством», — думал Антонио Орсини, чернея, смурнея и чахнув от зависти.

Но он все-таки был мудр, старый, видавший виды Антонио Орсини. В определенный момент он понял, что открытое противостояние с Борджа принесет ему только вред. Он сделал вид, что смирился, прекратил сношения с Колонной — с которым испокон веков враждовал семьями, но на почве общей ненависти к Борджа почти сдружился, — сжег, не читая, обращенное к нему письмо монаха Савонаролы, а в переписке с флорентийским лисом Макиавелли не уставал превозносить нового Папу до небес. Он даже заставил своих племянников, этих балбесов Паоло и Франко, пойти на службу к Чезаре — чтобы быть поближе к нему и использовать шанс, буде тот представится. Ведь где же еще случаются непредвиденные несчастья, как не на войне?

Но увы! Этим двум идиотам только и достало ума, что ввязаться в заговор, провалившийся в самом зародыше. Сам по себе заговор был не плох — Джованни Бентивольо, тиран Болоньи, оказался хитрым и вдумчивым интриганом с большим опытом, кардинал Орсини знал это и уважал его, как только можно уважать потенциального врага. Он мог стать действительно опасным соперником для Чезаре и даже свалить его, если бы осмотрительнее выбирал себе союзников. Паоло,

Франко, этот мальчишка Оливер да Фермо... Неудивительно, что кто-то из них проболтался, и Борджаиа прознал обо всем еще до того, как заговорщики успели выработать подробный план. Насколько знал Орсини, они хотели завлечь Чезаре в ловушку при осаде одного из следующих городов, Фаэнцы или Камерино. Дождавшись, пока разгорится сражение, они собирались покинуть поле боя в самый неожиданный момент, так что папская армия оказалась бы разбита, а сам Чезаре убит или пленен. Хороший план, жаль, что он провалился. Кто-то донес, и Борджаиа отреагировал, как всегда, молниеносно. Он немедленно созвал к себе все верные ему войска, проигнорировав при этом отряды под командованием предавших его кондотьеров. Объявил о наборе новых командиров, которых набрал не только среди почтенных итальянских семей, но и среди всякого сброва, в том числе из испанцев. Уговорил примкнуть к нему даже прославленного Вала ди Ламоне, чья пехота не знала равных по обе стороны Пиренеев. Прежде ди Ламоне наотрез отказывался присоединиться к папской армии из-за кровной вражды с Вито Вителли — но теперь, когда Вителли пошел против Борджаиа, ди Ламоне был только рад сплясать на его костях. И так далее, и тому подобное — карты шли в руки Борджаиа, дорога стелилась ему под ноги, с неба сыпался дождь из розовых лепестков. Чертовы Борджаиа. И как они только это делают?!

Но оставалась еще одна возможность, одна небольшая ниточка, потянув за которую, Антонио Орсини мог свалить этого глиняного колосса. Зная характер Чезаре, не возникало сомнений, что бунтовщиков ждет скорая и жестокая расправа. Кардинал Орсини ждал этого, втайне потирая руки. Племянников он не любил, но их смерть могла послужить ему больше, чем их ничтожные жизни: это дало бы повод для объявления вендетты между кланами Орсини и Борджаиа. Тогда он сможет подсыпать убийц открыто, под предлогом жажды мести, сумеет развязать целую войну — и пусть бы это повергло улицы

Рима в хаос, но в хаосе, как и на поле боя, всякие случайности происходят довольно часто. Один или даже дюжина убийц не смогут победить Борджа — но сотня убийц? Две, три сотни, если дело удастся поставить на широкую ногу? Никому не может везти так долго, никто не сумеет так изворотливо бегать от смерти. Даже проклятые Борджа.

С этой обнадеживающей мыслью Антонио Орсини ждал вестей от племянников, отдыхая в простом соломенном кресле в полупустом, слабо натопленном зале своего обедневшего дворца. Он предавался мыслям о жизни вечной и сладким грезам о теле Чезаре Борджа, изрубленном на куски в якобы случайно вспыхнувшей уличной драке, когда камергер сообщил ему о прибытии гонца. Орсини встрепенулся — и сник, когда оказалось, что гонец прибыл не из Фаэнцы или Урбино, а из папского дворца. Его святейшество Александр VI приглашал своего доброго друга Антонио Орсини на ужин, на котором будет присутствовать также его дочь, монна Лукреция.

Похоже, Родриго получил какие-то вести от сына, подумал Орсини, хмурясь и жуя толстый старческий ноготь — дурная привычка, от которой он за семьдесят лет так и не смог отдельаться. Наверное, Чезаре казнил Паоло и Франко, и Борджа хочет сообщить мне об этом с глазу на глаз, чтобы полюбоваться моим горем. Что ж, отлично. Пока что все складывается как нельзя лучше.

Он велел камергеру приготовить сутану — строгую, без каких бы то ни было украшений, — и явился точно в назначенный час во дворец Борджа на площади Святого Петра, тяжело опираясь на руку пажа, который сопровождал его всюду последние восемь лет.

Родриго Борджа встретил гостя с удивительной теплотой. Его дочь, прелестная Лукреция, приветствовала кардинала поклоном столь глубоким и изящным, что в давно почерневших и остывших углях, оставшихся от костра плотских страстей Антонио Орсини, вдруг вспыхнула и затеплилась новая искра.

Мягко отстранив пажа, Лукреция подхватила кардинала под локоть и, весело щебеча, повела к обеденному столу, уютно накрытому на троих в окружении свежих цветов и мягко мерцающих свеч. Орсини не дал обмануть себя и зорко следил за ее пальцами, опасаясь, не выскочит ли из какого-то ее перстня отравленная игла.

— Добрый друг, — сердечно сказал Родриго, когда кардинал тяжело опустился в резное кресло за столом. — Как давно я не видел тебя. Ты постарел.

Такое фамильярное обращение поставило бы Орсини в тупик, если бы он не знал Родриго Борджа без малого сорок лет. Но он хорошо понимал, что кроется за этим радушием, и подготовился к схватке.

— Никто не молодеет, Родриго, — ответил Орсини в тон ему — просто гость, отвечающий хозяину, Антонио, говорящий с Родриго, а не кардинал с Папой и не Орсини с Борджа. — Хотя глядя на тебя, я порой думаю, что это старое присловье придумал дьявол, чтобы лишить нас надежды.

— Дьявол не лишает надежд, он только внушает ложные, что гораздо опаснее, Антонио. Посему первый наш бокал давай осушим за то, чтобы Господь помог нам отличить истинные надежды от фальшивых.

Орсини скосил взгляд. Лукреция, ловко отделавшись от пажа, сама прислуживала за столом и уже наливалась вино в чашу отца — белое, искристое, в котором Орсини по запаху распознал шардоне. Потом она поставила кувшин и взялась за другой, наполненный тягучим пенистым кьянти. Орсини невольно шевельнул кончиком носа, подавшись вперед.

— Не желаешь пить одно вино со мною? — спросил он вполголоса, напряженно улыбаясь.

Родриго вскинул брови в хорошо разыгранном изумлении — и весело рассмеялся.

— Помилуй, Антонио! Да никак ты решил, что я задумал тебя отравить в своем собственном доме? С чего бы?

— Мы оба знаем, с чего, — холодно сказал кардинал Орсини.

Родриго вздохнул, с досадой хлопнув ладонями по подлокотникам кресла. Такие порывистые, почти мальчишеские жесты всегда придавали ему какого-то безудержного обаяния.

— Раз уж ты сам завел об этом речь... Чезаре писал мне о том досадном инциденте, в который оказались вовлечены твои племянники. Я предостерег его, чтобы не порол горячку и не предавался бездумной мести. Я знаю, что он на это способен.

Последние слова прозвучали доверительно, но Орсини не дал отвлечь себя и знаком попросил Лукрецию забрать кувшин. Та пожала плечами, лучезарно улыбнулась и налила ему того же вина, которое только что наливалась отцу. Орсини обратил внимание, что себе она налила кьянти. Его кольнуло тревогой, пока что смутной.

— Но не бойся, — елейным голосом продолжал Родриго. — Не бойся, Антонио, головы твоих беспутных племянников в целости и сохранности. Ведь Чезаре не может казнить их, не казнив всех остальных заговорщиков — ты знаешь, в этом отношении он неизменно справедлив. Точно так же он не может и помиловать Франко с Паоло, не помиловав их друзей. Все они в одной упряжке. А мы с тобой знаем, что будет, если Борджа повесит Орсини, пусть даже по справедливости и за дело.

— Орсини будут мстить, — нехорошо улыбнувшись, сказал кардинал.

— И они будут в своем праве, — донесся звонкий голосок Лукреции. — Я бы мстила жестоко, если бы кто-нибудь посмел тронуть моего брата.

Орсини наклонил голову, отдавая дань уважения ее словам. Его всегда злило, что Борджа позволяет своей дочери не только присутствовать при разговоре мужчин, более

того — священнослужителей, но и вмешиваться в беседу. Хотя чего еще ждать от этой семейки, поправшей все человеческие и божьи законы. Орсини слышал даже, будто в последнее время Джуллия Фарнезе больше не в милости, а место ее в папской постели заняла никто иная, как его собственная, окончательно повзрослевшая дочь... Впрочем, это были только слухи, но Орсини поймал себя на том, что всматривается в молчаливые сигналы, которыми обмениваются эти двое. Забавно было бы выйти отсюда, обладая тайной, которая поможет схватить их за горло.

— Я согласен с Лукрецией, — проговорил Родриго. — Орсини — могущественный клан, и я хорошо понимаю, что произойдет, если наша с вами вражда приобретет слишком радикальные формы. Поэтому я не хочу открытой вражды, Антонио. Я не хочу войны. Мой сын ведет уже одну на севере и выигрывает ее, ни к чему усложнять все сейчас.

«Может быть, после», — эти слова повисли над столом несказанными, и оба, кардинал и Папа, понимающие улыбнулись друг другу. Что ж, не худшая развязка. Хотя эти бездельники, его племянники, все же заслуживают хорошей трепки.

— Поэтому ничего не бойся, — мягко сказал Родриго, глядя Орсини в глаза. — И просто выпей со мной за мир, пусть и временный, между нашими семьями. Чезаре простил твоих племянников, не держи и ты на нас зла.

Он поднял бокал. Шардоне сияло и мерцало, ловя световые блики. Антонио метнул быстрый взгляд на Лукрецию, с очаровательной улыбкой подносящей кубок к губам. Кубок с кьянти...

Мысль его заработала с бешеною скоростью. Борджиа пьет шардоне. Что мешало ему подсыпать яд и принять лошадиную дозу противоядия за пять минут до моего прихода? Он кажется несколько бледным, несмотря на веселый вид, так что это вполне возможно. И он нарочно велел дочери налить мне другое вино, чтобы я сам попросил себе то же вино, которое пьет

хозяин. Потому что если я не прав, то отчего Лукреция пьет кьянти?

— Монна Лукреция не жалует вина Бургундии? — спросил он, выигрывая время.

Лукреция откинула назад белокурую головку, ее мелодичный смех засеребрился по комнате.

— Очень жалую, ваше преосвященство. Но это кьянти нам нарочно везли из Гайоле, там в этом году урожай особенно удался. Какой-то новый сорт, я все забываю, отец... как биши его?

— Санджовезе.

— Да-да, санджовезе. Отец грозился выпить его в первую же неделю, но я уговорила оставить бутылочку до моего приезда. Вы ведь знаете, я только вчера вернулась в Рим...

Она болтала что-то еще, щебетала, всеми силами создавая за столом непринужденное и легкое чувство. Она в самом деле была прелестна, и даже выглядела бы невинной, если бы не ее разноцветные глаза — глаза Борджа. Борджа умели очаровывать, каждый из них, но их всегда выдавали глаза.

— Вот поэтому я и пью кьянти, — закончила Лукреция какую-то шутку и вновь засмеялась, и вновь затеплилась в чреслах Антонио Орсини та искра, которую он в себе давно затушил. Он вдруг подумал, что если отец этого дивного, невинного и развратного создания в самом деле угощается от ее прелестей, то его, по большому счету, можно понять. И уж совершенно точно Родриго не станет зря рисковать своим сокровищем. Значит, как бы там ни было с шардоне, но в кьянти яда точно нет.

— Вы меня убедили, — сказал Орсини, выплескивая содержимое своего кубка на ковер. — Налейте-ка и мне этого славного винца.

— С удовольствием, ваше преосвященство. Вы не пожалеете.

Вино в самом деле оказалось отменным. Тонкое, смолистое, с ноткой горчинки, встревожившей Антонио, но он вновь посмотрел на розовые щечки Лукреции, на ее сияющую улыбку,

на губы, потемневшие от вина, которое она выпила одновременно с кардиналом — и успокоился. В течение следующего часа, поддерживая беседу, он украдкой наблюдал, что пьет и что ест Лукреция Борджа, и, позволяя накладывать себе на блюдо все подряд, ел только то, что ела она. Наблюдая также за Родриго, он заметил, что блюда, которые ест папа и его дочь, ни разу не совпали. Это только утвердило Орсини в своем выводе: его пригласили, чтобы отравить, но фокус не удался. Что ж, это урок тебе, Родриго Борджа. Я, может, и стар, и на какое-то время склонился перед тобой, но я не так глуп, как мои племянники, тебе не сжить со свету Антонио Орсини...

Он ощущал, как горло разрывается хрип, но и тогда не сразу понял, что именно произошло. В животе противно заурчало, а потом внутренности словно опалило огнем, и он рухнул лицом на стол, выпучив глаза и судорожно царапая руками горло. Он хотел позвать своего пажа, оставшегося за дверью, крикнуть кого-то на помощь, спросить, как же так, как это произошло... Отец и дочь Борджа, умолкнув на полуслове, сидели неподвижно, наблюдая за его страданиями.

Потом Лукреция встала, обогнула угол стола и, склонившись так низко, что золото ее локонов коснулось мокрого от пота лба кардинала Орсини, сказала:

— Вам, должно быть, неясно, как это вышло, ваше преосвященство. Вы ведь так старались есть и пить только то, что ем и пью я. Вы знаете, как мой отец любит меня, он скорее рискнул бы собственной жизнью, но не моей.

Орсини смог ответить только хрипом. И тогда Лукреция, лукаво улыбнувшись, запустила пальцы за корсаж и медленно расстегнула его. Орсини выпущенными, налившимися кровью глазами смотрел на ее круглые, высокие груди, обнажившиеся перед его лицом. И на какое-то украшение, что-то вроде амулета в форме фигурки птицы, качнувшееся между ними.

— Правда в том, кардинал, — прошептала Лукреция Борджа, — что вы ничего не знаете. Упокой Господь вашу душу.

Орсини выпустил изо рта кровавый пузырь слюны, мокро вздохнул и умер.

Лукреция выпрямилась и застегнула корсаж, оставив ла-сточку снаружи. Подошла к отцу, опустилась перед ним на колени. Твердая ладонь с папским перстнем накрыла ее темя. Лукреция взяла эту руку и поцеловала.

— Позаботься о его паже, — сказал Родриго.

— Ну что, друзья, — весело проговорил Чезаре Борджиа, хлопнув себя ладонями по бедрам. — Сегодня мы будем ужинать в Сенигалье. Ты проспорил, Вито, с тебя пятьдесят дукатов!

Вито Вителли натянуто улыбнулся. Остальные выдавили подобные усмешки: напряженные и неискренние. Все они были здесь — Вителли, Фермо, Гандина, оба Орсини, — и все смотрели на Чезаре с затаенным страхом, хотя он давно сказал им всем, что простил. Что они нужны ему. Что в ворота сдавшейся Сенигальи они войдут только все вместе.

— Да что вы кислые-то такие! Паоло, Франко, ну! Оливер, а ты? Ты ведь волочился за дочкой Андреа Дориа, а сегодня мы будем есть и спать в его доме, так что станцуешь со своей зазнобой тордильоне.

— Это было давно, мессир, — пробормотал Оливер да Фермо, отчаянно покраснев. — Мне было пятнадцать, а ей и того меньше...

— Ну и что? Уверен, она до сих пор по тебе сохнет. Взбод-ритеся, друзья. Мы поставили чертову Сенигалью на колени, вы и я, вместе. Разве Чезаре Борджиа не умеет ценить оказанную ему помошь?

Они переглянулись, почти не таясь. Да и чего таиться, когда Бентивольо, душа заговора, взбаламутивший и растравивший их всех, первый пошел на попятный и примчался к Чезаре каяться и клясться в верности. За ним потянулись и осталь-ные — ничего другого не оставалось. И Чезаре простил. Про-стил, хотя к тому времени уже успел собрать достаточно людей,

чтобы восполнить потерю предавших его кондотьеров. Но когда они вернулись, он принял их. На войне не бывает слишком много войска, и осада упрямой Сенигальи это лишний раз подтвердила.

Они покаялись, да, некоторые — как Вито Вителли — даже от чистого сердца. Но им трудно было избавиться от подозрений и довериться ему до конца, и Чезаре не мог их в этом винить. Только братья Орсини держались вполне уверенно, если не сказать нагло — впрочем, другого он от них и не ожидал. Его шпионы сообщили, что Франко похвалялся как-то вечером на солдатской пирушке, что Борджия пальцем не посмеет тронуть ни его, ни Паоло, пока жив их дядя Антонио. А стало быть, и остальным мятежникам нечего бояться.

И это была правда. Святая правда, как перед Богом.

Остальные, будучи не так глупы, как Орсини, держались настороже. Но Чезаре делал все, чтобы развеять их опасения — шутил, смеялся, даже заключил с Вителли пари, а выиграв, беззастенчиво потребовал выигрыш. Так не ведут себя с теми, кому собираются мстить.

Когда они, в шестером и в сопровождении свиты, проходили через ворота Сенигальи, чтобы принять капитуляцию Андреа Дориа, Чезаре хлопнул Вителли по плечу.

— Что грустишь, старина? От того, что карман стал легче на полсотни дукатов? Ничего, завтра мы отдадим твоим молодцам город, и они набьют тебе мошну так, что лопнет.

— Вы собираетесь отдать город на разграбление? — резко спросил Вителли.

— Да. А что? Ты тоже здесь встретил первую любовь, подобно нашему юному Оливеру?

— Нет, но вы никогда не позволяли прежде грабить сдавшиеся вам города. Вы говорили...

— Тс-с, — лукаво сказал Чезаре, прижимая палец к губам. — Говорил, Вито, говорил... Слова ничего не значат. Сенигалья чертовски жирный кусочек, кто бы удержался? Если

ты останешься здесь, то завтра увидишь пламя, жаркое, как в аду. Если не веришь, рискнешь поспорить со мной еще на полсотни?

Вителли хмуро промолчал. Чезаре выпустил его плечо и остаток пути до резиденции Дориа проделал, беззаботно на-свистывая.

— Не нравится мне это, — прошептал на ухо Оливеру да Фермо герцог Гандина. — Что-то он слишком весел.

— Почему бы и нет? Он взял этот город, — возразил Оливер. — К тому же он, кажется, в самом деле не таит на нас зла. Прощение освобождает душу.

Так говорил ему его духовник, и Оливер да Фермо на собственном примере знал, что это правда — так как сам успел простить Чезаре за то, что тот собрался пожертвовать им в Форли. Теперь Фермо искренне раскаялся в том, что согречча присоединился к заговорщикам, и был нескованно рад тому, как любезно и милостиво Чезаре принял их всех обратно. А кроме того, он в самом деле сгорал от нетерпения перед встречей с уже не такой юной, но, он не сомневался, все такой же пленительной Августой Дориа.

Притихший город встретил их молчанием, только беспечные голуби толклись на мостовой и с возмущенным клекотом вспархивали из-под ног. У дворца губернатора, теперь уже бывшего, их встретило несколько слуг, вперед которых с коротким, исполненным достоинства поклоном выступил мажордом графа Дориа.

— Его милость с нижайшим почтением обращает к вашей светлости просьбу, — сказал он, не поднимая глаз от земли. — В знак добрых намерений и чтобы не пугать дам, не будет ли ваша светлость столь любезна вступить в этот дом без оружия?

Герцог Гандина хмыкнул, Вителли нахмурился. Фермо расцвел при упоминании о дамах, а братья Орсини глупейшим образом загоготали. Чезаре же, светло улыбнувшись, кивнул и без колебаний снял с пояса меч и кинжал.

— Его милость граф хорошо понимает, что будет с его городом и с ним самим, если он вздумает проявить подлость, — сказал он. — Он не дурак, наш любезный граф. И не баба.

— И не Сфорца, — добавил Франко Орсини и снова заржал, пугая тех голубей, что еще не успели улететь с мостовой перед дворцом.

Чезаре метнул в него взгляд, от которого человек более осмотрительный или хотя бы более умный умолк бы на месте. Но Франко не заметил этого взгляда, а если и заметил, то не понял — зато понял Вито Вителли, и лицо его стало еще более пасмурным. Он с затаенной тоской оглянулся назад, на стены города, за которыми остались его верные артиллеристы, так же как и войска всех остальных кондотьеров, собравшихся здесь. Голуби, согнанные с мостовой, толклись и вскидывали крылья на стене. Вито Вителли хотелось к ним.

Под прямым и ясным взглядом Чезаре он снял с пояса меч и положил в траву, рядом с оружием герцога Валентино. После короткой паузы забряцала сталь: остальные последовали его примеру.

«Он не посмеет, — думал Вито. — Он жесток, но подлость ему ненавистна. Да и к тому же что он сможет сделать нам здесь? Он один, и даже если слуги Дориа придут ему на помощь, они всего лишь мешки с дерьямом, а мы — закаленные воины».

Они прошли в дом, огромный, залитый солнцем, такой же тихий и как будто пустой, каким казался и город. Тяжелые створки дубовых дверей с грохотом сомкнулись за их спинами, отсекая солнечный свет.

— Ну и где этот Дориа? — громко спросил Франко Орсини, вертя головой. — И где дамы?

— В самом деле, где дамы? — подхватил его брат, в то время как с впалых щек Оливера да Фермо начала понемногу сползать краска. Герцог Гандина с беззвучным стоном прислонился плечом к стене, но тотчас выпрямился. «Он не посмеет», — снова подумал Вито.

Он все еще думал так, когда Чезаре обернулся, и его бело-снежные зубы сверкнули сквозь прорезь маски.

— Дамам не стоит видеть то, что здесь сейчас произойдет. Как и нашему другу Дориа — он немолод и, говорят, у него слабое сердце.

Сказав это, Чезаре вздохнул и легким, непринужденным движением, словно бы невзначай, выпростал из-под ворота серебристый амулет на коротком шнуре. Шнур этот часто замечали на шее Чезаре те, кто видел его вблизи, но все думали, что там он носит нательный крест.

Крест и Борджаиа? В самом деле? Даже подумать смешно.

— Значит, — вполголоса сказал герцог Гандина, — вы не простили.

— Конечно, нет, — отозвался Чезаре. Его ладонь легла на фигурку, которую он носил на шее, обвила и погладила, словно старую, нежно любимую кошку. — А вы правда думали, что прощу?

— А? Что? Но... — Оливер да Фермо выглядел потрясенным. — Но вы же... вы обещали! И мы вам поверили!

— Что я обещал тебе, Оливер? Что ты нынче станцуешь танец-другой с Августой Дориа? Так и есть: она умерла от малярии два года назад, и если в самом деле была такой потаскушкой, как о ней говорят, то нынче вы вместе славно спляшете на адовой сковородке. И ты, Вито, — кивнул он неподвижно стоящему капитану артиллерии, — ты, как я и обещал, увидишь завтра пламя. Только не в Сенигалье. Сенигалью, в отличие от вас, я не трону.

Братья Орсини, слушавшие эту надгробную речь в каком-то остоубенении, разом очнулись и завопили в унисон. То, что они безоружны, их не смущило, они бросились на Чезаре, намереваясь удавить его голыми руками — и, говоря начистоту, Вито Вителли был не прочь присоединиться к ним. Их пятеро, а Борджаиа один, даже его пса Мичелотто поблизости нет, они справятся с ним без труда...

Теплая кровь брызнула Вителли на лицо и панцирь, оросила мраморный пол у его ног. Кто-то из Орсини — Франко или Паоло, теперь уже невозможно было понять, — кулем осел на пол, алая кровь фонтаном била из порванных сосудов в его шее, а голова... голову держал, сгребя волосы пятерней, Чезаре Борджа. Отдельно от тела.

Он улыбался, и кровь блестела в прорезях маски.

— Господи Иисусе, — пролепетал Оливер да Фермо, пятаясь. Герцог Гандийский медленно перекрестился. Второй Орсини просто стоял и тупо смотрел на то, что осталось от его брата, на то, что с ним сделал Чезаре Борджа всего за несколько мгновений. У Вителли до сих пор стоял в ушах жуткий, противоестественный хруст, с которым голова племянника Антонио Орсини отделилась от тела.

Антонио Орсини мертв, внезапно понял Вито. Никто еще не знает этого, но он мертв. Как и мы все.

Бык поднял их на рога.

— Стойте. Спокойно, — проговорил Чезаре. — Иначе. Так. Будет. С каждым.

Он говорил очень медленно, словно ему не хватало воздуха. Его разные глаза, и прежде довольно неприятно выглядевшие в прорезях вечной маски, стали очень яркими. В одном из них, зеленом, лопнул сосуд, и белок залило кровью. Тяжело дыша, Чезаре смотрел на них, по-прежнему держа в руке голову Франко Орсини. Никто не мог оторвать от него взгляд, и никто не услышал шагов по коридору слева от них.

— Ваша светлость, — очень тихо проговорил Мичелотто, возникнув словно из-под земли. — Дайте мне. Дайте.

Он осторожно, с видимым усилием заставил Чезаре разжать пальцы. Окровавленная голова упала и покатилась по полу к ногам второго Орсини. Тот упал на колени, схватился руками за мертвую голову своего брата, и его вырвало.

— Не хочу. Пачкать руки. Об эту. Мразь, — все так же пугающе медленно, словно каждое слово, и более того, каждая

мысль давались ему с адским трудом, выговорил Чезаре. — Сделай. Ты.

— Да, ваша светлость.

Прежде, чем Вителли успел понять, что происходит, гаррота сомкнулась на горле Оливера да Фермо. Тот с хрипом осел на пол, синея, Мичелотто оттолкнул его и схватил за волосы герцога Гандину, притягивая к себе.

«Почему мы стоим и не сопротивляемся, как бараны на бойне? — смутно подумал Вито Вителли. — Неужели он так страшен? С этой его проклятой маской, с разными глазами, кровью на губах... с быком. Да. Самое главное — бык. Почему он так важен?»

Вителли сделал шаг назад. Дверь была заперта, окна — тоже, и рука его схватила первое, что попалось на пути — тяжелый бронзовый канделябр-треножник, стоящий у стены. Вителли подхватил его и выставил перед собой, как копье, направив в грудь Мичелотто, который с ловкостью опытного душителя уже разделался с герцогом Гандиной и, оставив напоследок впавшего в полный ступор Паоло Орсини, подбирался теперь к Вито.

— Это подло, — хрипло сказал Вителли. — Ты мог бы просто объявить нас своими врагами, судить и повесить. Это подло, Чезаре!

— Не говорите с ним, мессир, — ответил Мичелотто, ходя вокруг него кругом с натянутой в руках гарротой, словно двуногий тигр, ждущий мгновения для прыжка. — Сейчас не надо.

— Чезаре! — крикнул Вителли.

И тогда Чезаре закричал. Это был такой дикий, жуткий, полный такой нечеловеческой ярости крик, что волосы у Вито Вителли, прошедшего десятки кровопролитных битв, встали дыбом. Чезаре сорвал маску, словно она душила его, и Вито не увидел под ней ужасающих язв, о которых твердила молва — всего лишь несколько старых, давно заживших рубцов. Почему же он носит ее, отрешенно подумал Вито, хотя какое это, казалось бы, имело значение сейчас. Что он прячет и от кого?

— Убей его! — закричал Чезаре. — Убей сейчас, убей, убей, проклятье, Мичелotto, СЕЙЧАС!

Он безумен. Он хуже, чем безумен. Он — бык. Каким-то непостижимым образом, не имеющим отношения ни к дьяволу, ни к богу, он стал быком.

Вито Вителли еще успел увидеть, как бронзовый канделябр, которым он пытался защититься, сгибается пополам, словно прутик, прежде чем это подобие оружия выхватили у него из рук, чуть не вырвав и руки из тела. А потом Чезаре оказался перед ним. Вито Вителли повезло: он умер мгновенно и даже не успел понять, как.

В наступившей тишине Мичелotto переступил через изуродованное тело капитана артиллерии, приблизился к Чезаре и осторожно коснулся его плеча.

— Все в порядке, монсеньор, — голосом очень спокойным сказал он. — Все кончено.

Чезаре смотрел на него. Теперь сосуд лопнул и во втором его глазу, и налитыми кровью стали оба. Мичелotto похлопал его по плечу.

— Все кончено, ваша светлость. Они мертвы. Теперь вы можете это снять. Пожалуйста. Помните, ваша сестра вас просила.

Губы Чезаре Борджаиа дрогнули.

— Моя сестра.

— Ваша сестра, да. Лукреция. Вы помните ее?

Чезаре смотрел на него еще несколько ужасных мгновений, и Мичелotto, старый друг, поверенный, сообщник и наемник семейства Борджаиа, знал, как велика вероятность, что он не переживет этих минут. Но потом Чезаре поднял руки, словно каждая из них весила сто пудов, и с усилием, словно отдирая от раны присохшую ткань, стащил с шеи шнурок с болтающимся на нем серебристым, заляпанным кровью быком.

— Конечно, болван, — сказал он. — Конечно, я помню мою сестру. Как я могу забыть?

ГЛАВА 9

1503 ГОД

— Говорю тебе, она удивительная. Словно не от мира сего.

— Значит, блаженная или ведьма. Как будто мы их мало перевидали на нашем веку.

— Вот именно, что немало, и говорю тебе, Лукреция, она совсем не такая. Я даже не знаю, как это описать словами. Ты должна просто ее увидеть.

— Не знаю, Чезаре, — неуверенно проговорила Лукреция. — Мне что-то совсем не хочется.

Чезаре досадливо крякнул и прихлопнул ладонью по колену. Он сердился, но не всерьез — он никогда не сердился на свою сестру по-настоящему, за исключением разве что той давней истории с ее беременностью. Тогда он успокоился только после таинственного исчезновения Перотто — и Лукреция никогда не задавала ему вопросов на этот счет. Она не хотела знать.

Ей не нравилось то, как он менялся в последнее время. Это началось давно — она не сказала бы теперь наверняка, когда именно, но, наверное, вскоре после смерти Хуана. Лукреция не сомневалась, что дело в быке. Да, их отец носил паука, а сама она носила ласточку, и с ними не происходило ничего чрезвычайного, ничего внушающего страх. С Чезаре было иначе. Бык не просто дарил ему способности — бык менял его. И хотя Лукреция заставила брата поклясться, что тот будет использовать фигурку только при самой крайней необходимости, она

подозревала, что он нарушает клятву куда чаще, чем она опасается. Чезаре Борджа никогда не придавал большого значения клятвам.

А теперь еще эта женщина. Чезаре твердил о ней без умолку с тех пор, как вернулся из Сенигальи. Дескать, только благодаря ей он вовремя узнал о заговоре против себя и сумел покарать виновных. Лукреция и сама помогла ему в осуществлении мести, заодно и отец смог убрать с дороги давно досаждавшего ему кардинала Орсини. Но радости ей это не принесло. В сущности, амулет, подаренный ей отцом десять лет назад, только однажды принес пользу ей самой: когда она опоила Джованни Сфорца. Так что у Лукреции не было оснований любить эти фигурки.

А тут еще Чезаре сказал, что эта пророчица, как там ее, Кассандра?.. Что ей известно о предметах. Может быть, даже больше, чем известно отцу. И в конце концов это стало решающим.

— Ну хорошо, — сказала Лукреция, хмурясь и ровнее садясь в кресле. — Зови ее.

Когда женщина вошла, Лукреция тотчас, с первого взгляда, поняла, что Чезаре имел в виду. Она действительно была иной, даже пахла странно — не то чтобы неприятно, но это был запах, незнакомый Лукреции и ни на что не похожий. И еще Лукреции показалось, что она эту женщину где-то видела. Вот только вспомнить бы, где...

— Я вас оставлю, — Чезаре встал и, поцеловав сестру в темя, вышел из комнаты. Женщина осталась стоять, неподвижная, будто статуя. «Она как будто выгорела изнутри, и теперь у нее только одна цель», — подумалось Лукреции, и она поежилась от этой мысли.

— Сразу скажу, — холодно произнесла она, — что я куда как меньше подвержена мистицизму, чем мой брат. Я уверена, что ты всего лишь мошенница. Мне просто любопытно взглянуть на тебя.

К ее удивлению, женщина широко улыбнулась. Улыбка у нее оказалась ясная, она смягчила ее острые, словно из камня выточенные черты.

— Не надо.

— Что — не надо?

— Не надо ревновать вашего брата ко мне, монна Лукреция. И ни к кому. Он всегда был, есть и будет только ваш.

«Как странно она говорит. Что это за акцент?» — подумала Лукреция, но удивление от слов незнакомки вытеснило эту мысль. В следующий миг на щеках Лукреции выступила краска гнева.

— Как ты смеешь... да я прикажу сейчас вырвать твой змеиный язык!

— Я не интересую его как женщина, — спокойно сказала та. — И никто не интересует, включая его жену. За жену тоже не тревожьтесь: она беременна и родит ему дочь, но больше они никогда не увидятся.

Что она такое говорит? Впрочем, Лукреция в самом деле без особой радости восприняла известие о том, что Чезаре во время своего путешествия по Франции женился на сестре короля Наваррского, Шарлотте. Это было желание их отца, и Чезаре недолго пробыл со своей нареченной — тут же уехал. Само собой разумелось, что брак успели consummировать, а раз так, его жена вполне могла понести. Но никаких вестей об этом не поступало, да и не могло, потому что со свадьбы минуло всего два месяца. Эта женщина лжет? Что ж, если так, вскоре это станет ясно.

— Что-нибудь еще? — спросила Лукреция все с той же холодной насмешкой.

Женщина склонила голову на бок. В ее облике угадывалось что-то птичье, и эта кожа... странная кожа, не то чтобы бледная, какая-то серая, нездорового вида, но и не навевающая мыслей об определенной болезни. Такой кожи не бывает ни у деревенских жителей, ни у городских. Где она жила, что это сотворило с ее лицом такое?

— Как и ваш брат, вы не верите мне, — сказала Кассандра. — И я вам скажу то, что сказала вашему брату в нашу первую встречу. Испытайте меня. Проверьте, исполнится ли мое предсказание, и если да... — она пожала плечами, словно ей было не так уж и важно, что случится тогда.

— Какое еще предсказание? О наследнике Чезаре? — с на рочитым презрением Лукреция поджала губы и фыркнула. — Тут к гадалке не ходи. Моему брату достаточно посмотреть на женщину, и она уже беременеет. Он силен, как...

— Бык? — закончила за нее Кассандра. Лукреция вскинулась, и женщина, тихо засмеявшись, покачала головой. — Нет, мадонна, я говорю о другом. О предсказании не для Чезаре, а для вас. Если оно исполнится, вы мне поверите?

Лукреция молчала. Мошенница, наверняка ловкая мошенница и не больше того. Давно пора отвадить от Чезаре всех этих предсказателей, астрологов, алхимиков, их крутится возле него какое-то непристойное количество, это попросту вредит его репутации, выставляет на посмешище...

— Я обещаю, — негромко сказала женщина, — что в течение этого года ты, Лукреция Борджа, познаешь самую большую любовь и самое большое горе в твоей жизни. Когда ты выплачешь все глаза, тогда я снова к тебе приду, и мы поговорим по душам.

— Я никогда не плачу! — не выдержав, воскликнула Лукреция. — Никогда!

— Когда выплачешь все глаза, — повторила Кассандра и накинув на голову платок, ушла.

Три месяца спустя Лукреция Борджа стояла в той самой комнате, где пять лет назад рассказала своему брату Чезаре о ласточке, напротив того самого зеркала, в которое разглядывала тогда свой венчальный наряд перед свадьбой с Джованни Сфорца. И снова на ней было платье невесты, на сей раз — красное, еще более роскошное. Прозрачные бриллианты

и нежные жемчуга сменились темными рубинами, сверкавшими на ткани, словно брызги свежепролитой крови.

— Я люблю его, — вслух прошептала она. — Господи. Благодарю тебя. Я так люблю его, Господи!

Она порывисто опустилась на колени и перекрестилась в порыве столь редкой для нее, однако совершенно искренней благодарности к всевышнему. Та же комната, то же зеркало, опять подвенечный наряд — но другой муж, отличавшийся от Джованни Сфорца, как день от ночи и свет от тьмы. Его звали Альфонсо Арагонский, он был незаконным сыном короля Неаполитанского, носил титул герцога Бисельи, и она полюбила его с первого взгляда, с того мгновения, как он вошел и посмотрел ей в лицо лучистыми глазами, светло-серыми, удивительно гармонировавшими с его белокурыми, почти белыми волосами. Матерь его была какая-то шведская принцесса, и северный дух, замешавшись на горячей неаполитанской крови, создал это удивительное, сияющее тепло, о которое нельзя обжечься, но можно и хочется согреть ладони. Если Джованни был холоден, как скованное зимним морозом бревно, а Чезаре горяч, как бушующий без удержу лесной пожар, то Альфонсо казался тихим огнем в камине, ласковым, нежным, способным отогреть холодные пальцы и растопить корочку льда, которым успело обрасти сердце Лукреции. Ей было всего двадцать лет, но она уже успела возненавидеть мужчин, хуже того — презирала их. Альфонсо стоило лишь посмотреть на нее всего один раз, чтобы она позабыла и о ненависти, и о презрении. Она стала новой Лукрецией, совершенно другой Лукрецией, в тот миг, как он переступил порог и наполнил холодную залу папского дворца своим теплом и светом.

Лукреция подняла голову, дошептывая слова молитвы, и в экстатическом порыве сжала крест на груди. Пальцы задели ласточку, висевшую рядом с крестом на цепочке — сплаве золота и железа. Подарок Чезаре на ее первую свадьбу. Теперь,

братец, ты можешь не утешать меня подарками, подумала Лукреция и засмеялась, как сумасшедшая. Мне не надо больше никаких подарков, ведь Господь и наш отец уже сделали мне самый главный. Она нежно погладила ласточку, поцеловала ее. Первым, что сказал ей Альфонсо, взяв ее руки в свои, было: «Я много слышал о вашей красоте, но никто мне не сказал, до чего удивительные у вас глаза». Лукреция моргнула, ее взгляд прояснился. Эти глаза, разноцветные, ярко блестящие, покорившие Альфонсо Арагонского, тоже подарок ее отца. И ласточки.

Следующие дни были лучшими в ее жизни. Свадьба, прекрасная, как во сне, потом брачная ночь, ее первая настоящая брачная ночь, и она была лучше любых песен, что поют менестрели. Лукреция почти не понимала, что происходит, отвечала на поздравления, не слыша их, благодарила за дары, смысл которых от нее ускользал — она опьянела от блаженства, она, никогда не хмелевшая от вина, она, которую не брало никакое зелье, но одурманило счастье взаимной любви. Не было и быть не могло ничего лучше на свете. И отец тоже доволен ею — он улыбался, как когда-то в детстве, наблюдая за их играми в саду дома Ваноццы, в тени тисовой аллеи...

И все это невообразимое счастье стало бы совершенно полным, если бы не Чезаре. Нет, он рад за нее, Лукреция знала. И Альфонсо ему понравился, Чезаре сам сказал ей об этом в день свадьбы. Она видела, как они пожимают друг другу руки, и по легким, непринужденным движениям Чезаре поняла, что он не надел на свадьбу фигурку быка. Это несказанно обрадовало Лукрецию: стало быть, он все же слушается ее, а самое главное — понимает, что на этой свадьбе и он, и Лукреция, и вся их семья в безопасности. Альфонсо стал одним из них, он принят в семейство Борджа, и теперь они станут еще сильнее, еще могущественнее, потому что сила, озаренная светом любви, только крепнет.

Вот только что-то пошло не так. Лукреция была слишком счастлива и влюблена, чтобы сходу понять, что именно. Но она хорошо знала своего брата, она одна умела угадывать его настроение по чуть заметным складочкам, появляющимся на ткани его неизменной маски — и она видела, что его что-то тревожит. Но что, разобрать не могла, и с вновь вернувшейся к ней детской, наивной беспечностью забыла об этом еще до того, как молодоженов подрядились провожать в спальню. Первым среди провожающих был ее брат Хофре, которому Альфонсо доводился шурином, так как Хофре был женат на его сестре, Санче. Хофре подрос и как раз вступил в тот возраст, когда постельные дела занимают все мысли мальчишек, поэтому кричал громче всех и отпускал самые непристойные шутки, толпясь со своими дружками у двери в спальню. Там многие толклись, обряд провожания молодых на брачное ложе проходил шумно и весело. И только Чезаре не показывался нигде.

Но об этом Лукреция тоже забыла, стоило ее супругу коснуться губами ее обнаженной шеи.

По просьбе Родриго молодожены остались в Риме, поселившись в роскошном, огромном дворце святого Августина. Там они целыми днями бродили по саду, взявшись за руки, читали друг другу стихи Петрарки и романы Кретьена де Труа, Лукреция позировала Альфонсо для домашнего портрета — он немного рисовал, и весьма недурно, — или он слушал, как она играет на флейте. А ночи — о, что это были за ночи! Крики Лукреции разносились по всей площади перед дворцом, порождая в городе множество скабрезных шуточек, в которых в кои-то веки сквозило больше добродушия, чем злобы. В каких бы грехах ни обвиняла людская молва Лукрецию Борджа, неприкрытую страсть к собственному супругу определенно нельзя было причислить к длинному перечню ее грехов.

Они с Альфонсо счастливо прожили месяц, когда Лукреция заподозрила, что беременна. Пока она не могла сказать

наверняка, но надеялась и сияла от счастья, когда к ней пришел Чезаре — впервые со дня ее свадьбы. Военная кампания была ненадолго приостановлена, и он провел несколько недель в разъездах, встречаясь с правителями Рима и пытаясь склонить их на свою сторону миром. Лукреция слушала рассказы о его дипломатических успехах вполуха, гадая, стоит ли ему сообщать новость или лучше повременить, пока уверенность не станет полной. Чезаре вдруг умолк на полуслове и посмотрел на Лукрецию как-то странно. Она невольно обратила на него взгляд — и заметила на его шее крученый золотой шнур, тот, на котором он обычно носил быка.

— Сестренка, ты счастлива?

Лукреция ответила, хмурясь, хотя мрачность ее вызвал отнюдь не заданный им вопрос:

— Конечно, счастлива, Чезаре. Какие могут быть сомнения. А вот ты...

Он накрыл ее руку ладонью, принуждая замолчать.

— Ты любишь его? Правда любишь? Он все, о чем ты когда-либо мечтала?

— Он больше, — честно призналась Лукреция. — Ты знаешь меня, я никогда не предавалась пустым фантазиям, всегда понимала, что мужа мне выберет отец, но... Если бы я умела мечтать, Чезаре, то он стал бы воплощением всех моих грез. Всех до одной.

Чезаре встал, наклонился, поцеловал ее в лоб и молча ушел.

А она забыла об этом. Забыла тотчас, потому что Альфонсо вернулся к ней с охапкой полевых цветов, сорванных им на склоне Авентинского холма, и она отдалась ему на ложе из этих цветов, рассыпанных на полу.

Прошло еще две недели.

Лукреция сидела у окна и вышивала полог для кроватки их будущего сына. Беременность не подтвердились, ее лунные дни просто задержались в этот раз, но Лукреция твердо знала, что уже в следующем месяце они не придут вовсю. У нее

и Альфонсо будет сын, и она собиралась расшить ему постель червленым золотом с лазурью. Работа предстояла сложная и кропотливая, лучше начать сейчас. Она увлеклась, придумывая абрис рисунка, и так погрузилась в рукоделие, что не сразу услышала тревожные голоса и какой-то шум прямо под ее окнами.

Движимая любопытством, Лукреция приоткрыла ставень. У ворот дворца стояла повозка довольно обтрепанного вида. В повозке лежал человек, из нее виднелись только его ноги в высоких сапогах. Сапоги были заляпаны кровью так густо, что она стекала вниз крупными тягучими каплями, оставляя за повозкой зловещий след. След этот тянулся до угла и скрывался за ним — видимо, оттуда повозка и приехала. Рядом стояли какие-то люди, они что-то кричали, кажется, дозываясь привратника.

Лукреция встала. Если какому-то бедняге нужна помощь, ее следует оказать, хотя странно, что его привезли сюда, а не в больницу для бедных. Может, несчастье случилось прямо здесь, у ворот ее дома? Но Лукреция ничего не слышала до последней минуты, к тому же этот след на мостовой...

Присмотревшись к лежащему в повозке человеку как следует, Лукреция узнала его сапоги. В глазах у нее потемнело. Она качнулась, хватаясь за подоконник, но промахнулась и уцепилась за раму для шитья, с грохотом опрокинув ее на пол. Червленое золото и лазурь разлетелись по полу. Лукреция отшатнулась от окна, сделала шаг, другой, а потом упала без сознания посреди комнаты.

В себя ее привела Санчия. Она горько рыдала, и Лукреция, отведя от лица флакон с нюхательной солью, даже не спросила у нее, что произошло. Она поднялась, отбросила руку своей золовки и пошла вперед, в спальню, которую вот уже шесть недель, шесть восхитительных недель делила со своим мужем. Теперь эта спальня, их любовное гнездышко, вымазано в крови. Господи, сколько же здесь крови! Не может ее быть

столько в одном человеке. Альфонсо успели перенести на кровать, лакеи толклись вокруг него, пытаясь снять с него сапоги и оторвать присохшую ткань изорванного камзола от страшных колотых ран. Их оказалось так много, что невозможно было сказать, сколько раз его ударили. И лицо, его самое красивое, самое любимое, самое лучшее лицо тоже было изрезано. Искромсано.

— Позовите доктора Гуччино, — сказал чей-то мертвый, ничего не выражавший голос. Ее голос. Голос новой Лукреции Борджа.

— Уже сделано, госпожа, — испуганно ответил лакей.

Лукреция подошла к кровати, пачкая атласные туфельки в лужицах крови. Опустилась на колени, взяла в ладони ходячую безжизненную руку.

— Альфонсо, — ласково позвала она, но он не услышал. Он лежал как тряпичная кукла, изодранная злым и несчастным ребенком, и если бы слуги не сутились так вокруг него, Лукреция не усомнилась бы, что он мертв.

Рядом голосила Санчия. Лукреция постояла еще минуту, потом положила неподвижную руку Альфонсо на кровать и, сказав рыдающей золовке: «Позаботься о нем», вышла вон — из спальни, из дворца, из ворот. Она шла пешком по грязным улицам, не видя мечущихся людей, не замечая удивленных взглядов, не слыша насмешливых выкриков, несшихся ей вслед. За четверть часа она преодолела полдюжины кварталов и оказалась у резиденции, которую занимал ее брат. Ее брат Чезаре Борджа, ставший быком.

Он был уже в воротах и садился на коня, когда увидел ее. Тут же соскочил наземь, подбежал, сжал ее закаменевшие плечи. На нем не было маски — впервые с тех пор, как исчез Пепротто, Чезаре вышел на люди, не пряча лица. Похоже, он так торопился, что просто забыл о маскировке. Лукреция поняла, что успела отвыкнуть от него, и его лицо кажется ей почти незнакомым. По ее просьбе он всегда снимал маску, если они

оставались вдвоем, но когда Лукреция в последний раз просила его об этом?.. Она не могла вспомнить.

— Лукреция! — воскликнул Чезаре. — Он жив? Мне сказали, что жив, но его еле довезли до дома, он в любой момент может отдать Богу душу... Господи, что ты-то здесь делаешь? Ты что, пришла сюда одна?

— Ты знаешь, — сказала Лукреция. Это не было вопросом.

— Конечно, знаю! Это случилось совсем рядом, на соседней улице. Я слышал крики и шум драки, послал своих стражников разобраться, они спугнули этих мерзавцев. Их было шесть человек. Возникли словно из неоткуда и бросились на твоего мужа. Бедный Альфонсо! Мои люди привели свидетеля, тот сказал, что он кричал и звал на помощь, ведь это случилось на людной улице. Но никто даже не остановился, никто не захотел ввязываться. Проклятье! — закричал Чезаре в такой ярости, что Лукреция, не сводившая глаз с его лица, сощурилась. — Да на кой черт наш отец выбрасывает столько золота на охрану этого проклятого города, если его собственного зятя могут зарезать посреди бела дня, как свинью! Что толку от этих патрулей, когда их никогда нет там, где нужно!

— Это был ты, — сказала Лукреция. Чезаре, все еще горячая, бросил на нее взгляд, словно не понимая. Она повторила: — Это был ты. Я знаю. Это был ты!

Она ударила его в грудь. Хотела по лицу, но он был выше ее ростом на полторы головы и отступил на шаг, так что она не попала, и ее сжатые кулаки обрушились на его плечи, скользнув по горлу. Костяшками пальцев Лукреция зацепила шнурок от нательного креста. Только креста. Быка на Чезаре не было.

— Это ты! — истерично закричала она. — Это сделал с ним ты! Я тебя ненавижу! Ненавижу тебя, Чезаре, зачем ты так поступил со мной?!

— Тише, — сказал он, перехватывая ее руки. Легко и бережно, словно кости ее были сделаны из стекла. — Тс-с, тише, сестренка. Вот так. Пойдем.

Она не помнила, как он увлек ее в дом. Она билась в его руках, как пойманной зверь, знающий, что все эти ласковые нашептывания и уговоры — лишь способ обмануть и заставить смириться, и что за следующим поворотом — бойня.

— Это был ты, — повторяла она, как заведенная. — Это был ты.

Чезаре поймал в ладони ее лицо. Руки у него оказались большими и горячими, такими горячими, что она могла бы сгореть в них дотла. Что за отрава, о Боже, что за отрава в его руках?! И почему она одурманивает меня, ведь ласточка должна меня защищать.

— Лукреция, — сказал Чезаре, — я понимаю, ты не в себе. Стряслась большая беда. Но я клянусь, слышишь меня? Я клянусь, что не имею никакого отношения к тому, что случилось с Альфонсо.

— Ты ненавидишь его, — прошептала она. — Возненавидел с той минуты, как понял, до чего же сильно я его люблю. О, Чезаре, да как же можно... это же страшный грех, то, что ты меня...

Он зажал ей рот ладонью. Движение не отдавало угрозой, и все же Лукреция умолкла, задохнувшись от страха, всхлипнувши в груди. Впервые в жизни она испугалась своего брата... хотя нет, нет. Не его.

Она боялась быка.

— Тише, маленькая, — сказал Чезаре, не убирая руки. — Не шуми. Ты не права. Мне нравится Альфонсо. Я даже люблю Альфонсо. Как я могу его не любить, когда его любишь ты? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я ничего другого никогда не хотел.

Его голос звучал так спокойно, лицо излучало такую уверенность, а в глазах клубилась такая тьма, что Лукреции хотелось закричать снова и вгрызться зубами в его твердую сильную ладонь. Но она знала, что не может противопоставить ему силу. Ее власть над ним строилась на другом.

— Я найду тех, кто совершил это покушение. Найду и колесую у тебя на глазах. Тогда ты мне поверишь?

Он отпустил ее, и Лукреция выдохнула. Ей хотелось отшатнуться, вырваться, бежать со всех ног, но она осталась. Осталась и смотрела в его глаза, так хорошо знакомые и такие чужие.

— Да, — сказала она.

Ласточка села быку на голову и клюнула его в темя.

Они шли по саду, молча и медленно. Ее рука лежала на его локте, и со стороны могло показаться, что брат с сестрой мирно прогуливаются, наслаждаясь запахами летнего дня. Отчасти так оно и было. А отчасти Лукреция чувствовала себя узницей, выведенной на ежедневную прогулку своим тюремщиком. Хотя, казалось бы, все обстоит как раз напротив — она сама стала себе тюремщицей в эти бесконечно длинные и бесконечно тяжелые недели, днюя и ночуя у постели мужа. Он не умер, он даже пошел на поправку, но лекари, созванные к нему со всего Рима, в один голос уверяли, что выжил он лишь чудом, и здоровье его никогда не восстановится полностью. Мэтр Гуччини даже опасался, что Альфонсо не сможет сидеть в седле, а возможно, даже выполнять свои супружеские обязанности. И это не говоря о его лице... его когда-то таком красивом лице.

Но Лукреции не было до всего этого дела. Она любила своего мужа не меньше, чем в тот день, когда ступила с ним к алтарю в базилике святого Павла. Тогда ей казалось, что она не способна любить его больше. Теперь она знала, что это не так. Она кормила и поила его, меняла под ним судно и промывала его раны. Чезаре, приехавший их навестить, увел ее сегодня от постели Альфонсо почти что силой. Первые десять минут он пытался корить ее и уверять, что она обязана позаботиться о себе, больше есть и больше спать, но Лукреция встретила его попреки с полным равнодушием, и скоро он замолчал.

Но не ушел и повел ее по саду, так сладко, пряно пахнущему июлем.

— Помнишь виноградник Ваноццы? — спросил Чезаре после того, как они прошагали тенистыми аллеями в тишине добрые полчаса. — Я сейчас вспомнил, там тоже тисовая аллея и заросли жимолости. Мы за эти заросли бегали с Хуаном драться, а ты смотрела из-за кустов, и никогда не ябедничала. И всегда целовала побежденного. Мне поэтому почти не жаль было проигрывать. Нам ведь было хорошо тогда, да, Лукреция?

Она не ответила. Чезаре вздохнул.

— Прости. Я надеялся, ты хоть улыбнешься.

— Мой муж уже почти месяц лежит в постели, изрубленный на куски, — разлепив губы, сказала она. — Я не хочу улыбаться, Чезаре.

— Да, я понимаю. Мне так жаль, что не удалось найти этих проклятых убийц. Так жаль и так стыдно, сестренка.

— Ты не виноват, — сказала она, сама не зная, верит ли в это или нет.

Он усмехнулся — ткань в уголке рта собралась складками, очерчивая улыбку, скрытую от глаз. Что в ней крылось, в этой улыбке, горечь или злорадство?

Лукреция резко остановилась и, развернувшись к Чезаре лицом, положила ладони ему на плечи. Сощурившись, пристально всмотрелась в его глаза. Она по одному его взгляду могла бы сказать, имеет ли он при себе фигурку быка в тот или иной момент. Сейчас быка не было. Лукреция тронула золотистый шелк маски кончиками пальцев.

— Зачем ты продолжаешь ее носить? — спросила она. — Шрамы совсем не так ужасны. И никто не знает, как ты их получил. Так зачем, Чезаре?

Он поколебался, собрался ответить — но не успел. Что-то зашумело у них над головами, раздался сухой щелчок, а за ним — отрывистый свист. Чезаре не успел отшатнуться,

и спасло его не проворство, а удача. Арбалетный болт, пущенный почти в упор и метивший ему между глаз, пролетел двумя дюймами правее и срезал ему кожу с виска вместе с клочком золотого шелка. Болт упал на землю, клочок золотой ткани, пропитанной кровью, запутался в зазубринах остряя и горел красным в изумрудной траве.

Чезаре, прижав ладонь к виску, посмотрел вверх. Кровь текла по его пальцам, но в его глазах отразилась не боль, а удивление, и Лукреция, подавив вскрик, невольно обернулась тоже, проследив направление его взгляда. От того, что она увидела, у нее захолонуло сердце.

Они стояли у самого дома, как раз под окнами спальни, из которой Лукреция почти не выходила последние несколько недель. В окне, навалившись грудью на подоконник, стоял Альфонсо. Повязки с его лица сняли несколько дней назад, и толстые багровые рубцы, испещрившие его лоб, щеки и заросший рыжим волосом подбородок, делали его почти неузнаваемым. Но это вне всяких сомнений был он. Едва держась на ногах, приваливаясь к оконному проему, он трясущимися руками перезаряжал арбалет, из которого только что выпустил стрелу, целясь в лоб Чезаре Борджа.

Он понял, что они увидели его, и остановился. Несколько мгновений все трое смотрели друг на друга. А потом Альфонсо снова принялся перезаряжать арбалет.

Чезаре выругался.

— Альфонсо! — воскликнула Лукреция. — Что ты делаешь? Остановись!

Тот что-то пробормотал и, тяжело переступив и содрогнувшись от боли, вскинул арбалет на плечо. У Лукреции темнело в глазах при мысли о том, какие чудовищные страдания должно причинять ему сейчас каждое движение. Он все еще был одна сплошная рана. И он хотел убить ее брата. Убить Чезаре.

— Нет! — закричала она изо всех сил и развернулась, раскидывая руки и заслоняя Чезаре собой.

Несколько долгих мгновений острье болта, судорожно пляшущее в неверных руках, смотрело ей в грудь. Потом опустилось, но выдохнуть Лукреция так и не смогла. Ее муж, ее возлюбленный, несчастный, умирающий муж бросил арбалет, высунулся из окна и закричал с силой и бешенством, страшными в человеке, который еще час назад даже не мог встать, чтобы самостоятельно облегчиться:

— Убийца!

Не возникало никаких сомнений, в чей адрес он выдвинул это обвинение. Чезаре стоял неподвижно, хотя кровь с его виска текла довольно сильно. Лукреция бросила на него одинственный взгляд, подобрала юбки и бегом пустилась обратно в дом, наверх, к мужу, которого не имела права оставлять.

К тому времени, когда она добежала, в спальню успели набиться слуги. Санчия что-то верещала, твердя, что Альфонсо отбросил ее со своего пути. Сам Альфонсо снова лежал на постели, и судя по тому, как он бился в руках лакеев, водворили его туда силой. От вида истерзанного, изуродованного калеки, сражающегося с такой звериной яростью, Лукреции захотелось кричать. Без слов — просто открыть рот и кричать, кричать, кричать, пока она не охрипнет и не оглохнет от собственных воплей.

— Руки прочь, — прошипела она, подлетая к кровати.

Слуги тотчас отступили, с готовностью предоставляя своихнувшегося хозяина заботам его жены. Альфонсо обмяк, и Лукреция порывисто его обняла, стараясь не слишком сдавливать изрезанное тело, содрогавшееся от малейшего неосторожного прикосновения.

— Все хорошо, — сказала она. — Все хорошо, Альфонсо, успокойся. Умоляю тебя. Не надо.

— Ты ему веришь, — хрипло ответил ее муж. Один из ударов пришелся в горло, и его голос тоже уже никогда не будет прежним. Ничто уже не будет прежним. — Ты веришь этому

ублюдку, он совсем задурил тебе голову. Он и ваш проклятый отец.

— Ш-ш. Ты сам не понимаешь, что говоришь, любимый. Ты еще очень болен.

— Болен, — что-то похожее на усмешку раздвинуло его поблленные губы. — Я не болен, Лукреция, я уничтожен. Альфонсо Арагонского больше нет. Эта груда кровавого тряпья — не Альфонсо Арагонский, которого ты любила.

— Любила, — сказала она, бережно накрывая ладонями его лицо. — Люблю. Не перестану любить никогда.

— И он мне этого не простит, — прошептал Альфонсо и закрыл глаза, вконец измученный борьбой с ней и с собственным телом.

Лукреция так хотела поцеловать его, но не могла. Она попыталась около недели назад, и он чуть не ударил ее.

— Альфонсо, мы об этом уже говорили. Чезаре не причастен к покушению на тебя. Я ведь говорила... — она осеклась, огляделась. Слуги потихоньку вышли, Санчия тоже убежала, воспользовавшись возможностью — брат невообразимо ее пугал, а уход за ним утомлял. Никого не осталось рядом с Альфонсо, кроме Лукреции. И она продолжила: — Я говорила про фигурку быка. Если бы Чезаре правда желал твоей смерти, он бы убил тебя собственными руками. Голыми руками, Альфонсо. Он всегда делает так, если по-настоящему ненавидит.

— И твоего брата Хуана он тоже так убил?

— Нет! Он не убивал Хуана! Господи, да почему ты видишь в нем дьявола? Почему двое мужчин, которых я люблю больше всего на свете, так ненавидят друг друга?! — в отчаянии выкрикнула она, и Альфонсо тут же подхватил:

— Вот видишь? Ты сама понимаешь, что Чезаре считает меня врагом.

— Нет, я... я не то хотела сказать...

— Ты не хочешь видеть, — обессилено прошептал он. — Не хочешь верить. А я просто знаю. Когда он сегодня пришел

сюда и увел тебя вниз, он посмотрел на меня и... Лукреция, обещай мне одну вещь.

— Альфонсо, послушай, ты слишком...

— Лукреция!

— Хорошо, хорошо, обещаю! Что ты хочешь?!

В ее голосе прорвалось раздражение, вызванное усталостью, горечью, никак не ослабевающим горем. Если бы она только знала. Если бы знала хоть что-нибудь наверняка — и уже все равно, что именно! Все равно, какой ответ она может получить, лишь бы он был определенным и не содержал в себе лжи.

— Обещай, — сказал Альфонсо, — что поверишь мне, если завтра меня найдут мертвым. Что поверишь и отомстишь.

Она подумала о Чезаре, вспомнила его полную неподвижность и то, как он, зажимая рану на виске, смотрел на окно, из которого только что вылетела его смерть. Он делает это только собственными руками. Только в приступе бешенства и собственными руками. Он — бык.

И Лукреция сказала:

— Обещаю.

В ту ночь она впервые решила взять уговорам Чезаре, Санчии и отца и ушла в другую комнату на всю ночь, оставив мужа заботам сиделок. Она уснула, едва голова коснулась подушки, и проспала беспробудным сном десять часов подряд. Разбудил ее тревожный, горестный крик, разносящийся по спящему дому. Едва занималась заря, розовые солнечные лучи только-только коснулись вершины холма Квиринал, но тело Альфонсо Арагонского, второго мужа Лукреции Борджа, уже успело остыть. Он лежал, запрокинув голову, широко разинув рот и выпучив остекленевшие голубые глаза. Рядом на кровати валялась небрежно брошенная смятая подушка. А на посивевших руках отчетливо виднелись ссадины, и даже темная корка чужой запекшейся крови под ногтями. Он дрался до последнего вздоха.

Лукреция подошла к его постели, села на пол и выплакала все глаза.

На погребальную мессу она не пошла. Слуги шептались по углам, качали головами, сокрушились, что молодой господин отошел без последнего причастия и без исповеди, а стало быть, путь на небеса для него закрыт. Лукреция не верила в небеса, но верила в ад, и знала, что он куда ближе, чем думает большинство людей. Только руку протяни... а впрочем, даже и не протягивай — ад сам дотягивается до тебя.

Она заперлась в своей спальне, велев не пускать к ней никого, кроме Чезаре. Она не сомневалась, что он придет, примчится тут же, едва узнает, и вслушивалась в шум улицы за окном, пытаясь разобрать в повседневном гуле стук копыт его коня. Так она вслушивалась, жадно ловя эхо его шагов, в далеком детстве, когда они разлучались на несколько дней или недель, и она бегала по комнатам, выглядывая в окна от нетерпения, не в силах присесть, зная, что вот-вот он приедет. Сейчас Лукреция сидела не шевелясь, сложив руки на коленях. Перед ней стояла бутылка вина и две чаши, полные до краев. Когда Чезаре придет, она попросит, чтобы он выпил с нею за упокой души ее мужа. Они выпьют одно и то же вино вместе, и она будет глядеть в его глаза, не отрываясь. А когда он упадет, она поцелует его почерневшие от вина губы, возьмет его кинжал и вонзит себе в грудь.

— Добрый день, монна Лукреция.

Она обернулась. Все, что случилось, выжгло ее дотла, и потому удивления она не почувствовала. Только шевельнулась в груди глухая досада от того, что сейчас, когда она не в силах следить за работой прислуги, та вконец распустилась и не может выполнить самый простой приказ. Она же велела никого сюда не пускать, кроме...

— Ты издеваешься надо мной, называя такой день добрым, — сказала Лукреция, глядя на женщину, которую знала под именем Кассандра, женщину, которую привел к ней ее брат. — Я могу приказать слугам, чтобы они выsekли тебя за это.

— Ваши слуги не всегда выполняют ваши приказы, — сказала Кассандра, словно прочтя ее мысли. Если бы она улыбнулась при этом, Лукреция вскочила бы, вцепилась бы ей в лицо и силой влила вино, предназначавшееся ее брату, в этот проклятый лживый рот. Лживый... она замерла.

Женщина подошла ближе и тронула кончиком пальца край чаши с вином. Ногти у нее были короткие и сероватые, но чистые. «Какие странные руки у нее, — отрешенно подумала Лукреция. — Не руки знатной дамы, но и не руки мещанки или крестьянки. Странные, как и все в ней. Где же я ее видела прежде?»

— Это для него? — тихо спросила Кассандра, и Лукреция медленно кивнула.

Женщина покачала головой и сказала:

— Не надо.

И эти два слова, два таких простых и коротких слова словно пробудили Лукрецию ото сна. Она стиснула бледное узкое запястье Кассандры.

— Ты все знаешь. Ты еще тогда сказала мне, что все произойдет именно так! Откуда ты все это знаешь, ведьма?!

— Я не ведьма, монна Лукреция. Посмотрите на меня сами. Разве я лью воск или потрошу черных кур, или читаю заклинания на древнем языке, чтобы вызвать дьявола?

— Но ты знаешь, — в собственном голосе Лукреция услышала нотки страха, а еще — беспомощности. Она не смогла бы сказать, что из этого разозлило ее сильнее. Лукреция Борджиа не боится и не бывает беспомощной! Но... — А если правда знаешь, то скажи, скажи сейчас, Чезаре убил моего мужа или нет? Только это! Я не хочу больше ничего другого знать, только это мне скажи!

Лукреция видела, как тряется ее собственная рука, словно в припадке падучей. И могла лишь догадываться, сколько безумия плещется сейчас в ее покрасневших, навеки сухих глазах. Кассандра стояла какое-то время молча, не пытаясь высвободить руку из ее хватки, хотя Лукреция стискивала пальцы так, что те начали неметь.

— Нет, — сказала Кассандра наконец. — Не Чезаре.

Перед глазами Лукреции вспыхнуло солнце. Все осветило на одно сияющее мгновение — и тут же ослепило ее, так что перед взглядом пошли пятна. Она со стоном обмякла в кресле, сухо всхлипывая от облегчения. «Господи, благодарю. Благодарю, что она... это создание... кем бы она не была — спасибо, что она пришла сюда раньше него».

— Вам стало легче, монна?

— Да, — пролепетала Лукреция. — Да!

— Это еще не все. Вы сказали, что не хотите больше ничего знать, но за одно знание придется заплатить другим. Вы теперь верите мне?

— Да, верю.

— Тогда послушайте очень внимательно, потому что я сейчас скажу то, зачем пришла к вам. Монна Лукреция, вы и вся ваша семья, а прежде всего ваш отец и Чезаре, умрете в течение ближайшего года. И случится это из-за фигурок.

— Из-за быка? — прошептала Лукреция, глядя на женщину во все глаза, и та неопределенно качнула головой.

— Я знаю лишь то, что фигурки принесли вашему роду славу и власть, и из-за фигурок вы все это потеряете. Вы нажили слишком много врагов, и стоит вам лишиться власти, вы сразу лишитесь и жизни. Я не могу сказать, случится ли это из-за быка, или паука, или ласточки, а может, из-за всех трех. Но так будет. У вас остался один год. Меня... — она заскользила, и впервые за все время, что Лукреция знала ее, в лице ее пропустила неуверенность. — Меня просили это вам передать.

— Кто просил?

— Я не могу сказать вам. Еще не сейчас. Может, позже... в самом конце.

От ее последних слов по спине Лукреции пробежал холодок. Но взгляд она не отвела. Ей наконец все стало ясно.

— Значит, фигурки. Все дело в них.

— В них, монна. Вы должны были умереть в детстве, когда съели вместе с вашим братом Хуаном отравленных персиков, и вас спасла ласточка. Чезаре должен был погибнуть от руки Катерины Сфорца, которая захватила бы и запытала его, если бы сработала ее ловушка в замке Форли. А ваш отец, если бы не обладал пауком, давным-давно пал бы от кинжала одного из тех, кто не хотел видеть его при власти. Вы все трое живете в долг. Но долги приходится отдавать.

— А если мы избавимся от фигурок? Если уничтожить их...

— Это невозможно. Но вы можете от них отказаться. Тогда вы измените предопределенный ход событий, и у вас появится шанс.

— Предопределенный ход?

— Цепь обстоятельств, монна Лукреция, связанных с фигурками напрямую. Чезаре чем дальше, тем больше сходит с ума под воздействием быка, и это доведет его в конце концов до самоубийства. Ваш отец, его святейшество, слишком рассчитывает на паука, но порой неудачно сплетенная сеть способна связать самого хозяина. А вы...

— Что — я? — спросила Лукреция, когда Кассандра умолкла.

— Вас не берет никакой яд, — после паузы проговорила та. — Но однажды найдется отрава, с которой не сможет справиться даже ласточка. А вы будете слишком рассчитывать на силу фигурки, и это вас погубит. Это всегда губит всех.

Не размышляя и боясь передумать, Лукреция встала. Присунула руки под свои тяжелые золотистые косы, сняла с шеи цепь, на которой носила фигурку. Протянула Кассандре.

— Возьми.

— Монна Лукреция...

— Возьми! Я могу отдать ее только тому, кому доверяю. А я не доверяю никому, кроме отца... и Чезаре... а им нельзя. Бери же!

Женщина раскрыла ладонь, и ласточка, мутно блеснув, скрылась в ней. Кассандра держала фигурку без трепета и благоговения, глядя на нее, как на нечто хорошо знакомое.

— Что она такое? — не выдержав, спросила Лукреция, и Кассандра покачала головой:

— Я сама не очень понимаю, монна. Но расскажу все, что знаю, при нашей последней встрече. В самом конце.

— Через год?

— О нет, — улыбнулась Кассандра. — Теперь уже нет. Если вы поняли меня и все сделаете так, как надо.

В коридоре раздались шаги и возбужденный голос Чезаре, требовавший, чтобы его впустили. Лукреция повернулась к двери — а когда посмотрела туда, где только что стояла Кассандра, то не увидела ее. Дверь распахнулась, Чезаре вбежал, сгреб Лукрецию в медвежьем объятии, без конца повторяя, как это ужасно и как ему бесконечно жаль. Она уткнулась лбом в его плечо, запустила пальцы в его всклокоченные волосы, погладила. Словно это не он примчался утешить ее, словно ей, именно ей нужно было вселить в его душу покой.

Когда он отстранился и, оглядевшись, машинально потянулся к чаше с вином, Лукреция оттолкнула его руку.

— Ты любишь меня? — спросила она.

— Конечно, сестренка..

— Бык сейчас при тебе?

— Что? — его рука метнулась к груди и замерла. — Нет. Ты же просила меня пореже надевать его, вот я и...

«Жаль, — невольно подумала она. — Очень жаль, что ты именно сегодня послушал меня».

— Я хочу, чтобы ты съездил домой, взял его и привез сюда. И отдал мне.

— Лукреция, что ты говоришь? Что на тебя нашло? Твой муж умер, при чем здесь мой бык, я не...

— Он не твой, — повысив голос, сказала она. — Ты разве еще не понял? Эти фигурки не принадлежат нам! Мы принадлежим им!

— Хорошо, хорошо, — он явно был готов сейчас на все, лишь бы ее успокоить. — Как скажешь.

— Привези мне быка. Завтра же, нет, сегодня. Если правда любишь меня. Если не лгал мне всю жизнь.

— Хорошо, я сделаю, все сделаю, все...

Чезаре вдруг замолчал, сгреб ее лицо в ладонях и поцеловал в губы. Быстро, почти пугливо, словно мальчик, укравший свой первый поцелуй. Лукреция не шелохнулась, и Чезаре, выдохнув, отпустил ее. Взгляд у него был мутный.

— Поезжай, Чезаре, — мягко сказала она.

Он ушел от нее, как в тумане, и Лукреция видела, как подрагивают его широкие крепкие плечи. И если бы не Кассандра, если бы не эта женщина, знавшая то, чего не могла знать, Лукреция в этот миг окончательно удостоверилась бы, что Чезаре убил ее мужа и теперь одурманен счастьем, одурманен сознанием того, что его сестра снова принадлежит только ему.

«Но я никому не принадлежу, брат мой. Я — Борджаиа», — подумала Лукреция, глядя в окно ему вслед.

До вечера она оставалась дома, по-прежнему никого не принимая. Когда стемнело, надела темный плащ, накинула капюшон и одна, пешком пошла к резиденции Папы, где жил ее отец. Лукрецию пропустили беспрекословно — уже весь Рим знал о ее горе. Лукреция тихо прошла темными коридорами и остановилась у двери в спальню отца. Родриго уже отошел ко сну, он лежал, вольготно раскинувшись, на своей необъятной кровати, совершенно голый, с небрежно наброшенной на ноги простыней. Его наложница Джулия Фарнезе спала рядом, свернувшись под его боком, словно большая

рыжая кошка. На столике у кровати слабо горела оплавившаяся свеча. Лукреция подошла к постели отца и минуту стояла, глядя, как плывут густые тягучие блики по матовой поверхности серебристой фигурки, покоящейся у Родриго на груди. Потом она наклонилась и осторожно, почти не дыша, разрезала принесенными с собой ножницами шнур, удерживавший фигурку.

Уходя, она задула свечу.

ГЛАВА 10

1503 ГОД

Кардинал Адриано да Корнето играл в шахматы сам с собой: это успокаивало его и помогало сосредоточиться. Он разыгрывал знаменитую партию, где белые, обладая лишь королем и пешкой, начинали и выигрывали в пять ходов. Не возникало сомнений, что пешку надлежало продвинуть до восьмой линии и превратить в ферзя, но все было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Кардинал да Корнето размышлял над этой дилеммой, подперев рукой подбородок, когда уловил боковым взглядом тень своего мажордома Клавиньо, вошедшего, как всегда, тише мыши.

— Ваше преосвященство, здесь человек, называющий себя слугой его святейшества. Просит его принять.

Корнето встрепенулся. Выпрямился; шахматная задача тотчас выветрилась из его головы.

— Пусть войдет.

Он не знал человека, появившегося на пороге, хотя неоднократно бывал в доме Родриго Борджа. У слуги было длинное беличье лицо с щербатым ртом и плоскими губами, но глаза смотрели внимательно и все подмечали. Он подошел, встал на колени, и кардинал протянул ему перстень для поцелуя. Слуга тут же припал к нему, явно польщенный подобной честью.

— Как ваше имя, сын мой?

— Стефано Дуаче, ваше преосвященство.

— Что ж, Стефано, ты либо очень смел, либо очень глуп, раз пришел ко мне без ведома своего хозяина. Или, может быть, Родриго прислал тебя, чтобы передать мне привет? — спросил кардинал и неприятно засмеялся. Дуаче вошел к нему, сутуясь и оглядываясь, как вор, и такому опытному шахматисту, как Адриано да Корнето, не составило труда сделать очевидные выводы.

— Не совсем так, ваше преосвященство. Я действительно пришел, чтобы передать вам привет, но не от его святейшества.

— А от кого же?

— От смерти.

Да Корнето нахмурился. Он был не из пугливых, и уж тем паче — не из впечатлительных, и его не купить драматичными репликами. Но Дуаче тоже оказался не промах: по выражению лица кардинала он тотчас понял свою ошибку и быстро заговорил:

— Вы вряд ли знаете, ваше преосвященство, но ваш управляющий нанял меня кравчим на сегодняшнем празднике.

— Вот как, — проговорил Корнето, внимательно глядя на него. Действительно, он переложил хлопоты по поводу этого вечера на плечи слуг, сам полностью от них устранившись.

— Но он, видимо, не знает, что я служу Борджа. Не так давно, всего несколько месяцев, потому его святейшество, наверное, и выбрал меня — я еще не успел примелькаться и легко мог проникнуть в ваш дом.

— И что, — проговорил кардинал, начиная понимать, — его святейшество отдал тебе какие-то особые распоряжения по поводу этого вечера?

— Да, ваше преосвященство. Он вручил мне кувшин вина, которым я должен угостить ваше преосвященство... и монну Лукрецию.

Корнето побарабанил пальцами по шахматной доске. Праздник по поводу помолвки его незаконной дочери с племянником

Франческо Колонны был назначен еще неделю назад, и все эти дни велись активные приготовления. Папа обещался быть, так как Мария-Луиса приходилась ему крестницей, а с Колонна он в последнее время всеми силами старался наладить дружбу. Надо сказать, это оказалось не так уж сложно после того, как Антонио Орсини вынесли из дома Папы ногами вперед. Ненависть, полыхавшая между кланами Орсини и Колонна, была известна всей Италии, и если что и могло объединить их ненадолго, то лишь общая мечта свергнуть Борджиа с престола Святого Петра. Однако именно проклятый Борджиа обезглавил Орсини одним ударом, за что Франческо Колонна его не то чтобы возлюбил, но стал чуточку меньше ненавидеть, и даже несколько раз на заседаниях кардинальской коллегии высказывался в поддержку Папы при обсуждении спорных вопросов. По всему выходило, что Родриго должен быть на этом празднике, и как бы мало ни хотелось кардиналу да Корнето принимать его в своем доме и, тем более, за своим столом, не пригласить понтифика он не мог. А с ним и его дочь, монну Лукрецию, эту шлюху, которая даже собственную супружескую жизнь сумела превратить в непристойный фарс. Все это закончилось так, как и должно было закончиться; вчера утром по городу разнеслась весть о кончине Альфонсо Арагонского, тут же обросшая жуткими слухами. Говаривали даже, будто Чезаре Борджиа собственоручно задушил зятя подушкой в постели, пока его сестрица стояла рядом и держала свечу. Как бы там ни было, кардинал да Корнето сильно сомневался, что Лукреция явится на торжество, да и Папа, скорее всего, отклонит приглашение в связи с горем в его семье. Но Стефано Дуаче, явившийся спозаранку к кардиналу на порог, посеял в нем сомнения. И как это он сказал... Вино, предназначеннное только ему и Лукреции Борджиа? И что это значит?

— Ты полагаешь, вино отравлено? — спросил кардинал, и Дуаче с готовностью кивнул.

— Я сам видел, как его святейшество подсыпал туда яд.

— Но почему, в таком случае, он велел тебе подать это вино его дочери? — в голосе кардинала повеяло холодком. — Не кажется ли тебе, любезный, что ты придумал слишком затейливую ложь, в которой запутался сам?

Он намеревался смутить наглеца этим вопросом, но тот и бровью не повел. Напротив, по его плоским губам скользнула змеиная полуулыбка. Он ответил вопросом на вопрос:

— Хорошо ли ваше преосвященство осведомлены про обстоятельства гибели кардинала Орсини?

— Еще бы, черт возьми, — слегка забывшись, проворчал Корнето. — Он поперся к Борджиа на званный ужин, как последний дурак, сразу после того, как его племянники чуть не угрожали Чезаре. Любому идиоту ясно, что он не мог выйти оттуда живым.

— Но разве кардинал Орсини был идиотом? Не думаете же вы, что он позволил бы так легко отравить себя? И известно ли вашему преосвященству, что на том ужине также присутствовала монна Лукреция? Паж кардинала Орсини потом в подробностях описал тот злосчастный вечер.

Корнето кивнул, начиная понимать. Это казалось невероятным, но...

— Ты считаешь, что его дочь каким-то образом невосприимчива к ядам?

— Похоже на то, ваше преосвященство. Я служу им всего четыре месяца, но уже дважды был свидетелем подобных событий. Как-то раз монна Лукреция как бы случайно оцарапала золотой булавкой руку монны Оливии деи Винченца. Она тут же устыдилась, стала просить прощения, заявила, что должна наказать себя за неловкость, и оцарапала себе руку той же булавкой. Монна Оливия умерла к концу недели, а монне Лукреции, как вы знаете, ничегошеньки не сделалось.

— Любопытно, — пробормотал кардинал. Глаза его не отрывались от одинокой белой пешки на мраморной шахматной доске, со всех сторон окруженной вражескими фигурами.

— Я не лгу, ваше преосвященство. За недолгое время я столько насмотрелся в этом доме, что на Страшном суде Господь наш Иисус Христос утомится выслушивать мои свидетельства против этих дьяволов Борджа. Они щедро платили мне, да к тому же им много лет служит мой кузен Мичелотто...

— Мичелотто! — подскочив, воскликнул кардинал. — Этот душитель! Твой кузен?!

— Ну да, он-то и рекомендовал меня его святейшеству.

— Полагаю, зря.

— Вы совершенно правы, — покладисто согласился Дуаче и опять неприятно улыбнулся.

Корнето лихорадочно размышлял. Можно ли верить этому проходимцу? Кузен знаменитого душителя, Господи Боже! Но не слишком ли хитроумной выглядит ловушка? Разве не легче Родриго просто отравить его, как он привык поступать со своими врагами? К чему затевать подобный спектакль?

— Чего ты хочешь? — спросил он напрямик.

— Золота, — так же честно ответил Дуаче. — Достаточно золота, чтобы я мог навсегда убраться из этого вонючего города.

— Не стоит оскорблять священный Рим, Стефано.

— Простите, ваше преосвященство. Человек слаб.

«И дьявол пользуется этим», — мысленно закончил да Корнето и прикрыл глаза. Белая пешка резала взгляд, притягивала его. Кардинал смотрел на доску и по-прежнему не видел решения задачи.

— Не спрашиваю, сколько ты хочешь, — проговорил он. — Какой бы ни была сумма, ты ее получишь. Но ты ведь знаешь, что недостаточно лишь выдать намерения Родриго? О них я и сам мог догадаться.

— О да, ваше преосвященство, — сказал Дуаче и подобострастно поклонился.

— Ты подашь ему его собственное вино, — закончил кардинал и посмотрел Дуаче прямо в лицо. — Ему, его сыну и его дочери, если они тоже придут.

— Как будет угодно вашему преосвященству, — сказал Дуаче, не моргнув глазом, и Корнето понял, что тот ждал именно такого поворота событий.

Что ж. Тем лучше.

— Скажи управляющему, что я подтверждаю твое назначение кравчим на этот вечер. А теперь убирайся. Придешь ко мне ночью после праздника, если все пройдет успешно.

— Как прикажет ваше преосвященство.

Дуаче снова раскланялся и исчез. Кардинал проводил его взглядом, пожевывая губы. Опять посмотрел на шахматное поле. Пешке остался всего один шаг, чтобы стать ферзем, но что дальше? Он смотрел на доску еще минуту, а потом, озаренный, взял забившегося в самый угол белого короля и отважно продвинул его вперед, почти в самую пасть обступивших врагов. В тыл, вплотную к беспечному черному королю.

До маты осталось два хода.

К вечеру все было готово для начала намеченного торжества. День выдался нестерпимо жарким, зной даже в сумерках почти не ослаб, и в последний момент решили перенести столы в сад. Правда, Марию-Лусию тревожили ядовитые испарения от соседнего озера (дом кардинала, увы, находился не в самой лучшей местности Рима), но сам Корнето лишь отмахивался от них — как-никак, сам он прожил в этом доме всю жизнь, и раз до сих пор не помер от малярии, значит, и его гостям опасаться нечего. Слуги вытащили во двор скамьи, устланные турецкими коврами, расставили по дубовым столам серебряную и золоченую посуду. Гости собирались постепенно, и Папа, согласно своему сану, запаздывал, так как приличия не позволяли кому-либо из гостей прийти позже понтифика. Понемногу сад наполнялся говором и, неизбежно,

сплетнями. Корнето, прохаживаясь меж гостей и здороваясь любезно с друзьями и еще любезней — с недругами, внимательно слушал разговоры.

— А вы слышали, какой гвалт стоял утром во дворце Святого Петра? Будто это не резиденция Папы, а мещанский дом, можно было бы решить, что там дерутся.

— Должно быть, его святейшество наконец прознал о шашнях Джуллии Фарнезе. Ха! То-то забавно будет сегодня посмотреть на его лицо.

— Да нет, нет. Будь так, он бы выгнал Фарнезе, а она сегодня из дворца не выходила.

— Все верно, там не дрались, скорее, что-то искали. От того и шум — все переворачивали вверх дном.

— Искали? — не выдержав, Корнето подошел к сплетничающим, точно куртизанки в ожидании посетителей, кардиналам. — Что?

— Кто же знает, — пожал плечами кардинал Пегрино. — Может, Борджия потерял один из своих сатанинских амулетов? Он их всегда таскает на себе целую связку, воображает, будто под рокеттой их не видно.

— А может, потерялась папская печать? — многозначительно предположил кардинал Тоскино. — Кто знает, какое применение нашла ей ночью монна Джуллия, а там недолго и потеряться...

Кардиналы встретили эту пошлую шутку взрывом чисто-сердечного хохота, и Корнето, улыбнувшись для приличия, отошел от них. В нем понемногу нарастало возбуждение, и он с трудом удерживался, чтобы не потерять непрестанно потеющие ладони.

Наконец ужин начался. Торжество было не очень шумным, собралось около пятидесяти человек, в основном друзья семьи. Блюд подали также немного, всего девять перемен, и, конечно, вдоволь вина — вальполичелла, кьянти, какого угодно. Оно стояло в бочках в специально отведенной части сада,

и оттуда слуги подносили по мере надобности наполненные кувшины, ставя их возле гостей согласно предпочтениям последних. Корнето нашел взглядом Дуаче. Тот кивнул. Кардинал спешно отвел глаза. Его святейшество что-то запаздывал, и это начинало его не на шутку тревожить.

Но Родриго все же явился. Большая часть гостей к тому времени порядком набралась, поэтому его приветствовали преувеличенно громкими возгласами, а затем так же громогласно принялись изъявлять соболезнования по поводу скропостижной кончины его зятя. Родриго отвечал, но скучо. Его лицо было бледным, а глаза усталыми. Корнето пристально наблюдал за ним; вряд ли он так уж убивался по зятю, ведь, в конце концов, его дочь снова свободна, и ее снова можно повыгоднее продать какому-нибудь герцогу или королевскому бастарду. Нет, дело не в бедняге Альфонсо Арагонском. Но в чем тогда? Корнето вспомнились разговоры о шумных поисках, оглашавших этим утром окрестности папской резиденции. Нашел ли Родриго то, что искал?

— А, мой добрый Адриано, — сказал Родриго, когда хозяин дома подошел к нему засвидетельствовать почтение и приложиться к святой деснице. — Рад видеть тебя. Прости, моя дочь не сможет присоединиться к нам этим вечером. Она тяжело скорбит. Но Чезаре обещал быть.

— О, разумеется, — сказал Корнето. — Я понимаю. Бедная Лукреция! Ей не везет с мужьями.

— Зато везет с братьями, — проговорил над самым его ухом низкий голос, от которого Корнето чуть не подскочил. — Простите, ваше преосвященство, я напугал вас? Я не хотел. Здравствуй, отец.

— Твоя маска кого угодно напугает, Чезаре, — вздохнул Родриго. — Ты был у сестры? Утешил ее?

— Ее теперь только время утешит. А я не прочь прямо сейчас залить тоску по моему дорогому зятю добрым вином. Вижу, все уже пьяны вдребезги, а мы с вами непростительно отстаем.

Так, непринужденно разговаривая и словно забыв о хозяине дома, они отправились к почетным местам, отведенным им за столом. Корнето, спрятав улыбку, вновь нашел взглядом Дуаче. Тот не смотрел на него, нарочито суется возле отца и сына Борджа. Родриго, как и всегда, держался блестяще, ни жестом, ни взглядом не выдав, что знает главного кравчего. Когда ему налили вина, Чезаре тотчас сказал: «Что это вы пьете, отец? И мне того же!» По спине Корнето прошел озноб: конечно, сын знает о намерениях отца, знает, что единственное вино, которое на этом ужине можно пить без опаски — это вино, которое подают Родриго. Не в силах отвернуться, прекрасно понимая, что это может выдать его с головой, и все равно не в состоянии совладать с собой, Корнето смотрел, как Родриго и Чезаре, чокнувшись кубками, опорожняют их до самого дна, и снова протягивают ловкому кравчему, и снова опорожняют... Так повторилось несколько раз, а Адриано да Корнето все смотрел и смотрел, наслаждаясь, упиваясь, как смотрят на отблеск света в локонах возлюбленной, на сияние золота в собственных сундуках, на утренний свет наступающего дня после ночи, которую не надеялся пережить.

Праздник закончился на рассвете. Вскоре после полуночи его святейшество, пожаловавшись на усталость после всех тягот предыдущего несчастливого дня, покинул торжество. Чезаре пробыл еще около часа, а потом уехал тоже, хотя славился своей выносливостью и способностью перепить даже самых бывальных пьяниц. Корнето улыбался направо и налево, расточал любезности, шутки и лесть. Его дочь, не блистающая особенной красотой, была, как ему казалось, на удивление хороша в этот вечер, и даже ее жених, прежде неудержанно раздражавший Корнето, сейчас представлялся вполне недурственным парнем.

Спать кардинал отправился в превосходном настроении. Он ничего не пил в этот вечер, даже не пригубил вина, и прежде,

чем отойти ко сну, опорожнил целый ковш холодной колодезной воды. Проснувшись поутру, он тотчас отправил слугу справиться о самочувствии его святейшества. Ответ потряс бы любого: Папа слег с тяжелейшим приступом малярии, и его сын Чезаре, хотя пока что оставался на ногах, тоже оказался поражен этой коварной болезнью.

— Я говорила тебе! — воскликнула, узнав об этом, Мария-Луиса. — Я говорила, что это проклятое озеро рано или поздно сживет кого-нибудь со свету. Какое счастье, что мы с Джованни после свадьбы отсюда уедем!

И Адриано да Корнето на сей раз не мог не согласиться, со всем прискорбием, что дочь его совершенно и очевидно права.

Весть о болезни отца и брата застала Лукрецию в часовне, где она провела весь прошлый день, часть ночи и все утро, молясь за упокой души Альфонсо. В первую минуту эта весть не слишком ее встревожила: она сделала все, как хотела та нездешняя женщина, Кассандра, а значит, у них появилось время. Правда — и при мысли об этом Лукреция нахмурилась — Чезаре так и не привез ей быка, как обещал. Он никогда не придавал обещаниям большого значения, но только не тем обещаниям, которые давал своей сестре. Кассандра сказала, что угроза их роду исходит от фигурок, от всех или от какой-то одной. И что, если эта фигурка — бык? И Чезаре взял его с собой на ужин к кардиналу Корнето? О Боже, что же там могло произойти?!

Через полчаса она уже взбегала по лестнице в резиденции своего отца. В коридорах толпилось много людей, много больше, чем в обычный день — Папа Александр жил на широкую ногу, но двор его ограничивался немногочисленными приближенными, личными слугами и челядью. Сегодня же здесь, кажется, собралось пол-Рима: у Лукреции мельтешило в глазах от синих, пурпурных и красных сутан. Здесь были не

только кардиналы, но и епископы, и люди в длинных черных одеждах и черных шапочках, которые могли быть только лекарями. Зачем к ее отцу вызвали столько лекарей? Это ведь всего лишь малярия, неприятная, но не такая уж и опасная болезнь...

Но они заболели оба, оба. Одновременно. И отцу совсем плохо, судя по напряженным, закаменевшим лицам тихо переговаривающихся врачей и уже заранее скорбным, вытянутым физиономиям клириков. У последних за постными мицами в глазах угадывался с трудом скрываемый алчный блеск. Ведь если папский трон освободится сегодня, время пойдет на часы, и каждый постарается урвать клок от шкуры умершего волка.

«Нет, нет! Что за вздор! Он не может умереть, он — паук! Он был пауком. Я забрала у него паука».

Холодея, едва чувствуя под собой ноги, Лукреция вошла в спальню отца.

Родриго лежал, вытянув руки поверх одеяла. Несмотря на свои годы и склонность к полноте, он всегда выглядел сильным, крепким мужчиной, не забывал упражняться с мечом и копьем, и под его смуглой кожей угадывались крепкие мускулы. Сейчас все это истаяло. Он словно уменьшился вдвое, за одну-единственную ночь похудев разом на добрые пятьдесят фунтов. Его твердый, волевой подбородок заострился и выглядел вылепленным из воска. Волосы, давно начавшие редеть, так плотно облепляли череп, что казалось, будто он совсем облысел. Подмастерье лекаря, стоя рядом, промачивал батистовым платком лоб и щеки Папы Александра VI, и всякий раз, когда он отнимал платок, на нем прибавлялось красных пятен.

Кровавый пот. Один из первых и главных признаков действия «кантареллы», их фамильного яда, их тайны.

Лукреция покачнулась и тронула стену рукой. Кто-то из мужчин, стоящих у одра Папы, заметил ее и что-то сказал, но

она, не слушая, пошла вперед, видя перед собой только его лицо, уже куда больше походившее на лицо трупа, чем живого человека. Родриго увидел ее, что-то вспыхнуло в его глазах, и на этот миг он стал прежним, стал ее отцом, великим Родриго Борджиа, Папой Римским, владыкой, готовящимся сложить к ногам их рода всю Италию, а потом и всю Европу. Он смотрел на Лукрецию из глаз этого полутрупа несколько долгих мгновений, а потом снова исчез, растворился в боли, терзающей его плоть. Лукреции был знаком этот взгляд. Так смотрел на нее из глубин погибающего тела ее муж Альфонсо Арагонский.

Родриго сделал какой-то жест, который его лекари растолковали безошибочно. По легкости, с которой они покинули покой Папы, оставляя больного с дочерью наедине, Лукреция поняла, что все они уже считают его покойником. Никто не сказал ей, чтобы не мешалась под ногами, или что больного нельзя утомлять. Они ничем уже не могли помочь и знали это.

Когда дверь закрылась за последним подмастерьем, Родриго спросил:

— Почему ты не пришла к Корнето?

Странно, голос у него остался прежним. Он звучал тихо и слабо, но это все еще был голос ее отца. Лукреция потупила взгляд.

— Я не могла... простите, отец...

— Ты же знала. Знала, что я затеваю на этот вечер. Как тогда, с Орсини. Мы же все обсудили, дочка. Почему ты меня подвела?

Он говорил мягко, ласково, в его голосе не чудилось и тени упрека. Он готов был выслушать и принять любое объяснение. Любое, кроме того единственного, что она могла дать.

— Отец... Ради Господа Иисуса, что там произошло?

— Измена, — коротко ответил Родриго — и засмеялся сухим, отрывистым кашлем, от которого на губах у него вздулась

розовая слюна. Лукреция смотрела на него с нарастающим ужасом. — Так просто и так предсказуемо, правда? Этот ублюдок, Стефано Дуаче, продал меня Корнето со всеми потрохами. Не только предупредил, но и подменил кувшины с вином. Напоил меня моим собственным ядом. Каков ловкач! И как он, должно быть, смеялся надо мной!

— Дуаче? Но, отец, это же кузен дона Мичелотто! Он всегда был нам верен.

— Да, — Родриго поморщился, то ли от боли, то ли от досады. — За час до твоего прихода наш друг Мичелотто ползал тут, бился головой о пол и выл, дескать, помыслить не мог, что впускает в наш дом змею. Поклялся задушить Дуаче своими руками. Хотя не думаю, что он успеет: Корнето наверняка нынче же ночью угостил этого ублюдка ножом в глотку. Он не дурак и отлично знает, что, как бы меня ни ненавидели, убийство Папы с рук ему не сойдет.

— Убийство, — прошептала Лукреция, глядя на него во все глаза. — Отец, что вы такое говорите?

— А ты не видишь? Я умираю, Лукреция. Я умру сегодня к ночи или, может быть, завтра. И Чезаре, возможно, тоже, хотя он, кажется, пострадал меньше меня.

Чезаре. Чезаре, возможно, тоже. Лукреция взялась за столбик кровати и медленно опустилась по нему, сев на постель у отца в ногах.

— Чертов пот, — сказал Родриго. — Заливает глаза, ничего не вижу. Вытри мне лоб.

Она заставила себя подняться и взять со столика у кровати чистый платок. Кожа на лбу у Родриго лоснилась, переливаясь красным, пот расползался под тканью, пропитывая ее насеквоздь. Лукреция вытерла ему лицо и положила платок обратно, стараясь не замечать, что на руках у нее осталась кровь ее отца.

— Если бы ты пришла, — сказал Родриго, — ты бы выпила то же вино, что и Корнето, и по вкусу заметила бы, что в нем

нет яда. Ты же знаешь, каков вкус «кантареллы». И мышьяка. И белладонны. Ты у меня все-все знаешь, Лукреция. Ты умная девочка, ты бы все поняла.

Лукреция судорожно вздохнула, закрыла лицо руками и упала на колени. Она не плакала, она разучилась плакать, но ее сотрясало от сухих всхлипов, похожих на кашель, не приносивших никакого облегчения. Иссохшая, холодная рука ее отца легла ей на темя.

— Ну, ну, дочка. Я не виню тебя. Просто...

— Ох, отец! — воскликнула она. — Я не пришла, не могла прийти, потому что у меня больше нет ласточки! Я не могла прийти и пить с Корнето вино!

Его рука, перебиравшая ее волосы, замерла.

— Повтори, что ты сказала.

— У меня нет ласточки. Я ее отдала.

— Отдала? Кому? Когда?

— Вчера... той женщине... она сказала, что...

Лукреция замолчала, сраженная мыслью, от которой ее разум и сердце наполнились чернильной тьмой. Той женщине. Отдала. Она сказала.

Она сказала, что мы все умрем через год, если не избавимся от фигурок. Но она не сказала, когда придет наша смерть, если мы откажемся от них. Может, быть, завтра? Может быть, прямо сейчас?

Родриго все еще держал руку на ее голове. Теперь это не было успокаивающим, прощающим отеческим жестом. Его пальцы дрогнули и скрючились, словно готовясь вцепиться, хищные и жестокие, как птичьи когти.

— Лукреция, — со свистом выдыхая воздух из разлагающихся легких, сказал Родриго Борджа, — где мой паук? Ты знаешь? Ты...

Она отшатнулась прежде, чем он успел сжать руку в кулак. Он намотал бы ее волосы на запястье и ударил ее головой о раму кровати, ударил бы изо всех сил, которые в нем остались,

раскроил бы ей череп, и она упала бы рядом с ним мертвая, а он пережил бы ее всего на час, и они вместе, рука об руку спустились бы в ад... и подождали бы там Чезаре. Эта мысль, такая яркая, что была почти что видением, огнем вспыхнула, опалив Лукреции мозг, и она с криком вскочила, глядя на своего отца в таком отчаянном ужасе, словно он и вправду только что попытался ее убить, вправду, а не в ее разыгравшемся воображении.

— Ты отказалась от ласточки, — свистящим шепотом, выпучив на нее налитые кровью глаза, проговорил Родриго. — И ты, именно ты украла у меня паука. Я весь дом обыскал, едва не убил Джулию, не сомневаясь, что он где-то здесь... где он? Где он?! — закричал Родриго, приподнимаясь на постели. Простыня упала, стало видно, как жутко он истощен, как выпирают под почерневшей кожей ребра. Он был страшен. Но еще страшнее было то, что это она сделала его таким.

— Я бросила его в Тибр, — еле шевеля губами и не в силах глядеть отцу в лицо, выдавила Лукреция. — Отец, верьте мне... эти предметы губят нас. Это они, в них все дело, их вина, что вы оказались здесь...

— Это твоя вина, дура! — закричал Родриго, в бешенстве молотя кулаком по смятой, окровавленной простыне. — Кому, кому ты поверила?! Кто задурил тебе голову? Кто оказался важнее твоей семьи?

— Вы не понимаете! — в последней попытке защититься выкрикнула Лукреция. — Эта женщина — она все знает! О фигурах, о Чезаре, обо мне. Она знает, что он не убивал Хуана, и не убивал Альфонсо... она мне сказала!

Родриго уставился на нее. Его плечи, ставшие такими kostлявыми, затряслись в приступе беззвучного, безумного хохота.

— Не убивал? Не убивал Альфонсо? Она тебе сказала, твоя пророчица, которой ты так слепо веришь? Да, Лукреция, Чезаре

не убивал твоего мужа своими руками. Он знает, что каждая оторванная им голова на шаг приближает его к полному отупению. Я именно поэтому почти никогда не пользовался силой быка, я подозревал что-то такое, хотя окончательно убедился лишь на примере Чезаре. Он не убивал Альфонсо, нет. Это сделали его наемники. А когда им не удалось, до конца дело довел Мичелотто. Об этом тебе твоя святая сука не говорила?

— Неправда, — прошептала Лукреция, широко распахнув глаза. — Неправда. Отец, я понимаю, вы возненавидели меня, но не надо так говорить, только чтоб сделать мне больно.

— Верь во что хочешь, Лукреция. Ты уже причинила весь вред, который могла. Я сам дурак, раз вовремя не догадался. Кто еще мог бы срезать с моей шеи паука так, чтобы я ничего не почувствовал? Я всецело тебе доверял. А ты мне не поверила, девочка, ты поверила какой-то ведьме только потому, что она сказала то, что ты хотела услышать. Ты хоть понимаешь, что наделала? Ты уничтожила нас. Уничтожила нашу семью.

Лукреция попыталась схватить его за руку, прижать к губам, но он оттолкнул ее с силой, которой она не ждала встретить в этом распадающемся заживо теле.

— Поди вон, — хрипло сказал Родриго. — Ты была моей отрадой и гордостью, я считал тебя самой разумной из всех моих детей. Но ты дала себя ослепить. Почему ты просто не простила Чезаре? Надо было всего лишь принять его и простить, так, как мы с ним всегда принимали тебя. Мы Борджаи, Лукреция. Мы черти. Так нечего замаливать наши грехи, нас это не спасет.

— Отец!

— Убирайся. Иди к брату. Он еще жив, может, ты успеешь ему сказать, что это ты убила его и меня. Уходи, Лукреция, сейчас же. А если еще раз увидишь ту женщину, не говори с ней, не слушай ее, просто всади ей в глотку кинжал.

Он отвернулся и замолчал. Лукреция еще умоляла его, пыталась заставить на себя посмотреть, просила прощения — но Родриго не смотрел на нее, он смотрел за окно, туда, где в синем августовском небе, цепляя друг друга крыльями, летали голуби. С этой минуты и до самого вечера он никому не сказал больше ни единого слова, не посмотрел на папские буллы, которые ему поднесли, уговаривая приложить к ним печать. В восемь вечера столб черного дыма поднялся над курией, и улицы Рима, весь день проведшие в напряжении, разразились единым вздохом: Папа Александр VI, божьей или дьявольской милостью владыка святой римской церкви, проклятый Родриго Борджа испустил дух.

ГЛАВА 11

1507 ГОД

Ночную тишину прорезал вопль. Он вонзился в уши, прорвавшись в них раскаленным шипом: высокий, захлебывающийся, мало похожий на человеческий крик, скорее, на вой агонизирующего животного. Вой длился бесконечные полминуты, прежде чем сорвался в бульканье и окончательно стих. На смену ему пришли глухие звуки возни и ругани: убийцы заспорили о разделе добычи.

Чезаре, слушавший эту какофонию в своей спальне, в полной темноте, приподнялся на локте и перевел дух. Он потянулся к столу в изголовье кровати, пытаясь достать до свечи и зажечь ее. По его лбу струился холодный пот — от неимоверных усилий, которые отнимало у него это такое простое движение, и от адских воплей, еще звеневших в его голове. В последнюю неделю в Риме стало совершенно невозможно спать. Со смертью Александра VI Вечный город погрузился в хаос: пока конclave заседал в замурованном зале, пытаясь выдрыгнуть друг у друга папскую тиару, как свора голодных собак дерется за кость, Рим остался без хозяина. Уличное ворье всех мастей поняло, что пришли его золотые деньки — и хлынуло на улицы города, словно волна нечистот из прорвавшейся сточной трубы. Резали, грабили, насиливали, убивали день и ночь, в трущобах и возле дворцов, в кабаках и на ступенях церквей. Добропорядочные горожане, вооружившись старыми фамильными аркебузами, запирались по домам, лавки

стояли закрытыми, трудно было достать даже хлеба, на Рим понемногу надвигалась черная тень голода. И так будет продолжаться, пока чертовы кардиналы не выберут чертowego Папу вместо того, кто имел глупость отравиться собственным ядом. А его сын, его блестательный, могучий, непобедимый сын Чезаре Борджа вынужден валяться, словно мешок с дермом, на мокрых грязных простынях, и ждать, пока все закончится — для Рима и для него.

Чезаре почувствовал дурноту еще на ужине у Адриано Корнето, но по-настоящему его свалило только к обеду следующего дня. Он не успел навестить отца, весть о болезни которого получил утром — и так вышло, что в последний раз они виделись в доме того самого человека, который погубил их обоих. Они не попрощались, не сказали друг другу ничего из того, что могли и хотели сказать. Истекая кровавым потом на вонючей постели, ходя под себя, слушая крики и гвалт осиротевшего Рима за стенами, Чезаре думал, что это к лучшему. Их отец всегда слишком полагался на паука — слишком, и, лишившись его, потерял все. Все и сразу, в одну-единственную ночь. А с ним все потерял и Чезаре.

Конечно, они не раз обсуждали возможность подобных событий, как и действия Чезаре в том случае, если Родриго, рано или поздно, будет убит. План был составлен и утвержден: тотчас по получении вести о смерти отца Чезаре надлежало вскочить на первого попавшегося коня и галопом нестись в Сполето, где на такой случай его всегда ждало доброе оружие, свежие лошади, верные люди и тугой кошель. Со всем этим он в течение нескольких дней сумел бы поднять свои гарнизоны по городам Романьи, разослать вести союзникам, собрать армию и не только отстоять свое право на завоеванные земли, но и окружить Рим, заставив нового Папу — кем бы он ни оказался — плясать под свою дудку. Это был отличный план, и залогом его была стремительность. «Когда это случится, — говорил Родриго Борджа, глядя в лицо сына своими

разноцветными глазами, — не медли. Самое главное — не теряй ни минуты, Чезаре. Любое промедление будет стоить тебе жизни».

И разве мог тогда хоть один из них предположить, что известие о смерти отца застанет Чезаре настолько больным и слабым, что он не сможет даже самостоятельно облегчиться, а не то что скакать верхом и завоевывать Рим?

И все пошло прахом.

К вечеру Чезаре впал в беспамятство. По-видимому, он должен был и сам умереть, но этого не случилось. Когда он очнулся, камень уже покатился: за окнами орали, дом опустел — слуги сбежали почти все, за исключением нескольких самых верных, — и следовало с минуты на минуту ждать стражу с приказом об аресте. Но в первый миг Чезаре не подумал об аресте, он подумал о быке. Быка не было с ним в ту ночь — Чезаре помнил о клятве, которую дал Лукреции, но выполнил ее лишь наполовину: он не избавился от быка, а спрятал в тайнике, о котором знали лишь они двое. «До лучших времен», — подумал он, опуская матово поблескивавшую фигурку в выемку между деревянной настенной панелью и золотом лепнины, там, где давно, в детстве, оставлял для своей любимой сестренки счастья и безделушки. Только они вдвоем знали про этот тайник, он был их общим секретом. И если что-то случится, Лукреция будет знать, где искать. Она догадается.

Так он думал, с неохотой пряча быка, отпуская его — но не отказываясь до конца. В саду у Корнето он чувствовал себя хорошо, даже отлично — и списывал это на свежий вечерний воздух и радость от того, что ублюдок Альфонсо угомонился в могиле. А уже на следующий день Чезаре блевал кровью, и доктор Гуччини, качая головой, твердил, как заведенный: «Бычье здоровье, бычье здоровье!» Тогда Чезаре принял его слова за злую шутку, но лишь после смерти отца понял, что Гуччини говорил вполне серьезно. В самом деле, здоровье

у Чезаре Борджа было поистине бычым. Хотя он и сомневался, что это являлось прямой заслугой фигурки, спавшей под кружевным платком в выемке между настенной панелью и завитком лепнины.

Прошла неделя, прежде чем стало ясно, что он действительно выживет. Но он был слаб, так слаб, что едва мог оторвать руку от простыни, провонявшей его потом, мочой и кровью. За ним ходил один Мичелотто, остальных слуг давно простыл след, а сиделка из старого душителя получилась неважнецкая. Его только и хватало, что напоить Чезаре целебным настоем, оставленным доктором Гуччини, да вскидывать аркебузу всякий раз, когда за дверью раздавался подозрительный шум. Странно, кстати, что он никак не отреагировал на эти вопли. Наверное, уснул у порога. Чезаре не винил его — никто не может обходиться без сна неделю подряд, будь он хоть трижды верен.

Ругаясь сквозь зубы, Чезаре кое-как запалил свечу и сел. Его качало, комната плыла перед глазами, и выпустить раму кровати было все равно что бросить обломок доски, на котором болтаешься посреди открытого моря в жуткий шторм. Чезаре ненавидел море, и сейчас при мысли о нем испытал прилив тошноты, тут же сменившийся вспышкой страшной злости на себя. Куда больше, чем море, он ненавидел слабость. Он никогда не бывал слабым, просто не мог быть. Он Борджа. И он еще жив. И бык все еще ждет его в тайнике у пола.

«Не надо. Оставь его. Он принесет тебе зло», — сказал в его голове голос Лукреции, так отчетливо, словно она стояла здесь и в тревоге смотрела на него расширившимися глазами... карими. Ох, кровь Христова, в последнюю их встречу они были карими! Как же он сразу тогда не понял? Он ничего не понял, ничего, он так обезумел от счастья, что она снова свободна, снова принадлежит только ему, что не видел и не замечал ничего. Или бык в самом деле лишил его разума? Чезаре не мог тогда думать, мог только целовать Лукрецию так, как

никогда не целовал ни одну из женщин. И не заметил, что она отказалась от ласточки. Почему? Проклятье, Лукреция, что ты наделала и зачем?

И где ты теперь?

Он выпустил край кровати и встал, тут же уцепившись за полог. Вверху взвизнули кольца, державшие ткань, казалось, что они вот-вот оборвутся под тяжестью его обмякшего тела. Задыхаясь, Чезаре заковылял через комнату к стене. На ней висело огромное зеркало — Чезаре нравилось видеть себя и своих любовниц во время соития — и в нем Чезаре увидел отошедшее, бледное привидение с всклокоченными волосами, неряшливой бородой и диким взглядом. Совершенно диким взглядом.

Он еще не отпустил быка. Пока еще нет.

Внизу послышался шум. Чезаре не обратил бы внимания, если бы шум шел снаружи — еще одно убийство под его окнами в эту ночь, не первое и не последнее. Но шумели с другой стороны, снизу... неужели прямо в его доме?

— Мичелotto? — хрипло позвал Чезаре.

Ему никто не ответил.

Чезаре огляделся. Его меч и кинжал лежали на кресле в углу, там, куда он бросил их неделю назад, в беспамятстве срывая с себя душившую его одежду. Некому было убрать их, некому почистить, но сейчас это оказалось очень кстати. До тайника с быком было пять шагов, до кресла — три. Чезаре поколебался, голос Лукреции снова шепнул ему: «Не надо... Возможно, ты выжил только потому, что тогда быка не было при тебе, так что не надо, Чезаре». Он тряхнул головой, сделал три шага и обвил рукой ножны. Кожаные, отделанные рубинами и серебром — подарок самого Леонардо да Винчи, служившего в армии Чезаре военным инженером в прошлом году, в походе на Романью. Рукоять меча легла в руку уверенно, сразу вернув часть душевного покоя. Вот только сам меч оказался тяжел, непомерно тяжел, и Чезаре недоверчиво посмотрел на

свою кисть, с трудом поворачивающую из стороны в сторону когда-то такой удобный и ладный клинок.

Шум, между тем, приближался. Чезаре услышал вдалеке голос Мичелотто — тот не уснул, а всего лишь пошел навстречу незваным гостям. Шум усилился, заговорили на повышенных тонах. Чезаре стоял посреди спальни, мокрый от пота, полуголый, с бесполезным мечом в руке, и напряженно вслушивался в нарастающий гул, с каждым мгновением все больше уверяясь в мысли, что это пришли за ним.

«Ты дурак», — отчетливо произнес в его воспаленном сознании голос — но не Лукреции, а той женщины, которую он привел к ней, той, что помогла раскрыть заговор... как же ее звали? Кларисса? Класинда?

«Кассандра», — вспомнил он, и по спине его потянуло ходком, хотя ночь стояла безветренная и душная.

«Ты дурак, Чезаре Борджа. Кинулся к мечу, как будто мечу обязан тем, кто ты есть. Разве меч сделал тебя владыкой Романьи? Разве благодаря твоему мечу о тебе слагают легенды? Разве в мече, или в разуме, или в храбрости твоя сила?»

Эти мысли звучали так ясно и четко, словно кто-то и в самом деле проник ему в голову. Чезаре выругался и швырнул меч на пол — точнее, не швырнул даже, а выронил, и сталь тяжело зазвенела об пол. К нему кто-то бежал, и на мгновение его окатило волной пронзительного, горячечного узнавания: вот так же бежали к нему убийцы в замке клана Бальони в далекой Перудже, и точно так же между ним и его смертью стояла только хлипкая дверь — и фигурка быка. Где теперь Перуджа? Где Тила Бальони, ее тиран? И где Чезаре Борджа, тиран не одного занюханного городка, но целой Романьи?

Он бросился к стене, сбиваясь с ног. Если бы у него остались силы, хоть самая малость сил, он бы забаррикадировал дверь или хотя бы запер ее, чем выиграл бы драгоценные секунды и успел добраться до тайника. Но до двери было семь

шагов, целых семь, а до тайника теперь только два. Чезаре споткнулся, упал на колени, впился трясущимися руками в стенную панель. За спиной у него дверь с грохотом ударила о стену, кто-то рявкнул: «Чезаре Борджа, именем Папы Юлия II ты арестован!» Его рука скользнула в щель, кончики пальцев извивались во тьме, судорожно нашупывая подарок, который Лукреция оставила там в благодарность за пригоршню марципана… она всегда ему что-нибудь оставляла взамен…

Железная перчатка сгребла его за волосы на темени, рванула вверх. Пальцы сорвались, едва коснувшись кружева на платке — но не коснувшись матового металла.

— Ты арестован, сучий потрох, — сказал кто-то, и мир раскололся надвое вместе с его головой, а потом исчез.

Конclave, собравшийся по смерти Александра VI, справился с возложенной на него задачей в рекордно короткий срок. Всего неделя понадобилась досточтимым кардиналам, чтобы посредством споров, крика, потрясания кулаками и взаимных обвинений во всех смертных грехах избрать, наконец, лучшего и достойнейшего среди них. Им оказался Джулиано делла Ровере, тот самый, у которого двенадцать лет назад Родриго Борджа из глотки вырвал столь близкую победу, тот самый, кто, затаив зло, натравил на Родриго Борджа — а заодно и на всю Италию — французских захватчиков. Сбылось предсказание, сделанное человеком в маске в ночь убийства Хуана Борджа: Джулиано делла Ровере стал понтификом, и даже скорее, чем ожидал. Позже он предпринял немало попыток отыскать того человека или хотя бы выяснить, кем он был, но так и не добился успеха.

Среди всех своих собратьев и конкурентов Юлий II не выделялся никакими особыми заслугами или достоинствами. Но его ненависть к семье предшественника поистине не знала себе равных. Поэтому первым же приказом, скрепленным

папской буллой, стало распоряжение о немедленном аресте Чезаре Борджа. Местом его заключения определили замок Чиренья, расположенный достаточно далеко от Рима, чтобы новоизбранный Папа чувствовал себя в безопасности, и достаточно близко, чтобы в назначенный день конвой мог без промедления доставить Борджа на папский суд. Сам день суда, впрочем, Юлий называть не спешил, прикидывая, как получше разыграть столь удачно легшую карту.

Чезаре ждал решения его святейшества в тесной, душной камере с единственным зарешеченым окошком под потолком. Он стал еще оборваннее и грязнее, чем был, агонизируя, всеми брошенный, в собственном опустевшем дворце. Но если бы он мог взглянуть в зеркало, то заметил бы, что дикости в его глазах поубавилось, а лицо прояснилось. Его еще терзала горячка, но он больше не чувствовал себя раздавленным ею, и каждый шаг не отдавался ломотой в костях и жаром во внутренностях. Меряя шагами свою клетку, Чезаре снова и снова вспоминал ту проклятую ночь, ненавидя себя за глупость, за то, что кинулся к мечу, не сразу решившись довериться быку. Если бы бык был с ним теперь — никакие решетки и железные двери его бы здесь не удержали. Да, его хорошо охраняли — делла Ровере, как и все, слышал о легендарной силе Чезаре Борджа, и хотя не особо верил в слухи, считая их непомерно раздутыми, но старался предусмотреть все. И все же он не предусмотрел, что сказки о том, как Чезаре поднимает над головой груженые броней телеги и шутя отрывает руки и ноги своим врагам, сказками вовсе не были. Силы возвращались к Чезаре с каждым днем — но это были не те силы. Будь у него фигурка, железная дверь не стала бы для него преградой, ничто бы не стало. Он еще мог, мог успеть сделать то, что задумывали они с отцом. Но время уходило с каждым часом: Чезаре не сомневался, что Папа Юлий, пользуясь его беспомощностью, уже переманил на свою сторону, купил или запугал большую часть прежних союзников

Борджа. Увы, в наши дни клятвам вассальной верности можно верить не больше, чем клятвам любви.

Время шло, Чезаре ел (морить герцога Валентино голодом все-таки не решились), спал, отжимался от пола и зарастал жестким курчавым волосом. И ждал, сам не зная, чего — то ли чуда, то ли казни. Когда спустя много дней дверь его тюрьмы наконец открылась, он повернулся, готовый одинаково спокойно встретить хоть избавление, хоть конец. И осталбенел, увидев на пороге Лукрецию.

— Здравствуй, Чезаре, — сказала она, когда за ее спиной за скрипом закрылась дверь.

Она изменилась, так сильно, что он едва ее узнавал. Стала старше, строже и словно бы холоднее, дальше от него, чем когда-либо была. Чезаре шагнул к сестре, обнял за талию, сбрасывая с ее головы капюшон. Свои светлые, роскошные волосы Лукреция заплела в косы и спрятала под тугую сетку. Взглянув на них, Чезаре невольно подумал, что они, эти волосы, блестящие, непокорные, тоже теперь в тюрьме.

— Сестренка, — проговорил он, глядя на нее и не в силах наглядеться. — Ты жива. Слава Богу. Я боялся думать о тебе.

— Напрасно, — сказала Лукреция так спокойно, словно они сидели в винограднике матери, встретившись посреди ясного дня, чтобы поболтать о всяких пустяках. — Со мной все хорошо. И с Хофре, и с Ваноццей, если тебе это интересует.

— Этот ублюдок делла Ровере не тронул вас?

— Нет. Правда, Хофре пришлось уехать во Францию, а Ваноццу вряд ли будут по-прежнему принимать в лучших домах Рима. А я...

— Что — ты, Лукреция?

— Я вышла замуж, — ответила она и посмотрела на него, вскинув голову, почти что с вызовом. — За герцога Ферранте. Он пришел ко мне сразу после смерти отца и обещал защитить. Ты умирал, я осталась совсем одна, и мне ничего больше не...

— Не оправдывайся, сестренка. Ты сделала, что могла. Никто не ждал такого, дьявольщина, никто из нас. Мы оказались не готовы. Я сам виноват.

Чезаре хотелось погладить ее щеку ладонью, но его руки были слишком грязны, и он, спрятав ладонь за спину, словно нашкодивший мальчишка, неловко отвернулся. Лукреция смотрела на него пристально, даже сурово. Но это не было суровостью осуждения. Скорее, за этой холодностью она прятала что-то. Что-то пыталась от него скрыть.

— Ты выполнил мою просьбу? — вдруг тихо спросила она.

Чезаре глянул на нее исподлобья. Их наверняка подслушивают, хотя... какая теперь, к дьяволу, разница. Все кончено.

— Почти, — сказал он. — Его нет при мне, если ты об этом.

— Знаю, что нет. Если бы был, ты бы не позволил арестовать себя. Ты изменился, Чезаре, — голос Лукреции дрогнул, и она сделала то, чего Чезаре не решался сделать сам: прикоснулась к нему, тронула ладонью его липкий от пота лоб и отвела в стороны немытые пряди, падающие ему на глаза. Прохлада ее кожи на его горячем лице была как благословение. — Ты плохо выглядишь, но больше не сходишь с ума. Разве ты сам не чувствуешь это?

— Не знаю. Я чуть не умер, Лукреция. А как подумаю о том, что этот подонок делла Ровере сделал с нашей семьей, так жалею, что не умер сразу.

— Делла Ровере тут ни при чем, — сказала Лукреция, убирая руку. — Он только орудие, как и многие до него. Это все та женщина, которую ты ко мне привел. Не зря я ей не хотела верить.

Чезаре не сразу понял, о ком она говорит. А когда понял, заморгал.

— Кассандра?

— Да. Только это не ее настоящее имя. Я все думала и думала, где могла раньше видеть ее? Где-то ведь видела точно.

А теперь знаю. Тот человек в маске, с которым не разлучался Хуан перед смертью, помнишь? Это тоже была она. Если бы я только поняла это раньше.

— Лукреция, о чём ты говоришь? Как эта женщина могла сделать с нами такое? Убить Хуана, отравить отца...

— Она не травила отца. Но заставила меня сделать так, чтобы это стало возможным. Заставила поверить, что фигурки приносят зло. Что они уничтожают нас, и уничтожат в конце концов.

— А это правда? — спросил Чезаре с неожиданным для него самого любопытством. Теперь, когда они потеряли все, что могли потерять, он не отказался бы узнать причину этого.

Лукреция не ответила сразу на его вопрос. Её отстраненный взгляд стал еще более затуманенным, словно мыслями она витала далеко.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Я думаю, Чезаре, что мы на самом деле всегда очень мало знали. Ты никогда не задумывался, откуда отец вообще взял эти предметы? И почему подарил их нам, когда мы были еще совсем детьми?

— Да, я когда-то спрашивал его. Но он всегда уходил от ответа.

— Я думаю, Чезаре, отец знал, что с этими фигурками что-то не так. Он знал об их силе, но еще знал о том, что чем сила больше, тем сильнее и страшнее она тебя разрушает. Он никогда не носил все три, когда мы были маленькими. Я часто видела на нем паука, иногда ласточку, но быка он, кажется, ни разу не надевал. Кроме того дня, когда отдал их нам. Он хотел сохранить фигурки в семье, но не хотел оставлять у себя. Хотел использовать их силу, но не платить за это положенную цену. Знаешь, — добавила она, помолчав, — я начинаю теперь думать, что он был вовсе не таким уж хорошим отцом.

Чезаре ничего не сказал. У него с отцом не всегда складывалось так, как ему бы хотелось; порой ему даже казалось, что

он ненавидит Родриго Борджа. Но он ведь и сам Борджа. Он ничем не лучше, и ему по крайней мере хватало здравого смысла это признавать.

— Мне нравилось травить с помощью ласточки, — глядя на зарешеченное окно, вполголоса продолжала Лукреция. — Это казалось забавным. И давало чувство такой безграничной силы... такой вседозволенности. Иногда, если я действовал не сразу, я шептала жертве что-нибудь на ухо — что-то забавное. Некоторым даже рассказывала о фигурках. Они все умирали с выражением такого недоверчивого изумления на лице. — Она некоторое время стояла молча, теребя край простого бархатного пояска. Потом подняла голову и посмотрела Чезаре в лицо — глаза ее впервые за долгие годы были не разноцветными, а карими. — Но я отказалась от нее, отказалась от ласточки. Потому что эта женщина, эта сука, убедила меня, что только так я спасу нас всех. Я украла у отца паука. И я уговорила тебя отказаться от силы быка. Но ты ведь не сделал этого?

— Нет, — признался Чезаре.

— И хорошо. Это очень, очень хорошо, братец.

В камере стоял полумрак, и Чезаре не заметил, когда она успела достать то, что сейчас протягивала ему на ладони. Но узнал эту вещь сразу, так, как узнал бы собственный палец, отрезанный, и теперь протягиваемый ему в качестве изощренной насмешки.

— Как ты догадалась, где я его спрятал? — хрипло спросил Чезаре, и Лукреция улыбнулась — в первый раз с тех пор, как пришла, с тех пор, как он убил ее мужа.

— Это было нетрудно. Возьми, Чезаре. Отец, умирая, проклял меня и сказал, что я уничтожила наш род. Но он ошибался. Борджа не уничтожены, нам только подрубили ствол. Но еще можно все вернуть. Возьми быка и выйди отсюда.

— Я сойду с ума, — сказал Чезаре и сам удивился тому, как просто прозвучала эта мысль — та мысль, которой он не хотел

верить и которую так упорно гнал от себя столько лет. — Он что-то делает с моей головой, я тупею, зверею, я становлюсь...

— Быком, — закончила за него Лукреция, улыбаясь все так же спокойно и жутко. — Я знаю. Знаю, братец. Так и должно быть. Я раньше тоже тебя боялась, а теперь понимаю, что только так и может выжить бык — подняв на рога матадора и затоптав зевак. Чезаре, возьми его и используй в последний раз. Ты не можешь умереть здесь, как овца. Умри, как бык.

Фигурка на ее протянутой ладони переливалась, манила, притягивала взгляд, руку и душу. Она принадлежала ему, Чезаре Борджиа. И он не сбирался от нее по-настоящему отказываться. Никогда.

— Я возьму, — сказал он. — Только ты сразу же уходи. Сейчас же. Я не знаю, что... что сделаю.

Лукреция присела, зашелестев юбками, и положила фигурку у его ног. А потом выпрямилась, подступила ближе и поцеловала Чезаре в губы — легко и холодно, не как сестра, не как возлюбленная. Чезаре подумал, что так, должно быть, целуется смерть.

— Та женщина, — сказал он, — Кассандра. Ты знаешь, где она? Ты отыскала ее?

Лукреция неуверенно качнула головой, а потом рассмеялась легким, безумным смехом. Подошла к двери, постучала. Чезаре наклонился, чтобы поднять фигурку. Холодный металл словно бы сам нырнул в ладонь, вжимаясь, влипая в нее — так Господь совершает чудо, и отрезанный палец прирастает на место. Чезаре сжал кулак, выпрямляясь, а когда посмотрел вперед, Лукреции больше не было. Была только дверь, дубовая дверь, обитая двумя слоями листового железа, запертая на три толстых засова.

Не преграда, и даже не тень преграды для быка.

Мигель Корельо, сын деревенского мясника, по прозванию дон Мичелотто, стоял под южной башней замка Чиренья

и смотрел вверх. С собой у него имелись два добрых коня, просторный черный плащ, два меча, два кинжала и недельный запас провизии на двоих. И, конечно, была при нем и верная гаррота, но Мичелотто подозревал, что сегодня ночью ее не придется пускать в ход.

Монна Лукреция велела ему ждать у башни, и если бы Мичелотто не служил ее семье уже многие годы, то счел бы такой приказ нелепым. Он знал, что именно в этой башне сдержится в заключении его хозяин Чезаре, но не видел никакого способа для него выйти из замка с этой стороны. Здесь не было дверей, не было даже окон, только высокие стрельчатые бойницы на расстоянии футов двадцати над землей. Даже если бы рослый, плечистый мужчина вроде Чезаре Борджаи и сумел протиснуться в эту бойницу, он неминуемо разбился бы о камни внизу. Да и нет нужды так рисковать. Мичелотто не видел, что именно монна Лукреция прятала в складках платья, когда отправилась на свидание с братом, но мог с уверенностью сказать, что именно это было. Как только Чезаре получит эту вещь, его не остановят никакие решетки и никакая охрана. Эти бедняги, державшие сегодня караул в гарнизоне Чиреньи, не знали, до чего же черна для них будет эта ночь.

Монна Лукреция вышла из ворот замка; с разделявшего их расстояния Мичелотто видел ее хрупкую фигурку: полы плаща трепал ветер, и казалось, что подуй он чуть сильнее, и ее попросту унесет. Но она далеко не так хрупка, как выглядит, эта монна Лукреция. Беда всех врагов Борджаи в том, что их слишком недооценивают.

Лукреция вскочила в седло и рысью поехала по проселочной дороге между холмов. Сюда они прибыли вместе, но она настояла на том, чтобы возвращаться одной. Для любой другой женщины такое путешествие закончилось бы плачевно, но за Лукрецию Мичелотто не опасался. Теперь перед ним стояла другая задача. Он снова посмотрел на стрельчатую

бойнице, за которой мутно вился красноватый отблеск факела, висящего на стене. Стояла тишина, только сверчки стрекотали в высокой траве. Ну когда же? Чего он ждет? Мичелотто понял, что жует нижнюю губу, и заставил себя прекратить. Давайте, мессир Чезаре, давайте, вы это можете. Кто еще смог бы, если не вы?

И словно в ответ на его мысли, вверху раздался хруст. Ни на что не похожий, непонятный для человека, не ходившего в бой или не служившего у Чезаре Борджа. Но дон Мичелотто этот звук знал хорошо — и невольно оскалился, услышав его. С этим хрустом расходились шейные позвонки и ломалось основание черепа, когда Бык Борджа отрывал голову глупцу, вставшему у него на пути.

Началось.

Мичелотто подобрался в седле, приподнявшись на стременах. Первый стражник умер молча, но второй успел закричать. Стекло в бойнице разлетелось вдребезги — и Мичелотто понял, что она шире, чем казалось снизу, потому что в следующий миг из нее вылетел, кувыркаясь, как тряпичная кукла, человек без одной руки. Падая, он продолжал кричать. Мичелотто хотелось закричать тоже, заорать: «Я здесь, ваша светлость, сюда!» Но он не смел выдать себя раньше времени. Он должен был сначала увидеть Чезаре, прежде чем дать ему знак.

Замок стал просыпаться. На стенах встревожено задергались сторожевые огни, голоса часовых эхом отдались от стен. Затопотали десятки ног, забряцали алебарды. На стене вспыхнул огонек: кто-то заряжал аркебузу. Похоже, Чезаре Борджа было велено не отпускать живым в случае побега. И Чезаре это понимал, поэтому шел по трупам, по лужам из крови, переступая через оторванные конечности людей, корчившихся в агонии у его ног. Южная башня наполнилась воплями, что-то громыхнуло — Чезаре высадил очередную дверь, раздался выстрел и за ним снова душераздирающий крик... Мичелотто

слушал, замерев, кровь гулко колотила у него в ушах, и единственное, о чем он жалел — что не может сейчас оказаться рядом с хозяином.

Вышла луна, озарив стену Чирены мутным белесым светом. В этом свете Мичелотто наконец увидел Чезаре: черную тень, сносящую все на своем пути. Он одним движением, будто играючи, смел с дороги очередного стражника, и тот полетел вниз, разбившись о камни внутреннего двора. Чезаре предстояло спуститься со стены и либо открыть ворота, либо попросту высадить их. Таких подвигов он пока что не совершал, но именно сейчас казался вполне на такое способным. Если только его не остановит пуля, всаженная в грудь, он дойдет, по горе трупов дойдет и...

Чезаре повернулся лицом к полю, и Мичелотто понял, что его увидели. Он вскинул руку и выкрикнул приветствие, хотя Чезаре вряд ли услышал его за шумом, стоящим в стенах замка. Луна озарила лицо герцога Валентино — без маски, бледное, с жуткой, потусторонней улыбкой, больше напоминавшей оскал. «Он дьявол, — подумал дон Мичелотто в полном восторге. — Такой же дьявол, каким был его отец. Да здравствуют Борджиа!»

Он снова махнул рукой, давая понять, что ждет — и в этот миг Чезаре прыгнул.

Рука Мичелотто застыла, описав в воздухе дугу. А потом он с проклятиями дал коню шенкелей. Застоявшаяся лошадь вздрогнула и сорвалась с места, достигнув стены в считанные мгновения. Продолжая сквернословить, Мичелотто спрыгнул наземь и бросился к распластерту на земле герцогу Валентино. Тот, как это ни поразительно, был жив и громко стонал, а когда Мичелотто коснулся его бедра, закричал от боли. Он сломал обе ноги, окровавленные кости проткнули кожу, разорвали ткань и белели в ровном лунном свете.

— Что вы наделали? Совсем, что ли, с ума сошли?! — рявкнул Мичелотто, хватая его за плечи — и осекся.

Глаза Чезаре стали белыми. В правом еще угадывался голубоватый отблеск, а в левом — зеленый, но зрачки как будто затянуло бельмами. Из бешено раздувающихся ноздрей сочилась черная кровь. Он невидяще посмотрел на Мичелотто и зарычал, как зверь, чьи конечности перемолоты зубцами капкана. И даже такому, искалеченному, обезумевшему, ему ничего не стоило перебить своему верному слуге хребет одним пальцем.

Мичелотто обхватил его левой рукой за плечо покрепче. За его спиной уже скрежетал ворот подъемного моста, времени оставалось совсем мало. Или он рискнет прямо сейчас, или они погибнут оба. И, мысленно попросив у Господа прощения за свои многочисленные грехи, дон Мичелотто рывком сорвал с шеи Чезаре Борджа фигуру быка, болтавшуюся на простом кожаном шнурке. А потом подхватил своего искалеченного хозяина на руки, перекинул через луку седла и, вскочив на коня, помчался через поле, залитое лунным светом, пригнувшись и слушая, как свистят аркебузные пули над его головой, обдавая жаром лицо.

— Вот так и живу. С одной стороны мой разлюбезный кузен Фердинанд, который только спит и видит, как бы оттяпать у меня Лисерру. С другой — Людовик Французский, этому одного куска мало, мечтает на всю Наварру разом наложить лапу. А тут еще ваши римские папы, они меняются быстрее, чем любовники у моей жены, и едва успеет помереть один, как следующий тут же начинает чего-то требовать! Надоели до смерти, между нами говоря.

Выдав эту жалостливую тираду, Жан Луи Антуан д'Альбре, король Наваррский, залпом осушил стоящую перед ним чашу с вином и со стуком поставил ее на необструганную столешницу простого грубого стола. Все было простым и грубым здесь, в замке Шато-Блесси: холодные каменные стены, лишь кое-где прикрытые потертыми гобеленами, деревянные лари

вместо кресел и медвежьи шкуры вместо шелковых простыней. Он сам был простым и грубым, этот король Наваррский, и потому с ним легко было иметь дело. Хотя в прежние времена Чезаре, сказать по правде, не очень-то жаловал людей подобного склада.

Но прежние времена давно прошли. Кто узнал бы теперь Чезаре Борджа? Разве что тот, кто часто видел его без маски и хорошо запомнил расположение шрамов на щеках — на тех самых местах, где когда-то пролегли кровавые борозды, последствие первого, но далеко не последнего припадка безумия. Но припадков не случалось давно, шрамы окончательно затянулись, и здесь не от кого было их прятать. Чезаре, чисто вымытый, хорошо пахнущий, с аккуратно подстриженными волосами и бородой, но с поблекшими, потухшими глазами, сидел перед своим шурином, королем Наваррским, и с легкой улыбкой слушал его притворные жалобы. Он был простоват, но не глуп, этот прохвост. Именно он приложил все усилия и использовал все влияние, чтобы его сестра, невзрачная мадемуазель Шарлотта, вышла замуж за Чезаре Борджа. Чезаре видел жену только во время свадьбы и несколько дней после того; с тех пор минуло восемь месяцев, и он знал, что она на сносях, но сомневался, что ему суждено увидеть ее снова, как и своего первенца.

Собственно, даже тот простой факт, что он сидел сейчас здесь, а не гнил в застенках долбаного святейшества папы Юлия II, уже следовало считать подарком судьбы. Со смертью отца и потерей Романы все отвернулись от Чезаре. Все — и бывшие союзники, и старые должники, и преданные слуги, и верные друзья... Среди последних самый жестокий удар Чезаре нанесли его приятели по Пизанскому университету, его дружки-студиозусы, Джованни Медичи и Тила Бальони. Первый откровенно заявил, что Чезаре не найдет пристанища во Флоренции. «Я и сам собираюсь стать Папой в ближайшие десять лет, — заявил он, холодно глядя на Чезаре. — Прости,

но не с руки мне плевать в колодец». Его памяти о старом школярском побратимстве хватило лишь на то, чтобы позволить Чезаре убраться из города, а не выдать немедленно папскому легату. Что же до старого доброго Тилы, то этот подложил Чезаре еще большую свинью: он умер, то ли от пьяной поножовщины в каком-то трактире, то ли попросту от обжорства, вновь погрузив осиротевшую Перуджу в пучину междоусобных сvar. Так что, с какой стороны ни взгляни, Чезаре больше не на кого было рассчитывать.

И единственным, кто не побоялся протянуть ему руку помощи, стал этот стареющий пьяница, жалкий король крохотной страны, которую вот уже несколько десятилетий перемалывали в жерновах своих захватнических притязаний Франция, Испания и Рим.

— Новый понтифик уже обращался к тебе? — спросил Чезаре. Еще одним достоинством шурина он считал то, что с ним всегда легко было говорить напрямик.

— А как же. Неделю назад прислал легата с требованием отдать твою голову под угрозой анафемы.

— И что ты ответил?

— А что я мог ответить? Как я могу отдать то, чего у меня нет? Твое счастье, зятек, что ты не заявился ко мне неделей раньше, а то, право слово, конфуз бы вышел!

Жан д'Альбре хохотнул и хлопнул Чезаре по плечу своей здоровенной лапищей. Прежний Чезаре Борджаи ответил бы столь же дружеским тычком в ответ, и его величество завалился бы навзничь вместе с лавкой, на которой восседал его королевский зад. Но нынешний Чезаре Борджаи, чуть пригнувшись от силы удара, блекло улыбнулся в ответ.

Он не спрашивал, как долго сможет здесь оставаться. Со дня его побега из замка Чиренья прошло ровно четыре месяца. Его сломанные ноги зажили, хотя теперь Чезаре довольно заметно прихрамывал при ходьбе, и лекари, разводя руками, говорили, что это останется с ним до конца его дней.

Последствия отравления ядом оказались менее жестоки к нему — они прошли совершенно. Будь у Чезаре прежняя воля к жизни, прежняя неудержимая ярость, прежний кураж, в конце-то концов — и он смог бы снова поднять знамена с красным быком на золотом поле, смог бы призвать под них прежних и новых друзей, смог бы потребовать возвратить ему несправедливо отнятое, и сторицей возместить ущерб, нанесенный врагами его семье... Смог бы или, во всяком случае, попытался.

Но что-то ушло из него. Что — он не знал, но смутно сознавал, что оно-то и было наиболее важным. То ли неудержимое властолюбие его отца, не чуравшееся никаких сложностей и преград, то ли постоянные, раздражающие, ничем не заслуженные милости, расточаемые судьбой его брату Хуану, то ли смех Лукреции, высокий, язвительный, острый... «Что-то в нас было, и мы все потеряли. Мы, Борджа. Неужели та проклятая женщина все же сказала правду, и дело действительно в фигурках? Неужели только они делали нас нами?» Об этом Чезаре думал долгие дни и еще более долгие ночи, лежа в постели с переломанными ногами. Когда он поднялся, мысли ушли. Ответа он так не нашел, а в пустых терзаниях не видел смысла.

— А как твоя сестра? — спросил король, когда они снова чокнулись и снова выпили — на сей раз за скорейшее сошествие его святейшества Папы Юлия в ад. — Давно ты получал от нее весточку?

— С месяц назад. У нее все хорошо. — Чезаре умолк и добавил немного тише: — Ее новый муж заботится о ней.

— Ха, — беззлобно ответил Жан. — Надеюсь, он делает это лучше, чем муж моей сестры.

Чезаре машинально откинулся назад, забыв, что сидит на ларе, у которого нет спинки. Замер с неестественно выпрямленной спиной. И спросил наконец то, что давно следовало спросить:

— Жан, ты ведь не по одной родственной любви это делаешь? Я могу чем-то отплатить тебе за помошь?

«Могу» прозвучало почти как «должен», но Чезаре не смущался. Он Борджа, а Борджа, если только это зависит от них, в должниках не ходят.

Белозубая ухмылка короля Наваррского подтвердила, что он попал в самую точку.

— По правде говоря, и впрямь есть одно дельце. Раз уж ты здесь... Мои бароны в последнее время совсем зажрались. Знают, сволочи, как дерут меня шавки Фердинанда на испанской границе, я вынужден был стянуть туда почти все свои войска — вот они и пользуются этим. Сильнее всех наглеет чертов Бомонт, засел в Вианском замке и посыпает оттуда своих головорезов грабить моих крестьян.

Чезаре кивнул. Он проезжал мимо Вианы, когда ехал сюда, видел опустевшие деревни, горящие поля и длинные ряды мертвцев, целыми гроздьями свисавших с тополей вдоль дороги.

— Хочешь, чтобы я прижал этой гниде яйца?

— Я бы и сам управился. Да только людей у меня нет, а этот сукин сын нисколько меня не боится и только насмешничает, когда я его вызываю на бой в чистом боле. Но ты — Чезаре Борджа. Одного твоего имени достаточно, чтобы он распушил хвост и вылез покрасоваться. Шутки ли — встретиться с самим герцогом Валентино в открытом бою!

У Чезаре дрогнуло внутри — словно там, в глубине, в трясине, что-то еще было, еще теплилось. Он непроизвольно двинул челюстью, словно конь, закусывающий удила, прежде чем сорваться в неудержимый галоп. И ему пришлось приложить усилия, чтобы не нагнуть голову, не напрячь жилы на шее... не разбудить быка.

Чезаре ни разу не прикасался к быку за прошедшие четыре месяца. И знал, что это единственная причина, по которой он все еще жив. Или, по крайней мере, в здравом рассудке.

— Посмотри на меня, Жан. Я больше не...

Король жестом отмел все, что тот собирался ему сказать.

— Все, что я вижу, Чезаре — человека, который, кажется, позабыл, кто он такой. Я рад буду встряхнуть за шкирку этого стервеца Бомонта, но и тебе не мешало бы встряхнуться, а? Что скажешь? Ты разобьешь его, а его людей помилуешь, если они перейдут на твою сторону. Я не могу сейчас дать тебе войска, но это стало бы заделом для твоей новой армии.

«Да, — в нарастающем возбуждении подумал Чезаре. — Да, и правда». С чего он взял, что Борджаи уничтожены? Только потому, что так сказала какая-то стерва, задурившая голову ему и его сестре? Лукреция, вкладывая быка в его ладонь, не этого от него ждала. Она хотела, чтобы он жил. Чтобы Борджаи жили.

«Но тогда мне придется снова его надеть», — подумал Чезаре — и тьма заволокла ему взгляд. От одной мысли. От единственного намерения. Он уже чувствовал, как холодил кожу неведомый серебристый металл под сорочкой. Холодит и одновременно жжет каленым железом.

— Я сделаю это, — сказал он, не давая себе возможности передумать. — Для тебя и для себя, Жан.

— Аминь, — провозгласил король Наваррский, и они снова чокнулись грубыми глиняными кубками.

...И вот пришел новый день. Новый, в котором все было почти по-прежнему. Ветер рвал плащ за спиной — красный с золотом, придворные мастерицы за несколько дней успели вышить на нем сияющего быка. Чезаре надел чужие доспехи, но сидели они на нем так, словно он в них родился — защищали, но не сковывали движений, придавали уверенности, все-ляли веру, что он бессмертен. Он сидел на высоком вороном жеребце, и никто на всем необозримом поле, затопленном людьми и лошадьми, не мог видеть его хромоту. Меч в правой руке казался ее продолжением. И точно так же продолжением

его тела была фигурка быка, которую он на этот раз не стал прятать, и она матово переливалась поверх черного панциря, крадя и впитывая свет раннего осеннего утра.

А впереди — впереди вздымались стены, которые он собирался взять. Враг, который склонится перед ним так или иначе. Люди, которые совсем скоро бросят оружие и закричат, оглушительно закричат, как когда-то: «Борджа! Цезарь! Борджа! Цезарь! Борджа! Борджа!»

Чезаре вскинул руку с мечом, готовясь отдать сигнал к атаке — и увидел Лукрецию.

Она стояла на крепостной стене, в тени угловой башни, между зубцами, открытая для шальной стрелы. Тот же ветер, что рвал плащ Чезаре, трепал и теребил ее золотистые волосы. На ней было то же самое платье, в котором Чезаре видел ее в последний раз — простое, темное платье, только на шее поблескивала драгоценная цепь. На миг Чезаре почудилось, что она снова носит ласточку, но их разделяло слишком большое расстояние, чтобы сказать наверняка. Но он убедится. Он сейчас пойдет к ней, прямо к ней, обо всем расспросит, во всем наконец признается... и они наконец будут вместе.

Бык пульсировал, хрипел, бил копытом в его мозгу, раскалывал его сознание на куски.

Лукреция вскинула руку и помахала издали, призывая к себе, маня.

Чезаре Борджа закричал, закричал во всю мощь своих легких, выпуская ярость, гнев, тьму, все то, что было наследием и роком его семьи. И понесся вперед, не видя ничего на своем пути, не отдав приказ об атаке. Бык бешено болтался на его шее, колотя в панцирь опущенными рогами.

Над полем под замком Вианы повисла тишина. На полном скаку конь Чезаре Борджа врезался во вражеский строй, как стрела входит в незащищенное горло. На мгновение это казалось подобным чуду — словно один человек в самом деле способен сокрушить целое войско. Но чуду не суждено было

случиться — не здесь и не так. Барон Бомонт, вместе со всеми заворожено следивший за самоубийственной выходкой этого безумца, опомнился и отдал команду. Сто пехотинцев разом накинулись на одинокого всадника. Несколько рук, ног, голов взметнулись над месивом, в которое превратилась земля перед рвом; а потом они его настигли. Чезаре вскинул залитое кровью лицо и уже почти ничего не видящими, слепнущими глазами взглянул вверх, там, где видел Лукрецию, боясь, что она ему примерещилась. Но она по-прежнему стояла там, теперь совсем близко. Стояла с тихой, неподвижной улыбкой на бледном лице, и теперь он видел, что это не его сестра — это женщина, которую он знал под именем Кассандры.

«Мойра», — подумал Чезаре Борджа и умер.

От него не осталось ничего — так обычно и бывает, когда несколько десятков мечей изрубают одно тело на несколько сотен кусков. Конь тоже оказался изрублен, меч сломался у гарды, покореженный панцирь улетел в ров, обрывок плаща с золотым шитьем прилип к чьему-то подкованному сапогу. Та же самая нога наступила на фигурку быка, вминая ее в землю, ставшую рыхлой и податливой от обильно пролившейся крови. Так было снова посажено семя, и ему предстояло долго, долго лежать в земле в ожидании дня, когда ему удастся заново прорости.

Женщина, стоящая на стене, стряхнула с головы светловолосый парик, отбросила его и исчезла из виду.

ИНТЕРЛЮДИЯ III

2010 ГОД

Кьяра проснулась от холода. Во сне она натянула одеяло до подбородка, так что пальцы ног высунулись наружу, и теперь совсем заледенели, так же, как и кончик носа. Щеки покалывало, они были холодными на ощупь, когда Кьяра сонно потерла лицо и, ежась, выбралась из постели.

За окном шел снег.

Она остановилась и какое-то время разглядывала белую рябь за окном, пытаясь понять, не продолжает ли спать. В последний раз она видела снег, когда отец жил вместе с ними, Кьяра ходила в школу, а Стелла еще не стала пропадать по ночам. Тогда он выпал посреди дня, совсем ненадолго, и учителя выпустили детей из классов на улицу, с визгом и воплями носиться по удивительно белому школьному двору и ловить языкком пушистые хлопья, таявшие на лету.

Сегодняшний снегопад был совсем другим. Мело так, что соседних домов было почти не разглядеть. Под сугробами, выстроившимися аккуратными рядами на стоянке, угадывались очертания машин. Кьяра дважды ездила на стажировку в Россию, в Москву и Санкт-Петербург, но для большинства жителей Рима то, что творилось сейчас на улице, было стихийным бедствием и началом Апокалипсиса.

И как же холодно, боже.

Кьяра вернулась в спальню и извлекла из недр платяного шкафа вещи, купленные три года назад в заснеженной Москве: толстый вязаный свитер, лыжные штаны и сапоги на толстой

каучуковой подошве. Были еще перчатки на утепленной подкладке, но их она не нашла. Натянув все это, отправилась на кухню заваривать горячий кофе. Жаль, что у нее нет обогревателя. Когда они с Пьетро жили вместе, пришлось купить — Пьетро мерз даже в теплые весенние ночи и устраивал у их постели настоящую парилку, хотя сама Кьяра предпочитала согреваться по ночам другим способом. Когда они расстались, Пьетро оставил ей телевизор, который они покупали вместе, но обогреватель забрал. Кьяра не спорила, ей печка была ни к чему. Так, во всяком случае, казалось тогда, а сейчас, грея мерзущие пальцы о стенки кружки с кофе, она жалела о своем великодушном жесте. В конце концов, это на ее деньги они купили тот обогреватель. У Пьетро тогда не было ни гроша. Да у него вечно не было ни гроша.

Кьяра подумала, что неплохо бы включить телевизор и послушать, как власти города собираются бороться со стихией, но в эту минуту зазвонил телефон. Кьяра сняла трубку с некоторой опаской — прошло два месяца с того дня, как ее квартиру ограбили (если можно назвать ограблением проникновение со взломом, в ходе которого ничего не пропало), а она все еще не знала, кто это сделал и что ей ждать в будущем.

— Кьяра?

Голос звучал неразборчиво сквозь шум помех — конечно, телефонным линия сейчас приходится несладко, — но она его сразу узнала. Надо же. Вот только что думала о нем, а не вспоминала перед этим... сколько? Полгода? Год?

— Да, Пьетро, это я, — сказала она, удивляясь тому, как ровно прозвучал ее голос. — Тебя плохо слышно.

— Помехи на линии, эта чертова метель. Ты видишь? Просто кошмар!

Кьяра поморщилась. Пьетро была свойственна манера выражаться, как герою из мыльной оперы, и когда она говорила с ним, невольно подхватывала эту манеру, что раздражало ее еще сильнее.

— Я же не слепая, — немножко резко ответила она. Но неожалела о своем тоне. — Что ты хочешь?

— Очень мило, Кьяра, — пробурчал ее бывший на другом конце провода. — Не спросишь, как мои дела?

— Ты же не спросил, как мои.

— А как твои?

Она едва не рассмеялась. Что ж, Пьетро, дай подумаю, с чего бы начать? С того, что моя сестра умерла? С того, что меня обокрал коллега по работе, присвоив мою работу, на которую ушло больше трех лет? С того, что мою квартиру разнесли так, что я две недели приводила ее в порядок? Или, может, с того, что Лукреция Борджа пятьсот лет назад отправила мне в подарок бутылку вина, приправленную своим фамильным ядом? Да, наверное, именно с этого. Это уж точно вызовет у тебя неподдельный интерес и сочувствие.

— Долго рассказывать, — ответила она. — Ты как? Как работа?

Она спросила про работу, потому что больше Пьетро ничем не интересовался. Ничем, включая ею, Кьяру.

Кьяра тоже была для него частью работы, но поняла это, только когда они уже жили вместе. Как и все приятели Кьяры, Пьетро работал научным сотрудником, они познакомились в университете — вернее, Пьетро познакомился с ней, отлично зная, кто она такая. Он занимался историей культуры, учился в Гарварде, хотя сам родился в Милане, а в Рим приехал изучать архивные документы Ватикана, касающиеся правления папы Александра VI. Основной специализацией Пьетро была история итальянского Возрождения, а основной темой — семейство Борджа. Каким-то образом (Кьяра подозревала, что и тут не обошлось без ее сестры) он узнал о семейной легенде относительно происхождения из рода Сфорца, имевшего к Борджа самое непосредственное отношение. Как источник информации Кьяра особой ценности не представляла, поскольку к своим корням была равнодушна. Но как

трофей, как фетиш она оказалась для Пьетро бесценна. Он запал бы на Стеллу, но Стелла оказалась не в его вкусе. Пьетро нравились такие девушки, как Кьяра — тихие, неброские, неболтливые в постели и умеющие поддержать разговор вне ее. Кьяра как раз такая, а еще она Сфорца. Пьетро влюбился. Только не в Кьяру, а в то, что она символизировала собой для него. И только это всегда имело значение. Не будь она Сфорца, он на нее никогда бы и не посмотрел.

Когда она поняла это, они расстались. Не очень хорошо, потому что, в отличие от Пьетро, Кьяра любила его самого, а не его генеалогическое древо. Но объяснить это ему было невозможно. Он до самого конца так и не понял толком, почему она бросила.

— Работа хорошо, — откашлявшись, сказал Пьетро. — Собственно, я поэтому и звоню... Есть кое-что... Я бы хотел, чтобы ты приехала ко мне в институт. Ты не занята?

— Сейчас?! Пьетро, ты за окно выглядывал? Я даже не знаю, ходит ли метро.

— Возьми такси, — его голос звучал возбужденно. — Это срочно. Очень срочно. Я не могу объяснить по телефону.

Что-то в его голосе заставило ее прекратить возражения. Это был азарт, свойственный Пьетро, когда дело заходило о его работе — и о Борджа. Но было в его голосе и что-то еще. Напряжение? Тревога? Страх? Да, пожалуй, именно страх. Немного, но...

В конце концов, внезапно подумала Кьяра, он именно тот, кому можно рассказать эту безумную историю с вином Лукреции. Именно ему. Пьетро знает об этой женщине все, что можно знать, основываясь на существующих фактах, и, возможно, сумеет разгадать мотивы ее поведения. Сама Кьяра терялась в догадках. Она Сфорца, а Борджа враждовали с Сфорца — насколько знала Кьяра, именно Джованни Сфорца, первый муж Лукреции, был тем, кто пustил по Италии слух об инцесте внутри семьи, а у Чезаре Борджа с Катериной Сфорца

вышла какая-то гадостная история... Но если по неведомой причине Лукреция решила мстить потомкам своих врагов, то почему таким дальним? И почему именно Кьяре? Или все потомки Сфорца получили такие «подарочки»? Но тогда об этом стало бы известно. Да и слишком много этих потомков, и кроме того, Лукреция знала, как выглядит Кьяра... знала про шрам, полученный ею всего несколько лет назад.

Если кто и сможет пролить свет на все это, то только Пьетро.

— Я приеду, — сказала Кьяра. — Где именно ты находишься?

Центральный реставрационный институт находился на другом конце города, и Кьяре пришлось вызвать такси, которого она дожидалась больше часа. Таксист ругался, жаловался на дорогу, на муниципальные власти, на гололед, на ошалевших водителей, не знавших, как по этому гололеду ездить; а дворники непрестанно месили на лобовом стекле мокрый снег. Они долго стояли в пробке, проехали мимо трех аварий, причем в третьем случае на земле у покореженных машин Кьяра успела заметить пятна крови, ослепительно яркие на заснеженной земле. Ее кольнуло в груди, словно увиденное было дурным знаком, но она отмахнулась от этой мысли, кивая в ответ на бесконечные жалобы таксиста. В конце концов он довез ее, она заплатила ему половину своего недельного бюджета и, выйдя из машины, накинула на голову капюшон куртки.

К зданию института вела широкая лестница в античном стиле. Кьяра кое-как поднялась по ней, оскальзываясь на заledеневших ступеньках. Улица была безлюдна, хотя снегопад начал ослабевать. Фонтан на площади перед институтом оказался выключен — до этого Кьяра видела неработающие фонтаны только в Санкт-Петербурге, и теперь ее охватило странное чувство, словно она переместилась в пространстве и времени и находится там, где быть не может и не должна.

Она зашла внутрь, с облегчением стряхивая с куртки мокрый снег. Пьетро уже торопился к ней по коридору, нетерпеливо махал рукой, словно сердясь, что она так задержалась.

— Надеюсь, твои новости и правда стоящие, — сказала Кьяра без приветствия, и Пьетро энергично кивнул.

— Не то слово. Это сенсация.

«У меня для тебя есть еще одна. Сегодня определенно твой счастливый день, Пьетро», — подумала Кьяра, а вслух сказала:

— Сперва напои меня горячим кофе. Тут есть кофе?

— А? Да, конечно, — рассеянно сказал Пьетро, семеня по коридору на полшага впереди нее. У него была смешная походка, чуть подпрыгивающая, и вечно всклокоченные волосы, как у типичного сумасшедшего ученого или карикатурного итальянца из комедий шестидесятых... И очень красивое лицо с правильными чертами, почти модельное. Рядом с ним Кьяра всегда чувствовала себя дурнушкой, несмотря на эту его походку и торчащие волосы.

— Я должна кое-что тебе рассказать, — сказала Кьяра через пять минут, когда он завел ее в какую-то подсобку и поставил электрочайник.

— Да, конечно, — повторил Пьетро тем же тоном, что и у входа. — Я даже не знаю, как тебе сказать...

— Пьетро, — твердо проговорила Кьяра. — Сначала скажу я. Со мной кое-что случилось, это важно, и это как раз по твоей части. Дело касается семейства Борджа. Поэтому сначала ты меня выслушаешь и скажешь, что думаешь, а уж потом выложишь мне свою сенсацию. Раз уж я приехала к тебе по такой погоде в такую даль.

Как только она произнесла имя Борджа, Пьетро обернулся и взглянул на нее так, как никогда не смотрел прежде. Странно. Но еще более странно было то, что он сказал потом:

— Так ты знаешь?

— Знаю что?

— О картине.

— Какой картине?

Пьетро помолчал. Щелкнул, выключаясь, чайник, и Пьетро налил две чашки, насыпав две ложки сахара в обе. Кьяра не клала сахар в кофе, но он никогда не мог этого запомнить.

Он сел напротив нее, пододвинул к ней чашку.

— Кьяра, что ты хотела мне рассказать?

Это не заняло много времени, во всяком случае, гораздо меньше, чем Кьяра ожидала. Она старалась не высказывать никаких своих догадок, только факты, но все-таки не удержалась и упомянула про погром в ее квартире.

— Мне кажется, оно как-то связано между собой, — сказала она. — Когда такое творится, это уже само по себе дико, но если подобные вещи происходят одновременно... Пьетро, ты меня слушаешь вообще?

— Да, — ответил он. — Очень внимательно. Кьяра... я даже не знаю, что сказать.

Она улыбнулась уголком рта.

— Ты всегда умел меня поддержать.

Пьетро серьезно кивнул, не уловив в ее словах сарказма. А ведь она ничего не сказала ему про Стеллу. Да он и не спросил. Уж Стелла здесь точно была ни при чем.

— Это действительно очень странно, — медленно проговорил Пьетро. — То, что ты пришла... и именно теперь.

— О чем ты? — ее всегда раздражало, когда он начинал говорить загадками.

— У меня есть некоторые соображения. Я их выскажу немного позже. Сейчас я скажу, зачем тебя вызвал, только, — он вскинул ладонь, видя, что она собирается возразить, — выслушай сперва. Это напрямую связано с тем, что ты мне сейчас рассказала. Напрямую, Кьяра.

Чашка с кофе в ее пальцах вдруг сделалась холодной.

— Несколько месяцев назад, — начал Пьетро, не глядя Кьяре в лицо, — мне позвонили из Галереи Боргезе с просьбой войти в комиссию по оценке некой картины, обнаруженной

недавно в частной коллекции. У картины мутная история, ее корни удается отследить до Второй Мировой войны, когда ее вывезли в Германию. Где она находилась до того, неизвестно. Но по ряду причин есть вероятность предполагать, что ее автор — Леонардо.

— Леонардо да Винчи?

— А что, есть какой-то другой? — суховато спросил Пьетро. — Конечно, да Винчи. Там его подпись, и некоторые другие факты указывали на то, что это может быть подлинник. Неизвестная картина да Винчи, и не эскиз, а законченное полотно в аутентичной раме — это уже само по себе сенсация мирового масштаба. Но пока не было полной уверенности, шумиху поднимать не стали, сделали все осторожно, втайне от прессы. Я, конечно, согласился войти в комиссию. Мы работали, не поднимая головы, два месяца. Проводился, конечно, и химический анализ, словом... словом, это действительно Леонардо. По-видимому, одна из последних его картин.

— Это здорово, Пьетро, — сказала Кьяра, на сей раз вполне искренне. — Поздравляю.

— Да, — рассеянно проговорил Пьетро. — Я хочу, чтобы ты ее увидела.

Он встал. Кьяра, решив пока не задавать больше новых вопросов, поднялась за ним следом. Они пошли полутемными коридорами, в которых гулко отдавались их одинокие шаги — было воскресенье, и институт практически пустовал. Комната, в которую они вошли, оказалась под охраной. Обоим пришлось расписаться в журнале отчетности и оставить отпечаток пальца, и только тогда охранник отпер цифровой замок на двери. Впрочем, учитывая потенциальную стоимость этой картины, такие предосторожности не удивляли.

Внутри было темно. Пьетро положил руку на выключатель и сказал:

— Я надеюсь, то, что ты увидаишь, останется между нами. Очень надеюсь, Кьяра.

Он включил свет.

И Кьяра увидела.

Картину вынули из рамы и поставили на подрамник посреди комнаты. На нее было направлено несколько ламп с защитными экранами, фильтрующими интенсивность света. Кьяра не особенно разбиралась в живописи, но рука мастера чувствовалась с первого взгляда. Это был групповой портрет, изображавший, по-видимому, членов одной семьи: пожилой мужчина в центре, молодая светловолосая женщина справа от него, юноша, очень на нее похожий, слева, и двое молодых черноволосых мужчин у сидящего за спиной — оба стояли, положив руки на спинку его кресла. Все эти люди были одеты очень богато, даже вычурно. Но их лица выглядели бледными, какими-то серыми, на них не отражалось тонких и сложных эмоций, столь характерных для полотен великого мастера. Это были лица мертвецов, которых поставили стоймя и срисовали с натуры. Только женщина казалась живой, но в ее глазах читалась смертельная усталость и тоска.

— Узнаешь? — вполголоса спросил Пьетро.

Кьяра кивнула и хотела добавить вслух, что да, узнает, их очень легко узнать — это семейство Борджиа. Но не успела открыть рта, потому что ее взгляд притянула верхняя часть картины, над головами стоящих мужчин. Она на первый взгляд терялась в темноте, да и вообще вся картина была выдержана в темных, не свойственных Леонардо тонах. Кьяра не сразу сообразила, что это специально задуманный эффект восприятия: сначала в глаза бросается семья, и только потом — еще одно лицо, изображенное над ними, как бы пропивающее сквозь морок, выглядывающее из тьмы.

Это было ее собственное лицо.

И не только лицо, еще руки. Голые, белые. Они простирались над Борджиа, словно она хотела обнять их или, наоборот, метнуть в них молнии, как древнее божество или демон. «Мойра», — подумала Кьяра, глядя на саму себя, написанную

рукой Леонардо да Винчи. Желание ущипнуть себя за тыльную сторону запястья сделалось совсем непереносимым, и она, к стыду своему, все-таки сделала это. Но ее лицо с картины не исчезло. Это была она, Кьяра Лиони, может, немного старше, чем сейчас, но все с теми же чертами лицами и с тем же маленьким круглым шрамом под нижней губой. Шрам маэстро передал особенно отчетливо, словно на фотографии.

— Что это такое? — спросила Кьяра. — Господи, что это такое?

— Последняя картина да Винчи, — ответил Пьетро. — Или одна из последних. На обороте холста есть дата, 1519 год. Год его смерти. До сих пор считалось, что он никогда не писал портрет Борджиа, хотя известно, что они неоднократно его просили. К тому времени все, кто тут изображен, уже умерли. В живых была только Лукреция, хотя ей тогда уже недолго осталось, и... и, по-видимому, ты.

— Пьетро, — с полубезумным смешком сказала Кьяра, — я тогда еще не родилась.

— Само собой. Но Леонардо тебя видел.

— Ты сам понимаешь, какой бред несешь?

— А то, что Лукреция Борджиа прислала тебе из прошлого отравленное вино, не бред?

Кьяра обернулась к нему. Снова посмотрела на картину, втайне надеясь, что ее лицо успеет исчезнуть. Но ничего не изменилось. Господи, ничего.

— Что это значит? Пьетро, что, ради бога, происходит?

— Я не знаю. Потому и хотел, чтобы ты сама посмотрела. Я сразу узнал тебя, как только увидел эту картину. Конечно, никому не сказал. Сначала подумал, тут изображен кто-то из твоих предков. Ужасно обрадовался. А потом заметил шрамик... — Он протянул руку и тронул кожу под ее нижней губой. Кьяра вспомнила, как он целовал это место, касаясь кончиком языка, много-много раз. — Это не твой предок, Кьяра. Хотя ты, без сомнения Сфорца. Более того, ты Борджиа.

— Что?!

— Я провел расследование. Глубже изучил корни твоей семьи. Ты происходишь из ветви Риарио-Сфорца, в конце XV века владевших Форли. Ты прямой потомок графини Катерины, той самой, которую Чезаре Борджа изнасиловал при взятии ее замка. У Катерины было пятеро детей, их генеалогия хорошо изучена, и все они не имеют к тебе никакого отношения. Есть неподтвержденные, но относительно достоверные данные, что Катерина родила еще одного ребенка, незаконного — от Чезаре. Так что ты не только Сфорца, но и Борджа тоже.

Если бы он рассказал ей об этом год назад, Кьяра еще в самом начале попросила бы его замолчать. Но теперь слушала как завороженная.

— Я все равно не понимаю, Пьетро. Даже если и так... все равно не понимаю, как я оказалась на этой картине. Леонардо мог видеть будущее?

Она ждала, что Пьетро презрительно рассмеется, но он даже не улыбнулся.

— Не исключено, учитывая открытия, которые он делал. Но не так важно, каким образом он тебя увидел, Кьяра. Важно, что именно он увидел. Всмотришь получше. Ты тоже Борджа, но ты не вместе с ними. Ты...

— Над ними, — она снова смотрела на картину. И чем дольше смотрела, тем чернее, горше, неотвратимее выглядело то, что было на ней изображено. Особенно лицо женщины, раскинувшей руки над головами мертвцев.

— Не знаю, как, — очень тихо сказал Пьетро, — но ты, именно ты принесла гибель этой семье. И Леонардо об этом знал. Уже тогда он знал.

Кьяра ступила вперед. Пьетро не стал ее удерживать, и она, беспрепятственно подойдя к картине, тронула рукой полотно. Она сама не знала, чего ждала — что рука провалится сквозь холст и ее засосет внутрь, в XVI век? Глупо. Что бы

ни происходило с ней, оно происходит сейчас. И, может быть, произойдет в будущем.

«Настоящее определяется будущим и создает прошлое», — подумала она, не имея никакого понятия, откуда пришла эта мысль.

И вдруг заметила кое-что еще.

С расстояния мелкие детали были не видны, но теперь, стоя к картине вплотную, Кьяра увидела на шее Лукреции необычное украшение. Оно выбивалось из общего стиля золоченой роскоши и казалось слишком простым и неуместным. Это была фигурка из серебристого металла, незамысловатая, почти примитивная, ничем не похожая на изящные работы ювелиров Ренессанса. Фигурка изображала ласточку в полете. В картине было мало света, и эта фигурка казалась одним из его источников. Как будто именно от нее исходит сияние, делявшее лицо Лукреции живым.

И самое главное, Кьяра не сомневалась, что уже видела где-то эту фигурку. Совершенно точно видела... может быть, даже держала в руках... нет, не держала. Но видела точно.

Вот только где?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...



ЮЛИЯ ОСТАПЕНКО

Родилась 20 декабря 1980 года во Львове, где и живет по сей день. Писать начала в четыре года. В 1998 году совершила роковую ошибку и поступила во Львовский национальный университет на отделение психологии. На втором курсе осознала, что теперь придется общаться с людьми, и поспешно спряталась в писательстве. Но было поздно, Фрейд с Юнгом уже нанесли непоправимый вред юношескому воображению. Поэтому писать стала в затейливом жанре, который сама называет «патопсихологическим фэнтези». Издала в этом жанре семь книг, и еще

одну — в жанре исторической фантастики, о французском короле Людовике Святом. Последний опыт Юлии так понравился, что она намерена развивать его дальше, в частности — в рамках проекта «Этногенез».

Публикуется с 2002 года, в том числе в журналах «Если», «Мир фантастики», «Полдень. XXI век». В 2003 году попала в шорт-лист премии «Дебют», но саму премию не получила. С горя стала участвовать во всех подряд литературных конкурсах, некоторые из которых все-таки выиграла. Через пару лет угомонилась и стала неторопливо писать толстые книжки, чем с удовольствием занимается до сих пор.

На досуге преподает психологию в колледже, вышивает крестиком картины Кинкейда и играет на синтезаторе «Fisher-Price». Последнее — с целью креативного развития любимой дочки Елизаветы.

АВТОР О СЕБЕ

По опроснику Марселя Пруста

1. Какие добродетели вы цените больше всего?

Любовь к ближнему, хороший аппетит и умение добиваться успеха. К сожалению, они крайне редко сочетаются в одном человеке.

2. Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?

Желание и способность быть мужчиной.

3. Качества, которые вы больше всего цените в женщине?

Желание и способность быть чем-то большим, чем просто женщиной. Не превращаясь при этом в мужчину.

4. Ваше любимое занятие?

Вышивать под сериалы.

5. Ваша главная черта?

Эмоциональность.

6. Ваша идея о счастье?

Здоровье и благополучие близких, отсутствие забот о куске хлеба, возможность писать все, что хочется, вечное лето, безлимитный интернет и бильярдная в мансарде. Причем все — даром, чтобы ни за что не пришлось платить.

7. Ваша идея о несчастье?

Не надо об этом ни думать, ни говорить. Потому что закон притяжения, позитивное мышление, нашествие марсиан — мало ли что.

8. Ваш любимый цвет и цветок?

Синий. Цветы тоже синие. Если они при этом не крашенные, то совсем хорошо.

9. Если не собой, то кем вам хотелось бы быть?

Джоан Роулинг. Или гусеницей.

10. Где вам хотелось бы жить?

В Карловых Варах.

11. Ваши любимые писатели?

Из наших фантастов — Лукьяненко и Хаецкая. Из зарубежных фантастов — Орсон Скотт Кард и Желязны. Из наших классиков — Достоевский. Из зарубежных классиков — Диккенс. Из современников... ну, Стивена Кинга люблю.

12. Ваши любимые поэты?

Цветаева.

13. Ваши любимые художники и композиторы?

Из художников долгое время восторгалась Дали. Сейчас вспоминаю об этом с недоумением. Теперь остылая и предпоглядываю Возрождение — Боттичелли, Караваджо, ван Эйка.

Композиторы — назвала бы Шопена, если бы его этюды не были такой изощренной пыткой для пальцев. А так пусть будет Бах. Он добрее.

14. К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?

Как говорил один из героев Аль Пачино, «тщеславие — мой самый любимый грех».

15. Каковы ваши любимые литературные персонажи?

Мои собственные.

16. Ваши любимые герои в реальной жизни?

Волонтеры, работающие в условиях чрезвычайных ситуаций. Как мои сокурсники, вошедшие в группу экстренной психологической помощи жертвам трагедии на Скниловском авиашоу в 2002 году.

17. Ваши любимые героини в реальной жизни?

Матери, рожающие больше одного ребенка. Не то чтобы любимые, но преклоняюсь.

18. Ваши любимые литературные женские персонажи?

Почти все героини Достоевского, особенно Настасья Филипповна.

19. Ваше любимое блюдо, напиток?

Напитки — в зависимости от времени суток, от гранатового сока до абсента. Еда тоже в зависимости от времени суток. Например, я очень люблю шоколад утром и днем, и ненавижу его после шести вечера и особенно по ночам. Потому что тогда он издевается надо мной самим фактом своего существования. Давно заметила, что у еды совершенно нет совести.

20. Ваши любимые имена?

Данила и Елизавета. Елизавету уже сделала, теперь предстоит работать над Данилой.

21. К чему вы испытываете отвращение?

К паукам, ксенофобии и своим текстам после их окончания.

22. Какие исторические личности вызывают вашу наибольшую антипатию?

Те, которые не только совершали преступления, но и не раскаивались в них. Как Пол Тиббетс, сбросивший первую бомбу на Хиросиму и никогда не жалевший об этом.

23. Ваше состояние духа в настоящий момент?

Готова к труду и обороне. Но лучше бы, конечно, поспать часиков шестнадцать.

24. Ваше любимое изречение?

«У вас нежности нет: одна правда, стало быть — несправедливо».

25. Ваше любимое слово?

Прет.

26. Ваше нелюбимое слово?

Нет.

27. Если бы дьявол предложил вам бессмертие, вы бы согласились?

Зависит от контракта. Я всегда внимательно читаю контракты. И мелким шрифтом тоже. И самым мелким. И то, что написано на полях молоком. Хотя, конечно, и это не гарантия...

28. Что вы скажете, когда после смерти встретитесь с Богом?

Я старалась.

АВТОР О «ТИРАНАХ»

Юля, отчего такая кровавая мрачная тема? Почему молодых красивых девушек так влекут убийства, заговоры, интриги?

На этот вопрос я с завидной регулярностью отвечаю последние лет восемь, с выхода моей первой книги. Самое приятное в нем то, что все эти восемь лет меня продолжают называть молодой красивой девушкой. Если серьезно, то темная сторона человеческой натуры всегда была одной из моих любимых тем. Виной тому Фрейд и классический психоанализ, которым я увлекалась (вероятно, чрезмерно), обучаясь в университете. В двух словах, фрейдовская теория сводится к тому, что в глубине нашей психики таится куча всего интересного, и чем глубже закапываешься — тем интереснее. Это меня так захватило, что я долгое время не могла писать ни о чем другом. Но время шло, я повзрослела, и умозрительная красота порока перестала казаться такой притягательной. В последних моих романах («Легенда о Людовике», «Свет в ладонях») меня стали занимать совсем другие темы и другие персонажи... И тут внезапно — Борджаиа. Они словно сошли со страниц моих ранних книг — если бы их не существовало на самом деле, я могла бы их выдумать. И хотя эмоционально я эту тематику переросла, вернуться к ней снова было все равно, что сунуть ноги в старые любимые тапочки.

Скажите честно, ваш интерес к Борджаиа в какой-то степени вызван последним сериалом?

Скажу абсолютно честно — нет. Роман про Борджаиа я задумала года три назад, задолго до выхода сериала Джордана. Но тогда я работала над другой книгой, да и в самом замысле чего-то не хватало, и я отложила его до лучших времен. Именно этой недостающей частичкой паззла и стала концепция, лежащая

в основе «Этногенеза». До сих пор помню, как читала первую для себя книгу «Этногенеза» (это была «Блокада»), примеряя ее идеи на историю рода Борджа. Это был восторг, инсайт. Конечно, очень обидно, что Джордан меня опередил, а за ним подтянулся еще и Хиршбигель, ну да что поделаешь.

Вы ассоциируете себя с Кьярой?

Я никогда не ассоциирую себя со своими героями. Сочувствую им, стараюсь понять, но они — не я. Если я замечаю в ком-то из своих персонажей мои черты или случайно проскочившие факты биографии, какие-то ниточки, связывающие их со мной, я их тут же безжалостно вымарываю. Не из скрытности даже, а потому, что читателю незачем лицезреть моих «тараканов» — он не для этого покупает книгу. Художественный текст — не мемуары и не средство для проработки авторских комплексов. Если я хочу порассуждать о себе-любимой, то напишу не роман, а пост в ЖЖ. Мухи отдельно, котлеты отдельно.

А хотелось бы вам отправиться в это время пожить или вам это кажется опасным приключением?

А я отправляюсь и живу. Как же еще об этом пишу, по-вашему? Писательство — может, и не самый яркий способ путешествовать, но уж точно самый недорогой и надежный. Способ для ленивых, ну точно для меня.

В конце книги предметы семьи Борджа пропадают. Их найдут новые тираны? И вообще, какие тираны на очереди?

Разумеется, найдут. Правда, не обо всех расскажу читателям именно я. О дальнейшей судьбе паука уже поведал Александр Чубарьян в цикле «Хакеры». Про быка можно будет прочесть в книге «Тени» Ивана Наумова. А вот историю ласточки я планирую отслеживать и дальше. XVI век был богат на славных тиранов, и так вышло, что ласточка последовательно, и отнюдь неслучайно, побывала в руках у трех из них. После Борджа ею завладели Тюдоры — так что на очереди у нас Генри VIII и его дочь Мария, более известная как Кровавая Мэри. Третий тиран,

живший и правивший примерно в это же время, куда ближе и, с позволения сказать, роднее российскому читателю. Его имени я называть не буду, но любой, кто не прогуливал в школе историю, с легкостью догадается сам.

Складывается впечатление, что история с Кьярой незакончена. Она будет иметь продолжение?

В первой книге «Тиранов» показано только начало истории Кьяры — и одновременно ее конец. Дело в том, что Борджаиа были далеко не первыми историческими личностями, в чью судьбу она вмешалась — они стали последними, на них ее миссия закончилась. А вот что это была за миссия, кто поручил ее Кьяре, действовала ли она сама или стала чьим-то орудием — это все впереди. Пока только скажу, что история Кьяры красной нитью пройдет через историю европейских тиранов, и что она самым непосредственным образом связана с тайнами мира «Этногенеза».

Вы считаете, что только благодаря предметам Борджаиа смогли достичь такого могущества?

Мне нравится думать о фигурах как о метафоре, символе незаурядного дара, который время от времени судьба вручает тем, кого Лев Гумилев назвал пассионариями. То, что Чезаре Борджаиа обладал феноменальной физической силой, его отец мастерски плел интриги, а сестра была виртуозной отравительницей — такой же известный факт, как дар убеждения, которым обладал Гитлер, или свойство Чингисхана вселять страх во вражеские сердца. Смогли бы они достичь своего могущества без этих даров? Вот и ответ на ваш вопрос. А кому или чему они обязаны дарам — загадка, разгадывать которую предстоит не мне.

При том, что в книге действуют одни мерзавцы, кто из них вызывает у вас наибольшую симпатию и почему?

У меня есть одно золотое правило: я не пишу о героях, которых не люблю. Вот таких, какие они есть — порочных, жестоких,

неистовых, в чем-то очень уязвимых. Это нельзя назвать симпатией, потому что я не одобряю ни их поступков, ни мотивов, ни методов — просто мне безумно интересно наблюдать за ними, за тем, как они стали такими, и к чему это их в конце концов привело. Но если уж выбирать, то из всех Борджиа я отдаю предпочтение Чезаре. Он самый безудержный и открытый, а я ценю эти качества в людях, даже если они негодяи.

Существует ли реально картина Леонардо с изображением семейства?

Если верить хроникам того времени, Борджиа действительно просили Леонардо написать их портрет, но так и не достигли в этом успеха. Почему — неизвестно; вряд ли тут замешаны моральные соображения, поскольку да Винчи служил у Чезаре при его походе через Романью и бывал при дворе Лукреции в ее третьем замужестве, то есть сношениями с семейством «святых чертей» отнюдь не брезговал. Этот эпизод — одно из множества белых пятен в истории Борджиа, одно из тех, которым я осмелилась дать свое толкование.

Ну и напоследок самый пикантный вопрос: Чезаре был влюблён в Лукрецию или это домыслы врагов, как вы считаете?

Как я уже сказала, история этого рода полнится белыми пятнами. Едва ли не самое замечательное в Борджиа — их мифологизированность. Уже при жизни их считали буквально дьяволами во плоти, обвиняли во всех возможных грехах, но если ознакомиться с документальными фактами, то получится, что большая часть этих обвинений базировалась на ничем не подтвержденных слухах, домыслах, а иногда и явной клевете. Некоторые биографы убеждены, что обвинения в инцесте — «заслуга» Джованни Сфорца, первого мужа Лукреции, который мстил за унизительный развод, к которому его принудили Борджиа. Но с другой стороны, многие поступки Чезаре по отношению к сестре сложно объяснить всего лишь братской привязанностью. Словом, не бывает дыма без огня...

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог	
1519 год.....	5
Глава 1	
1488 год	10
Глава 2	
1492 год.....	18
Глава 3	
1495 год.....	38
Интерлюдия I	
2010 год.....	50
Глава 4	
1495 год.....	63
Глава 5	
1496 год	79
Глава 6	
1497 год.....	97
Глава 7	
1499 год	121
Интерлюдия II	
2010 год.....	141
Глава 8	
1500 год	155

Глава 9	
1503 год.....	180
Глава 10	
1503 год.....	205
Глава 11	
1507 год.....	222
Интерлюдия III	
2010 год.....	246



ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр», 0 этаж, т. (499) 206-92-65
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL-2», 3 этаж, т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», 3 этаж, т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», 2 этаж, т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская/Таганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», 2 этаж, т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, ТРЦ «Принц Плаза», 4 этаж, т. (495) 987-14-73
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ «Столица», 3 этаж, т. (495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т.(495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, ТЦ «Эдельвейс», 1 этаж, т. (498) 664-46-35
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», 2 этаж, т. (496) (24) 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж, т. (496) (61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, ТРЦ «Счастливая семья», 2 этаж
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

Регионы:

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 64-00-95
- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Белгород, Народный б-р, д. 82, ТЦ «Пассаж», 1 этаж, т. (4722) 32-53-26
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 3 этаж, т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
- г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. За, ТРЦ «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж, т. (343) 253-64-10
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 66-24-64
- г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д. 31, ТРЦ «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
- г. Курск, ул. Ленина, д. 11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57, т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, ТЦ «Семья», т. (342) 238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т. (8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 30-47-51
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06
факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

www.etnogenez.ru

Литературно-художественное произведение

Юлия Остапенко

Тираны
Книга первая
Борджа

Автор идеи Константин Рыков
Главный редактор Кирилл Бенедиктов

Редактор Полина Волошина

Выпускающий редактор Дмитрий Гусев

Корректор Антон Нелихов

Арт-директор Алексей Гонтов

Арт-концепт Алексей Маслов

Аудиоверсия: Андрей Градобоев, Роман Галушкин

Хранители идеи: Елена Кондратьева, Александр Шмелев,

Сергей Пименов

Правовое сопровождение Алексей Наказной-Хоменко

ООО Издательско-торговый дом «Этногенез»
Россия, 107031, г. Москва, Звонарский пер., д. 4, стр. 1,
тел./факс: +7 (495) 668-37-40 (41)
www.etnogenez.ru

Подписано в печать 01.02.12 г. Формат 164x215
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура CharterC 12,4 pt
Условных печатных листов — 17

Заказывайте книги почтой в любом уголке России:

123022, Москва, а/я 71 «Книги-почтой»

или на сайте www.shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
тел./факс: +7 (495) 259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в интернете на сайте www.ozon.ru

Издательская группа АСТ
www.ast.ru

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Информация по оптовым закупкам: +7 (495) 615-01-01, факс: +7 (495) 615-51-10
zakaz@ast.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980 Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14
тел: (8422) 41-11-07
факс: (8422) 41-11-32